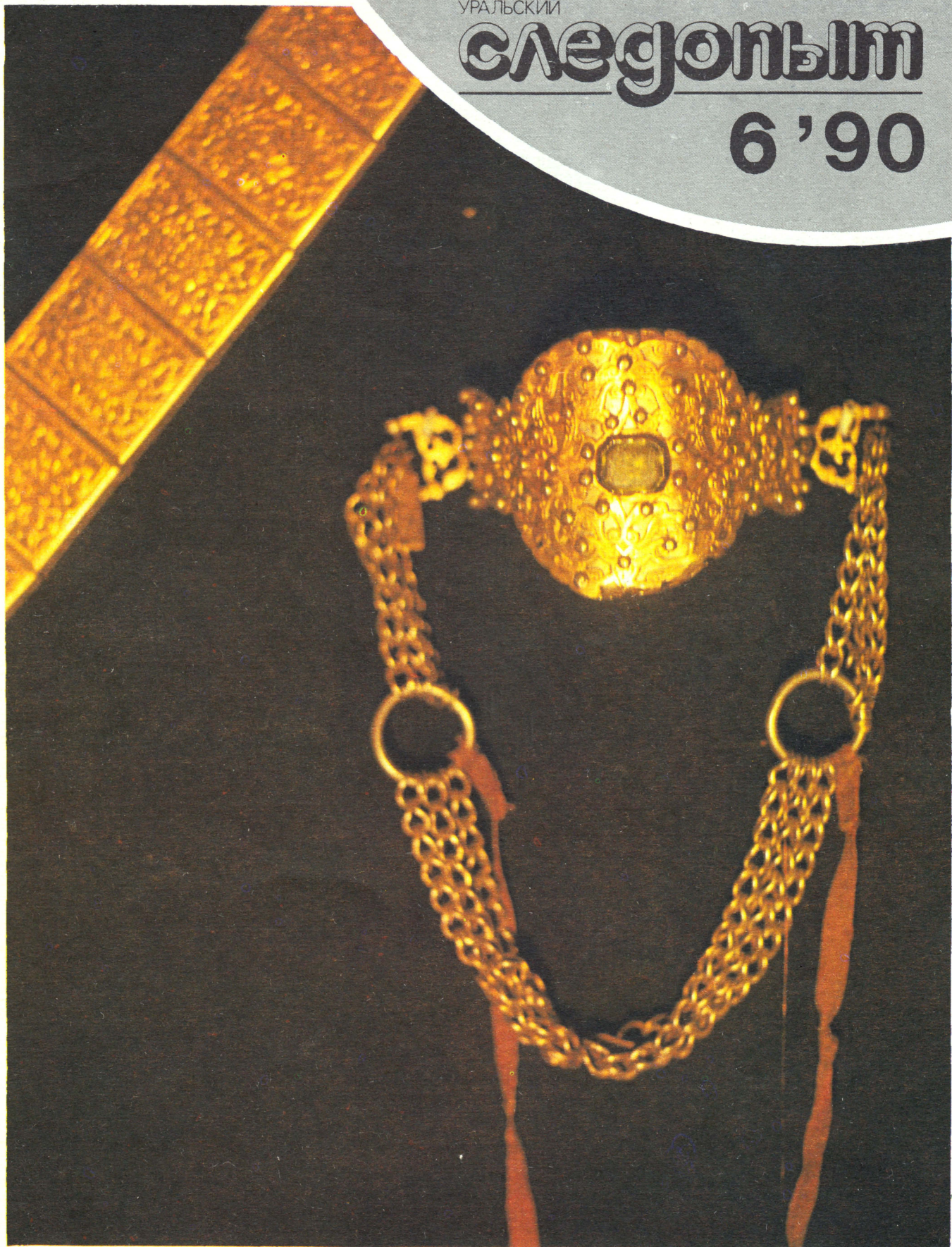


УРАЛЬСКИЙ

# Следопыт

6 '90



# РАФАЭЛЬ В ТАГИЛЕ?

МАРИНА АГЕЕВА, искусствовед, главный хранитель Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств



**ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КАРТИН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ — «СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО», ПРИПИСЫВАЕМОЙ КИСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО ХУДОЖНИКА РАФАЭЛЯ САНТИ — В ПРОШЛОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 480 ЛЕТ...**

1924 год. В Нижнем Тагиле, на чердаке бывшего господского дома, до революции принадлежавшего заводладельцам Демидовым, обнаружено несколько картин, в том числе потемневшая и расколотая доска со следами старой живописи. находку передали в краеведческий музей. Сотрудники музея, промыв картину, сумели прочитать надпись золотом по вороту платья Мадонны: «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году». Понимая важность находки, сделали сообщение в Москву, в Главнауку, а через год в Нижний Тагил приехал Игорь Эммануилович Грабарь, известный художник, реставратор и искусствовед. Осмотрев картину, он заключил, что картина, прежде всего, нуждается в реставрации, а затем — в тщательном изучении.

Три года понадобилось Грабарю и его коллеге Б. Н. Яковлеву, чтобы вернуть картину к жизни. Параллельно Игорь Эммануилович занимался изучением истории картины, установлением факта подлинности. Дело в том, что к этому времени было зафиксировано более 40 картин с таким же сюжетом, претендовавших на то, чтобы называться подлинниками Рафаэля. Чтобы понять сложность этого вопроса, обратимся к истории и биографии Рафаэля Санти.

Конец XV — начало XVI века — время, когда искусство Италии переживает расцвет Высокого Возрождения, и Рафаэль Санти — одна из самых ярких фигур этого периода.

В 1508 году папа Юлий II приглашает художника в Рим, поручив ему создание фресок во дворце Ватикана. Год спустя художник написал картину «Святое семейство». Взяв в основу известный евангельский сюжет, Рафаэль изобразил Марию и старца Иосифа в тот миг, когда они любуются проснувшимся младенцем Иисусом Христом. В глазах юной матери светятся любовь, нежность и тревога за судьбу сына. Четкая уравновешенная композиция, изысканное цветовое решение восхищают своим совершенством.

Судьба картины удивительна, полна приключений и всякого рода неожиданностей. После смерти Рафаэля (1520) она принадлежала церкви Санта Мария, что находится в Риме на улице Пополо. В те времена картина получила новое имя: «Мадонна дель Пополо». В 40-е годы XVI века ее украли из церкви, но вскоре, найденную и возвращенную, поместили на старое место. В конце XVI века «Мадонной» насильно завладел кардинал Сфондрато, пользовавшийся в то время неограниченной властью, но после смерти кардинала картины в его коллекции не оказалось. Следы «Мадонны» всплывают то в одной, то в другой частной коллекции. Появляются копии и варианты. К началу XX века таких «Мадонн» насчитывается множество. Какая же из них подлинная? Не та ли, что обнаружена в Нижнем Тагиле? На этот вопрос и хотел, в ходе реставрации, дать ответ И. Э. Грабарь. Обследовав произведение, он пришел к выводу: «Тагильский экземпляр не копия... (...) из сохранившихся экземпляров... самым ранним, бесспорно, является нижнетагильский... (...) «Мадонна» из Нижнего Тагила, может быть, тот самый прооригинал, который находился некогда в Римской церкви Санта Мария дель Пополо».

Возникает вопрос, каким образом картина Рафаэля Санти попала в Нижний Тагил? «Уральский следопыт» писал об этом в 1971 году, но точного ответа нет до сих пор, однако с уверенностью можно сказать, что судьба ее связана с семьей Демидовых, владельцев многих уральских заводов, в том числе и нижнетагильских. Вероятнее всего, картину приобрел Николай Никитич Демидов (1773—1828), живший долгое время во Флоренции и имевший большую коллекцию картин итальянских художников. В «Списках» его коллекции значатся две картины Рафаэля, но, к сожалению, без указания их названия. Интересно в этом плане письмо приказчика Я. Смирнова, адресованное Н. Н. Демидову из Лондона в мае 1819 года: «Сегодня господин Бурке неожиданно пришел ко мне сказать, что картина Рафаэля назначается опять в продажу, что последняя цена 6000 гиней. И так не угодно ли Вам будет сделаться обладателем прекрасного творения рук человеческих? Если Вы решитесь, то он просит никому не сказывать цены, требуемой за его Рафаэля...»

Быть может, здесь идет речь о нашей картине?

Часть художественной коллекции Демидовыми была послана на Урал для украшения господских домов и церквей в Нижнем Тагиле. В результате тагильчане стали обладателями ценного экспоната, интересного как с искусствоведческой, так и исторической точки зрения.

УРАЛЬСКИЙ

# Следопыт



## 6'90

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН  
(главный редактор),  
Евгений АНАНЬЕВ,  
Виктор АСТАФЬЕВ,  
Виталий БУГРОВ,  
Муса ГАЛИ,  
Юний ГОРБУНОВ,  
Герман ИВАНОВ  
{заместитель  
главного редактора},  
Сергей КАЗАНЦЕВ  
{ответственный секретарь},  
Владислав КРАПИВИН,  
Юрий КУРОЧКИН,  
Давид ЛИВШИЦ,  
Николай НИКОНОВ,  
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,  
Анатолий СЕМЕРУН,  
Константин СКВОРЦОВ,  
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,  
Юрий ШИНКАРЕНКО

В НОМЕРЕ:

О. Поскребышев ИСПЫТЫВАЕТ ВРЕМЯ НАС... . . . . .	2
<b>И. Деськов, В. Деськов</b> ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ! . . . . .	4
О. Лузянников ВО ИМЯ И ВО СЛАВУ . . . . .	10
«...БЕСПОМОЩНОСТЬ ПЕРЕД ГРОМАДОЙ НЕСДЕ- ЛАННОГО» . . . . .	13
Н. Соломко ГОРБУНОК. Повесть. Окончание . . . . .	16
Ю. Самсонов СТИХИ . . . . .	23
И. Загородских ЦАРСКАЯ ОХОТА . . . . .	24
Н. Березовский ПОБЕГ. Повесть. Начало . . . . .	25

### ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

В. Михайлов НОЧЬ ЧЕРНОГО ХРУСТАЛЯ. Повесть. Начало . . . . .	31
ЗАОЧНЫЙ КЛФ . . . . .	51

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР  
СВЕРДЛОВСКОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
И СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ  
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК  
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. ПРЫТКОВ ЭКСПЕДИЦИЯ В СТАРУЮ КРЕПОСТЬ . . . . .	53
А. Резниченко КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ . . . . .	54
В. Шкерин ПАЛАЧ ДЕКАБРИСТОВ НА УРАЛЕ . . . . .	54
А. Артемов ЛЮДИ КОЛЫМЫ . . . . .	56
Э. Берроуз ТАРЗАН — ПРИЕМЫШ ОБЕЗЬЯНЫ. Продолжение . . . . .	57
МИР НА ЛАДОНИ . . . . .	69
Ю. Шинкаренко ВЛАСТЕЛИНЫ И ПЛАСТИЛИНЫ . . . . .	70
Н. Максимова ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЕЙ, ВАМ И ЕМУ . . . . .	79

Художественный редактор  
Евгений ПИНАЕВ  
Технический редактор  
Людмила БУДРИНА  
Корректор  
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакции:  
620219, г. Свердловск,  
ГСП-353, ул. Декабристов, 67  
Телефоны отделов:  
22-36-62 (фантастики),  
22-45-01 (краеведения,  
секретариат),  
22-10-74 (писем,  
науки и техники),  
22-04-81 (прозы и поэзии,  
публицистики,  
молодежных проблем).

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати». Бракующие экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий».

Сдано в набор 05.03.90.  
Подписано к печати 20.04.90.  
НС 15044.  
Формат бумаги 84×108<sup>1/16</sup>.  
Бумага типографская № 2.  
Высокая печать.  
Усл. печ. л. 8,82.  
Уч.-изд. л. 13,6.  
Усл. кр.-отт. 11,76.  
Тираж 500 000.  
(2-й завод: 250 001—500 000).  
Заказ 531.  
Цена 40 коп.  
Типография издательства  
«Уральский рабочий».  
620219, г. Свердловск,  
пр. Ленина, 49.

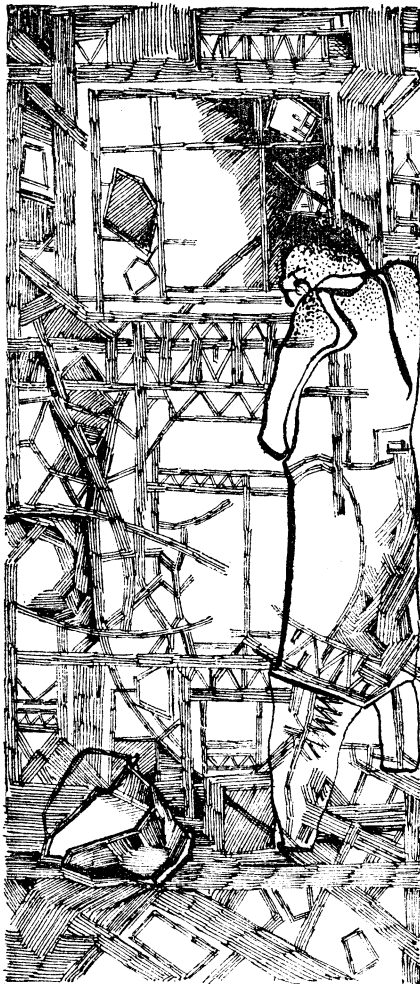
На 1-й стр. обложки фото  
Олега Капорейко к очерку  
«Царская охота».

© «Уральский следопыт», 1990 г.



# ИСПЫТЫВАЕТИ

Олег ПОСКРЕБЫШЕВ



СО...

Соболезнуем — боль разделяем,  
Сострадаем — страданье берем.  
На несчастье спешим с соучастьем —  
Подпереть человека добром.

По труду мой надежный сотрудник,  
Верный спутник в сопутье кругом,  
Мы — сподвижники в ходе будней,  
Сотрапезники за столом.

Не злорадствуя, злобы ради,  
А сорадствуя тем, кто рад,  
Я — сорадник твой, друг-соратник,  
Сосчастливец, счастливый мой брат!

Для соседства хочу всех собрать я  
И для песен в согласные дни,  
Собеседники и собратья,  
Совесельники-соловьи.

Не совместно ль мы против худа  
И решали не сообща ль:  
Узы дружбы союзом будут,  
Как составом, летящим вдаль!

НИ КОЛА, НИ ДВОРА...

Рябина качалась, и цвел огород,  
Шеколда стучала у новых ворот,  
В колодец плескалась вода из ведра...  
И вот тебе на — ни кола, ни двора!

Была деревенька, была — да сплыла:  
Такие дела, что и впрямь ни кола!  
Как будто — живую! —  
в несчастье мирском  
Пожар в одночасье слизнул языком.

А как тут, бывало, старалась она  
И вырастить хлеб, и убрать  
до зерна,

Косила, метала к зароду зарод,  
Рожала девчонок,  
мальчишек — народ.

Когда ж супостат наскочил  
на страну,  
Она всех могутных —  
скорей на войну...  
И день колотилась, и ночь не спала,  
Лишь только б его довести до кола!

Стою я, тоски не умея забыть:  
Ни зыбки в избе,  
ни без зыбки избы,  
Ни ветки в саду, во дворе  
ни пера —  
И нет вообще ни кола, ни двора.

Лишь сам, будто кол, я застыл,  
как пришел,  
Да мука в груди,  
как вколоченный кол.

И, может, неправ я  
с печалью своей,  
А ну-ка —  
с веселостью был бы правей?!

Легко ль,  
что всех живших на этой земле,  
В рябиновых ветках  
и в хлебном тепле,  
По свету развеяло легче пера,  
И в душах у них —  
ни кола, ни двора!

\* \* \*

Идя по улице своей,  
Заметил, удивленный:  
Меж облетевших тополей  
Один — совсем зеленый.  
Для тех —  
Зима не за горой,  
Все листья разметало.  
А этот, видите, какой:  
Стоит и горя мало!  
Ему как будто потеплей,  
Чем остальным на свете...  
Ах, вон что —  
У его корней  
Прожилка теплосети!  
Жизнь вдаль течет,  
Как встарь текла,  
А он напомнил снова:  
Вот если б каждому тепла —  
Сердечного,  
Земного!  
Уж как бы мы тянулись вверх —  
Дивитесь и глазейте! —  
Когда бы подключить нас всех  
К взаимной теплосети.  
Пусть осень, как в трубу трубя,  
Прохватит лиховеем,  
Согрей меня,  
Согрей тебя —  
И мы зазеленеем.

\* \* \*

Гляди — земля вся исказнилась,  
Тяжелой памятью томясь.

На братство и на совместимость  
Испытывает время нас.

Тревогой новой даль затмилась.  
В заботах вечных взгляд увяз.

На доброту и справедливость  
Испытывает время нас.

Мирское море устремилось  
Смыть слепоту, и фальшь, и грязь!

На чистоту и совестьливость  
Испытывает время нас.

Мудрость и человечность, грусть и лукавинка, образность, напевность, глубинная мысль, выраженная с потрясающей простотой — именно эти качества отмечают наши читатели, откликаясь на стихи и публицистические выступления автора, новую поэтическую подборку которого представляет «Уральский следопыт».

10 июля народному поэту Удмуртии, члену редколлегии нашего журнала Олегу Алексеевичу Поскребышеву исполняется 60 лет.

Пожелаем ему крепкого здоровья, бодрости и творческого долголетия, а значит, и новых прекрасных стихов!

# ВРЕМЯ НАС...

## ЗЛО

Порою оно, закопать нас грозя,  
Такою возводит блокаду,  
Что вроде и жить-то на свете  
нельзя,

Но как посмотришься —  
Надо!

Неужто пойдем от настырного  
вспять,

Горбаться,  
Трясаясь,  
Паникуя?!  
Да стоит ему клок надежды отдать,  
Уж то-то — гляди — возликует!

Нет,  
Пусть нас колышет,  
А мы  
Напролом  
Собьемся в живую лавину —  
И стуком сердец наших  
Гвозди вобьем,  
Вколотим в его домовину.

## ЯСНАЯ РОЩА

Пусто в осенней березовой роще.  
Роща прозрачно-ясна.  
Ветер ей чуткие ветви полощет —  
Только безмолвна она.

Свет не смеется и даль не ликует  
В роще нагой и пустой.  
Плачено ею за ясность сквозную  
Сорванной с веток листвою.

То, что известно с поры  
стародавней,  
Видно по роще теперь:  
В ясности есть обнаженность  
страданий,  
Есть отраженность потерь.

\* \* \*

Ну да, не позабылось до сих пор:  
Оборотившись быстро,  
как на выстрел,  
Вы на себе поймали чей-то взор —  
Нацелившийся,  
Цепкий,  
Ненавистный.

Он тут же извернулся, как зверёк,  
Поласковел,  
Сомлел, как пламя в тигле;  
Он даже ловко притвориться смог,  
Что вы его врасплох и не застигли.

Но годы проползут и пролетят,  
Жизнь отсчитает череду событий,  
А этот взгляд...  
Чужой мгновенный взгляд,  
Увы, не станет ни на миг забытым.

\* \* \*

Ко всему возможно ль притерпеться,  
Можно ли привыкнуть ко всему?  
— ...Не бери ты это близко к сердцу.  
— ...Ладно,— говорил я,— не возьму.

Много было в коловерти быта  
Всяких дел, и неудач, и бед.  
— Это близко к сердцу не бери ты.  
— Понял,— отвечал я,—  
нет так нет.

Жизнь могла тревогами затискать.  
Предлагала и любовь, и грусть.  
— Не бери ты это к сердцу близко.  
— Что ж,— твердил в ответ я.—  
Ладно. Пусть.

Можно все просеивать сквозь сито,  
Так что оставалась тишь да гладь.  
Но скажите — как потом и жить-то,  
Если к сердцу жизнь саму не брать?!  
Ладно. Пусть.

\* \* \*

Бывает — и хлеб равнодушной рукою  
С гримасой швырнет кто-то наземь  
спесиво;  
Бывает — и матери сердце святое  
Детьми не хранимо, пока оно живо.

И счастье, увы, не бугрится горою,  
Попробуй-ка им всех достойных  
уважить!  
Но кто же удвоит его и утроит,  
Кто щедро засеет  
вселенскую пажить?

Сам — новым росткам  
пособи укрепиться,  
Сам — дай всколоситься  
и сделаться житом,  
А дальше по зернышку  
и по крупнице  
Порадуй всех тем, что тобою добыто.

Был путь наш смертельным  
и скорбно-горючим,  
Пробит он, прострелян,  
прожжен и прокован.  
И если мы к счастью людей  
не приучим,  
Нет проку учить и чему-то другому.

Бывает — и хлеб равнодушной  
рукою  
С гримасой швырнет кто-то наземь  
спесиво;  
Бывает — и матери сердце святое  
Детьми не хранимо, пока оно живо...

Рис. Сергея Копылова





«УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»  
(№ 4 ЗА 1981 ГОД) ПИСАЛ  
О ПАВЛЕ НИКОЛАЕВИЧЕ  
ДЕШКОВЕ  
КАК РАЗНОСТОРОННЕ  
ОБРАЗОВАННОМ,  
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОМ  
МАСТЕРЕ ОПТИКИ,  
УВЛЕЧЕННОМ ЛЮБИТЕЛЕ  
АСТРОНОМИИ  
И РАДИОТЕХНИКИ.  
ГЛАСНОСТЬ,  
ОТКРЫТОСТЬ В 1989 ГОДУ  
РАСКРЫЛИ НАМ  
НОВЫЕ,  
СКРЫТЫЕ ОТ НАС  
ЗА СТАЛЬНЫМ ЗАНАВЕСОМ  
СТРАНИЦЫ  
ЕГО ЯРКОЙ ЖИЗНИ,  
РАССКАЗАЛИ О НЕМ  
КАК  
О КОММУНИСТЕ-ЛЕНИНЦЕ  
В ИСТИННОМ СМЫСЛЕ  
ЭТИХ СЛОВ,  
ПОВЕДАЛИ О ЕГО  
СУДЬБЕ.

# ВИДЕТЬ ЗВЕЗДЫ!

## Бесстрашное письмо Сталину из уральской деревни

В декабре 1931 года Уральский обком партии назначил Павла Николаевича директором машинно-тракторной станции. Уже весной 1932 года эта МТС одной из первых провела весенний сев, и ее руководитель премировал Всесоюзный Трактороцентр. К уборочной страде МТС получила план заготовок хлеба, однако, вопреки указаниям сверху, райком партии потребовал от Павла Николаевича вдвое большей заготовки хлеба. Это вело к тому, что еще не окрепшие колхозы оставались без семян и фуража, а колхозники без хлеба. Все это вело к прямому подрыву веры в коллективный труд, ослабляло колхозы. Ясно понимая пагубность таких волевых решений, Павел Николаевич, впредь до подтверждения обкомом партии, отказался выполнять распоряжение райкома. За это его сняли с работы, исключили из партии и лишили

воинского звания (он относился к старшему ярлыку: оппортунист, прикрывшийся партийным билетом кулак, белый офицер... Поспешила позлорадствовать и печать. Два года самоунижений, признаний в несовершенных грехах, переходы с одной работы на другую, и в каждом коллективе его боялись, как прокаженного. Даже с должности секретаря родного Ершовского сельсовета он, без всякого на то основания, был снят. Семья осталась без средств существования. Лишь через два года ЦКК (Центральная Контрольная Комиссия) при ЦК ВКП(б) восстановила его в партии со строгимговором, но злоключения на этом не закончились. О его чувствах нам стало известно из письма его двоюродного брата:

«Дорогой Ваня!.. Ты пишешь, что Павел многое переживает. Я знаю,

что он переживает, и чувствую все эти трудности роста социализма, которые на 50 процентов можно было без ущерба темпам роста социализма ликвидировать. Да ты и сам должен знать, если внимательно и серьезно посмотреть в жизнь...

Февраль 1932 г., Василий». Больше всего Павла Николаевича волновали не преследования, а то, к чему привела политика сплошной коллективизации, массового «раскулачивания», которое особенно жестоко ударило по середняку, политика обезличивания кооперативной собственности, раскрестянивания крестьянства, полного игнорирования Устава сельскохозяйственной артели и демократии. Особенно удручало то, что перед товарищами по революционной борьбе он не мог найти оправдания всему тому, что происходило в стране.

Однажды парторг Ершовского

колхоза «Память В. И. Ленина» издевательски предложил Павлу Николаевичу выступить с лекцией об успехах колхозного строительства... Это переполнило чашу его терпения. И он, выражая протест против административно-диктаторских методов руководства, в июне 1934 года сдал партийный билет.

Этот шаг стоил ему очень дорого. Вот что он писал брату:

«Дорогой Ваня! Я не знаю, сможешь ли ты без особой горечи извинить меня за такое долгое молчание. Физическое и психическое мое состояние за истекшую весну отчего-то было таким, что я не мог ни писать писем, ни читать что-либо серьезное... По этой причине я не писал писем не только тебе, но и вообще всем. Накопилось писем двенадцать очень важных... на которые нужно было отвечать, и немедленно, а я находился в состоянии какой-то спячки...»

Деськов становится учителем... Боль, чувство ответственности за все происходящее не дают покоя, и в сентябре 1934 года он начал готовить письмо в ЦК ВКП(б) Сталину.

Мы, родственники, знали, что Павел Николаевич отправил какое-то письмо в ЦК, хотя его друг В. И. Бажуков просил: «Паша! Не делай этого — ты себя погубишь».

Павел Николаевич так писал вождю:

«Мысль написать Вам вот такое письмо у меня появилась сравнительно давно... Я совсем не уверен, что это письмо прочтете именно Вы, и еще менее уверен в том, что Вы найдете возможность что-либо предпринять по нему...»

Однако все труднее становится мне отвечать на вопросы граждан, многие из которых вместе со мной в 17 году организовали здесь Советскую власть и после защищали ее с оружием в руках. «Почему это у нас делается так, а не эдак?» Отвечать на такие вопросы казенными фразами о трудностях, что дайте, мол, срок и — постепенно все образуется, становится все труднее. Чувствуя себя в чем-то виноватым перед товарищами, ответственным перед ними за происходящее (ведь я повел их за собой в декабре 17-го года и вот — «довел»)... поэтому это письмо, как плод, может быть, не столько «ума холодных наблюдений», сколько «сердца горестных замет», я адресую, И. В., именно Вам, т. к. ни районный, ни даже областной комитеты партии политики не делают, ее делает ЦК, а ЦК руководите Вы, значит — от Вас и «все качества».

О каких же «качествах» писал Павел Николаевич?

«Вследствие фактического упразднения уставов колхозов (я уверен, что ни в одном колхозе никто, ни

когда в устав не заглядывает: незачем)...»

Колхозы полностью лишены самостоятельности.

«После «сплошной» коллективизации 1930 года это положение представляется мне вторым, допущенным нами переизбытом, из которого мало что выходит».

Колхозники хозяевами в колхозе себя не считают. Сеют не то, что считают необходимым, и планы посева культур колхозам даются сверх их физических возможностей.

«Уборка ржи у нас начата 22 июля; яровые поспели к 5-му августа; между тем, еще сейчас (середина сентября) стоит на корню и осыпается 200 га ржи; осыпается 30 га пшеницы, 50 га овса, проса, гречи и т. д. Это при наличии почти постоянной сухой погоды. А что было бы при дождливой погоде?.. Прибавьте к этому, что посев ржи прошлой осенью продолжается в этом колхозе (колхоз «Память В. И. Ленина» в с. Ершовка) до заморозков (до конца октября месяца), когда каждый колхозник скажет Вам, что озимь, посеянная после 1 сентября, — не хлеб».

Однако сеют!

«Делается это исключительно для того, чтобы выполнить требование высших организаций о 100 % выполнении плана сева. А где целесообразность? Где же, наконец, простоты здравый смысл? У нас недостаток хлеба (еще не отменена карточная система, лишь миновал голод 1931—32 гг., унесший миллионы жизней), — а мы зря бросаем его в землю; у нас недостаток рабочей и тягловой силы, — а мы ее бесполезно изматываем; у нас не хватает времени на выполнение других боевых хозяйственных кампаний, — а мы «на зло рассудку, наперекор стихии» толчем в ступе воду (по «Запискам из Мертвого дома» Достоевского). Если бы мы посеяли — пусть меньше, да вовремя, — убрали бы вовремя и без колоссальных потерь, мы бы: 1. хлеба получили больше (колхозники так и говорят: «Трудодень у нас был бы дороже»); 2. мы бы не изматывали так рабочую и тягловую силу и 3. успешнее бы справлялись с другими кампаниями...»

Сеять рано весной (сверхранный сев), во что бы то ни стало, и любую культуру рано — у нас считается большевистской доблестью (установленные вековой земледельческой практикой сроки сева отдельных культур — это, видите ли, — пережиток контрреволюционного прошлого!)

Сверхранный сев был «необходим», потому что почти каждый руководитель — от малого до большого — создавал себе личный авторитет, стремился блеснуть своей расторопностью, исполнительностью, доблестью и закончить сев первым. Неудивительно, что по количеству ор-

денов мы превзошли все страны мира.

«Но посмотрите, что из этого получается. Гречу, старинную местную культуру, председатели колхозов под страхом обвинения во вредительстве, вопреки велениям здравого рассудка, посеяли много раньше обычного для этой культуры срока. Заморозки в конце весны в нашей зоне обычны. Греча великолепно взошла, даже зацвела и... бесславно погибла от заморозка в ночь на 11 июня...»

Так отсюда «большевики» из политотдела Саратовской МТС делают скоропалительный вывод: «Греча здесь не по климату; на будущий год мы ее из посева выведем...»

Коллективизация... Павел Николаевич еще в 1918 году довольно отчетливо увидел преимущества коллективного труда при полной самостоятельности трудовых коллективов, потому приветствовал создание колхозов на добровольных началах и, находясь в 1929 году за тридевять земель от родины, он одним из первых вступает в свой родной колхоз «Память В. И. Ленина».

Административное рвение, часто карьеризм, стремление отпартовать первыми о невиданных успехах привели к сплошной, принудительной коллективизации. Многие крестьяне, которые пытались сохранить хотя бы малую толику самостоятельности, объявлялись кулаками, либо подкулачниками, либо просто «без вины виноватыми» и находили себе «приют» на Севере, в Сибири, где все становилось общим: и голод, и холод, и погоне человеческих прав, и смерть, и могилы.

Лишенные всех предусмотренных Уставом сельскохозяйственной артели прав колхозы, раскрестянное крестьянство как нельзя лучше устраивали высшее руководство страны. Попробуйте командовать единоличниками, самостоятельными коллективами по всей стране — у вас ничего не получится — каждый из них будет производить то, что спрашивает рынок, и тогда, когда есть спрос, и спускаемый только сверху «госплан» будет бессилён навязать им свою волю. Совершенно иное дело — колхоз, ждущий указания сверху: когда пахать, когда и что сеять, когда жать. Волевой взмах руки — все пашут. Взмах — и все жнут. Взмах — и все сдают больше, чем могут сдать. О таком военнизированном, беспрекословно подчиненном воле высшего руководства государстве мечтал Л. Д. Троцкий. Одна из его идей: создание трудовых армий с минимумом потребностей, с минимумом интересов, где люди превращаются в безропотных исполнителей высшей воли. Эта идея, можно сказать, идеально была воплощена в ГУЛАГе. Да и по всей стране, хотя и в меньшей мере, она

воплощалась с невиданной в истории человечества жестокостью.

Подумайте, во что был превращен не только коллективизированный трудящийся, но и весь советский народ — в послушный инструмент; на какую клавишу сверху нажмут, на той ноте он и зазвучит: или громи буржуазную культуру, или вытравливай религию, или отвергай все иноземное, или уничтожай всех, кто неугоден. Но были — БЫЛИ! — люди, которые не позволяли на себе играть...

Павел Николаевич продолжал писать Сталину:

*«Два года тому назад я работал в Зауральской части Уральской области (территория б. Курганского округа) и наблюдал следующее: осенью мы с соответствующим шумом и, конечно, «по-большевистски» проводим хлебозаготовки, беспощадно боремся с оппортунизмом на местах, караем председателей колхозов, председателей сельсоветов и кто повыше за недооценку хлебозаготовок, за утаивание хлеба, за «втирание очков» с определением валового сбора зерна и проч. В результате, конечно, добиваемся соответствующих побед в деле выполнения хлебозаготовок. А следующей весной тем же колхозам даем продовольственную и семенную ссуды и этим самым признаем, что в результате кампании хлебозаготовок у данного колхоза и его членов хлеба для питания и семян для посева осталось недостаточно и что без поддержки они не справятся с работой колхоза. Да это было бы еще полбеды. Но — ссуды мы даем в самую весеннюю распуту, перед самым весенним севом, и колхозные лошади, вместо того чтобы отдохнуть и набраться сил для полевых работ, по брюхо в талом снегу, в ухабах, в зазорах, в грязи должны таскать за многие десятки километров буквально по одному-два центнера зерна со съезженного пункта домой, в колхоз, то зерно, которое они же, за те же десятки верст, в такую же распуту таскали из колхоза на ссыпункт. Представляете ли Вы себе — сколько при этом теряется зерна, рассыпается, замачивается, прет? Случалось ли Вам видеть трупы лошадей, павших на дорогах от непосильной работы? Видали ли Вы кобылиц, ожеребившихся в санях с возом зерна на мокрой, навозной весенней дороге и тут же погибших вместе с жеребятами? Первое после коллективизации время крестьянин берег бывшую свою кормилицу — лошадку, потом решил: «Не горе — колхозное!»...»*

*«Затем по совести признаюсь Вам, Иосиф Виссарионович, я совершенно не понимаю необходимости сдачи хлеба государству в процессе самых горячих работ по уборке. Знаете, что получается? В самом начале жатвы еще не выстоявшийся хлеб молят, а т. к. зерно еще влажное и*

*не годится для сдачи — его сушат на солнышке или на сушилах, на что затрачивается масса трудодней, затем значительная часть людей и лошадей отрывается от уборочных работ для вывозки зерна на сыпной пункт. Эти строки я пишу 27 сентября. Сильные ночные заморозки сменяются проливными осенними дождями. Сильные ветры. А в нашем колхозе не только не выжаты еще полностью яровые, а — рожь стоит на корню. («Вот наши трудодни!» — говорят колхозники...»).*

Так поступали в каждом районе, в каждой области всей страны, и всё ради того, чтобы первыми отпартовать о «красном обозе», о выполнении плана хлебозаготовок, а что оставалось колхозу, колхозному стаду, людям — это вышестоящее руководство не волновало: «Не смогли убрать — добывайте из-под снега!».

Мы прекрасно помним, как скармливалось животным проросшее на корню, перемороженное, уже ядовитое зерно. Прекрасно помним «трондочки», или «тошнотики», — лепешки из выкопанного из-под снега, перемороженного картофеля.

*«Итак, мы теряем сотни (не тысячи ли?) центнеров не убранного с поля или окрошившегося хлеба... Это целесообразно? В каких интересах государства так делается? Непонятно... Я не могу додуматься до какого-либо оправдания описанному безобразию».*

А «оправдание» не так уж трудно найти: чем больше затруднений испытывает народ, тем лучше подтверждается тезис об обострении классовой борьбы, тем выше доверие к «прозорливости» гениальнейшего вождя, тем легче толкнуть народ на «охоту за ведьмами», тем больше почти бесплатных рабочих рук, которые можно бросить на великие стройки — стройки величайшего зодчего коммунизма.

*«Может быть, такое положение имеет место только в нашей местной зоне? Но в свете описанного мною разговоры о зажиточной жизни, о культурной жизни звучат фальшиво... Однако не слишком ли мы поспешили с фактическим упразднением декорума демократизации в крестьянском вопросе?»*

*Однажды... я попросил у председателя колхоза Устав сельхозартели. Председатель... несколько удивленно, но грубо и уверенно ответил: — Устава у нас нет; иди в политотдел МТС, там имеются уставы и все распоряжения!*

*Понимаете, И. В.: — распоряжения. Декорума уже нет...»*

Да, даже фигурый листок к 1934 году был сброшен.

*«Сегодня 3 октября. Осень. Сильные ночные морозы (уже не просто заморозки) сменяются пронизывающей сыростью осенних ветров, с дождями. Природа замирает, заканчива-*

*ет свой летний цикл. Человек еще не властен над временем года... Человеку пора уходить с посережнего, пустынного, ставшего неудобным поля. Я снова был сегодня в поле.*

*Я видел несжатую, павшую, прибитую к земле рожь; я видел склонившиеся на холодную мокрую землю грязные, перезрелые, почерневшие кисти проса; я видел сиротливо мотающиеся на ветру под свинцовым небом редкие, в сорняках кисти гречи, неизвестно как выросшие после разгрома морозом в ночь на 11 июня и не собранные до сих пор; я видел колхозников, убирающих с поля кучки какого-то хлама; я видел... я видел то, чего не должно быть в поле в эту пору. И мне снова стало до ярости досадно за массу зря потраченных колхозом труда и средств, обидно за показное безразличие колхозников, в душе — я знаю — проклинающих такие наши порядки и во всем — по их мнению — виноватую пятилетку.*

*Я считаю, что причиной описанного явления является то бесцельное администрирование, о котором я также упоминал и которое у нас называется жесткой дисциплиной в выполнении государственных плановых заданий».*

Видите одиноко бредущего по полю человека? В глазах его бесильная ярость, на лице то и дело набухают желваки, а сердце... пылающему сердцу тесно в груди, ему невыносимо больно за людей, за попорченные, растоптанные надежды.

Скажите, почему ни парторг, ни секретарь РК партии не вышел в такой день в поле? Почему Павел Николаевич оказался в одиночестве со своей мучительной болью? Вы скажете, что секретарь райкома об этом не знал? Знал! — но это его не интересовало — он любой ценой выдавил план хлебозаготовок, оставив детей, стариков, не говоря уже о трудоспособных, вложивших в хлеб кровь и пот колхозников без хлеба. Он оправдал доверие вышестоящих, и какое ему дело до павших лошадей, коров. И тут он также найдет путь, чтобы обелить себя: он лично обнаружит «подрывную деятельность» какого-нибудь пастуха, спроведит его в безвестие, получит от верхов еще большее одобрение и останется чистеньким перед партией.

Ну, а пропаганда? Пропаганда и те, кто продвигался на попрание «философской» науки, дадут этому теоретическое обоснование: «Анафема миллионам и слава одному!»

Диктатура пролетариата, о которой в те годы так много говорилось, была заменена диктатурой системы. Вождь же постепенно, уничтожая всех, кто мог оказаться или оказался на его пути, шел к диктатуре над системой.

Вот они, те «все качества». Неисчислимое число жертв (мы



уверены, что подсчитать их будет невозможно) превратились в новое качество — величие вождя. Наш народ нам представляется в виде городского культуренного дерева, у которого срублены все ветви. Сколько удивительных, неповторимых, талантливых людей-ветвей срубил чудовищный топор! Сколько чудесных людей не смогла родить и вскормить наша русская земля!

Один товарищ высказал мысль, что письмо Павла Николаевича сравнимо с письмом Ф. Ф. Раскольниковца. Да, смелости и Федору Федоровичу, и Павлу Николаевичу не занимать. Но если Федор Федорович наносит удар по организатору и вдохновителю массовых репрессий, то Павел Николаевич — по выпестованной им командно-административной системе (так будет названа в конце 80-х годов система руководства нашей страной, и которую не так-то просто сломать и заменить новой — она за 70 лет пустила глубочайшие корни, и неудивительно, что письмо Павла Николаевича более полувека было скрыто от нас, и то, что все оно подчеркнуто красным, синим и зеленым карандашами, что не потеряло оно злободневности и в наши дни).

Но вернемся к письму.

«К сельскому хозяйству предъявляются большие требования. И чувствуется, что оно с этим не справляется. В чем-то мы, И. В., прохлопали... и усугубляем положение бестолковым планированием...»

Колхоз «Память В. И. Ленина», о котором я писал выше, к данному моменту заканчивает сдачу государству продуктов полеводства (зерна). «Сколько было ржи, пшеницы, чечевицы, гречи — все свезли», — говорят колхозники.

Кроме того, «по постановлению общего собрания колхозников» сдано 400 центнеров зерна в порядке хлебозакупа. Что же дальше? А дальше вот что. К весне у колхоза недостает семян около 700 центнеров. Колхозники же уже теперь покупают хлеб (свободной продажи хлеба нет, так «из-под полы»)...

И дальше опять с невинным видом начнем «планировать»: страховые фонды прошлого года еще прошедшей зимой из колхозов «по решениям общих собраний» увезены куда-то; еще в 1930—31 гг. из колхоза «Память В. И. Ленина» «взаимобразно» по распоряжениям райорганизаций вывезено 3900 пудов семенного, отсортированного зерна; обратно получить, конечно, не удастся. Так нам придется весной — будущей — с видом этакого презрительного снисхождения («Как, мол, вы так, товарищи, хозяйствуете?») оказать колхозу помощь семенами, т. е. ему придется весной снова везти зерно из-за Камы...

Я, И. В., решительно не понимаю

принципов такого планирования. Вернее, я их осуждаю. «Подумаешь, как страшно!» — скажете Вы, но Вы видите, к чему это приводит... делаем это так, что вредим суку, на котором сидим... И нередко наши победы напоминают победу Пирра».

Далее Павел Николаевич пишет о правах человека. Он показывает, что увлеченное гигантским размахом строительства в стране руководство отодвинуло человека на задний план.

«Для оказания материальной помощи колхозникам, впадшим в нужду (старость, болезнь), у нас существует КОВК (комиссия взаимопомощи колхозникам). По распоряжению, полученному в середине лета, КОВК должна две трети урожая со своего посева сдать государству, а из оставшейся трети создается фонд помощи. КОВК нашего сельсовета при этом условии не сможет оказать реальной помощи нуждающимся...»

Понятно, что все описанное деморализует колхозников...

«В июле я зашел по делу к старому своему соседу, трудолюбивому, квалифицированному плотнику и землеробу, теперь уже старику, которому «пора на покой». В разговоре он заявил мне:

— Верить, нет, Павел Николаевич, а на завтра у нас со старухой куска хлеба нет; а ведь всю жизнь робил и сейчас роблю. Раньше, бывало, поробишь, так знаешь, что получишь, сыт-одет будешь, даже и калача поешь. А нынче робишь-робишь, а — не знаешь за что. И все хуже и хуже стает... Как ты думаешь, долго ли эти проклятые колхозы продержатся?

Мои слова о неизбежности трудностей не произвели на него никакого впечатления; он только перевел разговор на другую тему (может быть, это потому, что я сам бьюсь «с куска на кусок»).

Планируя и управляя (управлять, значит принуждать — вот что стало бываем слепы и глухи к реальной хозяйственной и политической обстановке в том или ином месте, и на этом фоне наши слащаво-сентиментальные по языку декларации по адресу, например, здешних колхозников звучат как-то фальшиво. Надо иметь в виду, что колхозники, особенно передовые, умные мужики, за которыми идут остальные — совсем не дети. И если они ничего «не возражают» по поводу планирования колхозного хозяйства, о чем я говорил выше, так это еще не значит, что с ними все в порядке...

В нашей прессе установились традиции трактации понятия «колхозник» в двух типах:

тип первый — это, конечно, подавляющее большинство добрых бывших крестьян единоличников, вполне убедившихся в преимуществе колхозного строя, живущих безусловно

уже зажиточно и культурно и то и дело рапортующих о победах «под Вашим непрерывным большевистским руководством» и т. д. И тип второй. Это — злой кулак, «пробравшийся в колхоз с целью развалить»... и т. д., а между тем действительное лицо действительно подавляющей массы колхозников остается в нашей литературе неосвещенным. Иногда, правда, кроме буколического типа первого образца, у нас рисуется и другой колхозник, это — темная, мало разбирающаяся в общественных вопросах, слепая, со стадными инстинктами масса. Конечно, и те, и другие, и третьи колхозники у нас есть... Я не буду доказывать, что колхозник в массе своей — человек с хорошо развитым хозяйственным инстинктом. И Вы, конечно, представляете себе, как в его сознании отражаются наши промахи (промахи ли?) в строительстве колхозного хозяйства... при абсолютной невозможности критики с его стороны (попробуй критикнуть — живо попадешь в разряд бузотеров, оппортунистов, пляшущих под кулацкую дудку, со всеми вытекающими отсюда последствиями!). Ну, и — «как оно идет, так и иди!.. и вались все к черту!»... Мне кажется, не ослабляя руководства, надо бросить полное игнорирование разумного мнения колхозников, полное игнорирование очевидности, и манеру в разговоре с колхозниками по всякому «белому ли, черному ли» поводу с его стороны — обязательно утверждать, что это — обязательно черное. А то ведь забавно: заботы о колхозном строительстве мы простираем до того, что учим колхозника — как запрягать лошадь, как ее кормить, как пахать и боронить; а из-за этой мухи-слона гибель его трудов в поле благодаря нашему «планированию» мы не замечаем. Завинчивая на мелочах, мы развиваем в общем. И действительно получается, что он действительно не знает — как и чем накормить лошадь и во что ее запрягать».

Действительно, грубое, невежественное, мелочное, «всезнающее» администрирование вкупе с массовыми репрессиями привели к голоду начала 30-х годов.

Павел Николаевич продолжает: «Вы понимаете, что описанная обстановка отнюдь не располагает колхозника к оптимизму. Мне, и повидимому, и другим низовым работникам, в более или менее интимной беседе с крестьянами нередко приходится слышать вопрос: «А что, если бы Ленин был жив — так же ли бы было или лучше?»

Вот еще один пример. Это пожилой, лет под 60, бывший из самых активных моих сподвижников красногвардеец-партизан, в годы гражданской войны и последующей разрухи занимавший ряд ответственных постов в волости, передовик. На днях

в нашем домашнем разговоре... зашла речь о домашних хозяйственных делах.

Я: — У нас с Петром (мой брат) бани нет, хлев разваливается, крыша на избе сгнила, надо что-то делать, а не на что!

Он: — У меня тоже дела неважны — все разваливается; был заготовлен лес и пиломатериалы для ремонта, да — как пошло такое... (намек на методы проведения у нас кампании по ликвидации кулачества) подумал... еще пожалуй... — бросил, размотал все на дрова... валишь все к черту; избенка некорыстная есть — и ладно!

Надо Вам сказать, что «раскулачивание» у нас проводится, действительно, безалаберно. Это немудрено при той чехарде с председателями сельсовета и парторганами, какая у нас практикуется. За полтора года, что я здесь, у нас — пятый председатель и пятый или шестой парторг. Членов партии местных нет... Председатели и парторги — все «рекомендованные!»... Ну, и натурально — являются в сельсовет новые председатель и парторг и с задором свежих людей начинают выкорчевывать остатки кулачества».

В руках у нас акт от 2 августа 1933 года, который ярко показывает то, о чем писал Павел Николаевич.

«Мы, нижеподписавшиеся... составили настоящий акт... Сего числа от правления была разнорядка на молочение, но работа сорвалась, т. к. член правления Камышев Семен Филиппович умышленно срывает хлебозаготовительную кампанию. Всячески старался и раньше разбить настроение, ...смог разложить колхозников, чтобы работу бросали, что без хлеба голодом работать невозможно... Между колхозниками он имеет большой авторитет на разложение колхоза.

Правление просит в скорейший срок помочь в работе: разбить кулацкое настроение колхозников, а Камышева С. Ф. выгнать из колхоза с треском, как подкулачника и разлагателя.

Председатель правления колхоза (подпись)».

Заметьте, акт подписан одним председателем. И будьте уверены, что неуемный характер Камышева наверняка нашел «успокоение» где-нибудь за тридцать земель.

В письме вождю Павел Николаевич констатирует значительное падение общей культуры нашего народа. Связь этого падения с методами управления страной и народом он не раскрывает, но весь тон письма говорит о том, что внутренняя политика, проводимая ЦК, вела к духовному обнищанию народа.

Пишет о работе издательств, почты, судов, о внутрипартийной политике. Так 80 страниц откровения, надежды, что он пишет товарищу по

революционной борьбе. Но, отправляя письмо, он довольно четко представлял, к каким последствиям это может привести:

«Убийство тов. Кирова и ответный фактический террор наводят на размышления, на тревожные размышления. Все ли у нас так гладко, как говорят наши стереотипно-торжественные и часто — я бы сказал — напыщенные сообщения в печати? Нельзя ли бы проще и понятнее говорить массам, может быть, и тяжелую, суровую правду... И ликвидировать бы политиканство в партии».

Некоторые наблюдения мне подсказывают, что в нижних слоях партии нередки люди, по многим вопросам, задетым здесь, думающие так же, как и я. Что же их удерживает от того, чтобы высказаться соответственно их мыслям где следует? Может быть, есть среди них такие, которые боятся сделать это... кому хочется сразу попасть в категорию «оппортунистов» и даже контрреволюционеров и без дальнейших разговоров быть выброшенным из партии, ослабленным на весь мир честной, да еще и... попасть, пожалуй, под суд?..

О письме этом никто здесь не знает, и по содержанию его я ни с кем ни одного слова не говорил...

Решил письмо передать прямо в ЦК по двум соображениям:

1. боюсь, кабы здесь в РК партии оно не оказало на кого-нибудь из товарищей деморализующего действия;

2. на днях я еду на работу в Ленинград... и проездом через Москву постараюсь передать письмо в ЦК, если удастся, то лично».

Его опасения не были беспочвенными: после убийства С. М. Кирова (где-то во время гражданской войны дороги С. М. Кирова и Павла Николаевича сходились, потому Павел Николаевич тяжело пережил гибель Сергея Мироновича, и имя Кирова всегда было священо в нашей семье) последовал разгром ленинградской парторганизации, и лишь в 1989 году мы узнали о ленинградских Куропатах, «приютивших» более 40 тысяч жертв.

25 мая 1935 года письмо было зарегистрировано в одном из секторов ЦК ВКП(б). Кто его читал — нам неизвестно, но как уже упоминалось выше, оно подчеркнуто и красным, и синим, и зеленым карандашами.

Более двух лет Павел Николаевич, видимо, не знал о судьбе своих откровений. В мае 1937 года один из земляков, Зайцев В. П. (уроженец с. Ершовки), попросил Павла Николаевича написать о состоянии дел в Ершовке. Вот тут-то и сыграла свою роковую роль одна из черт характера Деськовых, о которой

Павел Николаевич писал своему брату, Ивану Николаевичу:

«Дорогой Ваня!.. Желаю тебе успеха на новом ответственном поприще, и помни, что дело, ведь, не в разряде звания (степеня), а в работе. Работать мы тоже умеем, но помни, что у нас есть большое недостаток: слишком доверчивое, доходящее до наивности, отношение к людям. Будь объективен, рассудителен и побольше самостоятельности там, где считаешь себя правым, однако на рожон не лезь. Вот тебе мои отеческие наставления...»

6 апреля 1937 г., Павел». Вот о чем Павел Николаевич написал Зайцеву:

«...Ты спрашиваешь об Ершовке? Ты не был в ней 10 лет? Ну, так теперь: 1. не узнаешь ее, 2. погорюешь над ней, 3. она встретит тебя, как чужая, потому что кроме нас, стариков, тебя никто не знает, а главная масса населения — подросшее новое, чужое нам поколение; ты не будешь узнавать кого-либо, и тебя не будут узнавать... А главное, главное — она поразит тебя своим нищим, унылым видом пустырей, отсутствием новых построек и наличием падающих старых построек, она поразит тебя широким небывалым размахом воровства. Нерадостная картина!»

Иногда при виде того, что творится, я впадаю в отчаяние, я боюсь за то, в пользу чего работал, как умел...

Колхоз здесь называется «Память В. И. Ленина». Ты ошибешься, если подумаешь, что это «всеершовский» колхоз: в нем сейчас около двадцати — кажется — семейств да несколько десятков одиночек (боюсь точно сказать, т. к. давно этим вопросом не интересовался, а в прошлом году членов колхоза было около 80). Председатель колхоза — Михаил Николаевич Коротков (Николая Федоровича сын Миша); а до него был какой-то «кооптированный» авантюрист, ограбивший колхоз, вероятно, на несколько десятков тысяч рублей (следов-то нет) и скрывшийся благодаря «бдительности» организаций (В В-Армянском колхозе «Им. Ворошилова» прошлой осенью тоже какой-то «кооптированный» приезжий председатель растратил 33 тыс. рублей и тоже благополучно скрылся. Ни тот, ни другой до сих пор не найдены), которых, кажется, больше занимает вопрос о том — не все ли бывшие красные партизаны — троцкисты, чем вопрос благоразумия в хозяйственном строительстве. Ты подумай: сена для скота у колхозов на зиму не оставалось. В позапрошлом году был урожай хлебов; оставались громадные ометы соломы. Но прошлой весной их приказано было сжечь («под личную ответственность!»). Сожгли. А зимой сносили с крыши гнилую соломенную

труху, покупали ее по 80 рублей за воз и кормили...

Семенами район был обеспечен к весне на ...1%. Ввели «ссуду».

А что делается в лесу! Сколько за ряд лет погублено зря первосортного материала! Навалят деревьев, а не вывозят.

Мы, старые работники села, чувствуем себя совершенно лишними. Чувствуется, что мы отнесены чуть не к рубрике контрреволюционеров. Нам даже покосов не дают; скоро, как сегодня сказал Истомин, по улице ходить запретят! ...Праздник трескотня в газетах: «о чулках», «о новых людях, вкусах и запросах колхозников в третьей пятилетке», о планах «реконструкции города Москвы» и проч.— приводят в недоумение... Я как-то не могу наблюдать все это спокойно, терню душевное равновесие; собираюсь — и давно уже — снова написать об всем в ЦК, чтобы потом мог сознать, что со своей стороны сделал все, что мог, — да времени и сил как-то не хватает. Да, признаться, и за себя начинаю опасаться: нанесу себе вред, а пользы от моего письма будет ли?..

К 20-летию существования Советской России рабочее движение за границей по сути стоит на мертвой точке? Факты, о которых я говорю (а я сказал еще очень мало), — лучшая агитация против нас...»

Слышишь, читатель? Это сказано более полувека тому назад, а осознавать мы начали только сейчас!

А Павел Николаевич продолжал: «...Печать же наша давно утратила трезвость тона: там — сплошной тошнотворный фимиам да россыпь орденов, массовое паломничество за каковыми в Москву вошло в систему...»

Письмо это Зайцевым было спровоцировано, так как он «был вынужден передать письмо органам» и письменно отречься от Павла Николаевича Деськова. Таким образом, еще один «контрреволюционер» был разоблачен.

Павел Николаевич знал, что над его головой занесен топор, и писал своему брату: «Времени нам дадено отчаянно мало!»

19 августа 1937 года за ним пришли. Были соблюдены все правила «приличия»: были понятые, обыск, конфисковали рукописи, чертежи, переписку, документы, фотографии и др., но в протоколе почти ничего не указано, было следствие и свидетели.

Заявив на следствии, что вскрытие всех безобразий он считает долгом революционера, Павел Николаевич не увлек за собой ни одного человека. Но одно нас очень волнует: не обвинен ли кто-нибудь в связях с «врагом народа»? Не пострадал ли Бажуков Василий Иванович? Возможно, время ответит на эти вопросы.

14 декабря 1937 года в Ижевске приговор был приведен в исполнение. Семье было сообщено, что Павел Николаевич осужден на 10 лет без права переписки.

22 апреля 1957 года, после наших неоднократных заявлений, Верховный суд УАССР признал Павла Николаевича невиновным в контрреволюционной деятельности, но за хранение оружия ему — расстрелянному — присудили три года лишения свободы —?! И вскоре нам было сообщено, что Павел Николаевич умер 9 декабря 1944 года в местах лишения свободы от воспаления легких.

Лишь 2 июля 1987 года Верховным Судом РСФСР была признана его полная невиновность.

23 мая 1989 года бюро Удмуртского обкома КПСС восстановило Деськова П. Н. членом КПСС (по-смертно).

Так доброе имя этому человеку было возвращено, но найти место его гибели, говорят, невозможно. Возможно, со временем найдутся и «ижевские Куропаты» — надо, чтобы они нашлись, очень надо!

Так была расстреляна и его мечта: увидеть родной народ счастливым, построить в родном селе астрономическую обсерваторию, чтобы видеть звезды и как можно глубже проникнуть в глубины Вселенной.

Он был Человеком огромной, нежной, легко уязвимой души. Все, кто читал его письмо, поражались его удивительной смелости, глубочайшей человечности, преданности идеям Ленина. Некоторых товарищей его письмо волнует до слез...

Публикацию подготовили:

**ДЕСЬКОВ Иван Николаевич,**

**ДЕСЬКОВ Валерий Иванович.**

Село Ершовка.

Фоторепродукция

Деськова Люциана Ивановича

Рисунок

Дмитрия Лебедихина





Олег  
ЛУЗЯНИНОВ

# ВО ИМЯ И ВО СЛАВУ

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛСЯ, РАЗРУШАЛСЯ И ВОСТАНАВЛИВАЛСЯ ХРАМ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ.

Старые люди Гальянки сходятся на том, что еще в 1936 году в церкви Александра Невского шли службы, крестили младенцев, отпевали усопших. А в 1937-м храм опустел. Ценное имущество конфисковали и увезли в неизвестном направлении, а все остальное... Нашлись охотники до кирпича, досок, чугунных плит, пола, кровельного железа и даже красивых дверных ручек и замков, некогда купленных в Первопрестольной. Теперь обитатели соседней школы № 11 приходили сюда пострелять из рогаток по окнам, по крестам на куполах, по осиротевшим галкам на колокольне...

Потом в церкви был устроен склад дуста. Его распыляли с самолета-«кукурузника» над полями Фотеевского совхоза. И вот таким изуверческим, с покосившимся крестом на главном куполе и помнит храм не одно поколение тагильчан. В таком виде простояли руины до половины сентября 1985 года.

А утром 14 сентября жители старой Гальянки и горожане «цивилизованного берега» увидели совсем обезглавленную церковь, без которой заречный пейзаж уже не воспринимался. Оказывается, ночью под шатром купола «случился» пожар, приехали пожарные, но тушить не торопились, а скорее бдрили, чтобы огонь не перекинулся на жилые развалюшки. Милиция искала виновных в школе по соседству с храмом, нашла двух мальчиков — так и хочется скаламбурить: для битья! — но все завершилось в общем-то банальным, риторическим вопросом в пустоту: «Да надо ли раздувать кадилло?»

Вскоре окончательно изуверенную церковь огородили дощатым «пьяным» забором, который упал через неделю-две, соорудили часть лесов, привезли кирпич, заложили ими несколько дверных и оконных проемов — быть, сказали, в храме филиалу историко-революционного музея! Но дело не двинулось дальше благих порывов. А тем временем

растаскивался кирпич, доски, круглый лес... Типичная, надо сказать, картина.

Может быть, церковь не заслуживает народной памяти, а ее архитектурные достоинства преувеличены?

Обратимся к истории, которая давала ответы и не на такие вопросы. В Нижнетагильской краеведческой библиотеке хранится тоненькая брошюрка, изданная в 1878 году в Пермской типографии издательницы Никифоровой — «Историческая записка о строении в Нижнетагильском заводе Александро-Невской церкви в память освобождения крестьян из крепостного состояния». Это, по сути дела, полная превратностей история сооружения храма.

19 марта 1861 года в нижнетагильском Входомерусалимском соборе был отслужен благодарственный молебен по случаю отмены в России крепостного права. Верующие вышли на площадь перед заводоуправлением, где публично был прочитан и разъяснен правительственный Указ. Тут же была выражена счастливая мысль о постройке на добровольные пожертвования каменного храма во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского — для жителей запрудной четвертой части Нижнетагильска. 1 июня по предложению вольноотпущенного Д. П. Шорина главноуправляющий заводами генерал-майор В. К. Рашет собрал в здании заводоуправления служащих и некоторых купцов из вольноотпущенных господина Демидова и предложил им к подписанию заранее составленный Шориным «приговор» о сооружении храма и образовании попечительского комитета из 4-х человек. Председателем был избран В. К. Рашет. Сто сорок человек подписались под документом, единогласно возложив на Шорина обязанность хлопотать о сборе пожертвований.

24 ноября в Перми утверждена строительная комиссия, одобрявшая план и фасад будущей церкви по

проекту архитектора Нельсона Гирста.

5 февраля 1862 года Синод благословил начало постройки храма на Вересовой горе, названной тогда же Александровской. В то время это был каменный утес, и первые жертвования употребили на ломку камня, выравнивание площадки. Пришлось даже вести взрывные работы, для чего из заводских складов было выделено два пуда господского пороха.

Шорин оказался человеком на редкость предприимчивым, экономным. Он начал дело с капиталом всего в три тысячи рублей — жертвователи оказались не так торопаты, как мнилось. Пришлось изобретать способы экономии. Шорин берет в аренду господские сараи и устраивает в них выделку кирпича, хотя его можно было купить готовым по шести рублей с половиной за тысячу. Но ведь на храм понадобится полтора миллиона штук, и свой кирпич по пять рублей без пятака дал трехтысячную экономию.

Для облицовки церковного цоколя понадобились чугунные доски с петлями — личины. Шорин организовал закупку «задешеву» чугуна, выбранного из отвалов, и негодных чугунных вещей. И опять сберег до 500 рублей.

На Александровскую гору завезли речной песок, обожженную известь, строительный лес, подвезли воду в творила и полубочья, и 6 августа 1862 года протоиерей Алексей Карпинский свершил обряд освящения места и закладки церкви. С того же времени при строении учрежден постоянный караул (не клади плохо, не вводи вора в грех!), для чего в деревне Горбуновой был куплен готовый добротный дом за 90 рублей и перевезен к церкви.

На всю каменную работу 1 июня 1863 года заключено условие с подрядчиком А. Мусатовым — как нельзя более выгодное для общества: «расчитать подрядчика по 3 рубля за сажень камня и за тысячу кир-

пича в деле по совершению купола и после обривозовки работы через экспертов с тем, что ежели же запорочат сделанное подрядчиком, он лишается всей заработки».

В первые два года было уложено в стены и своды храма около 600 тысяч кирпичей, но тут была обнаружена кураторами некоторая недостаточность качества и прочности кладки. Подрядчику предложено сделать переделку, отнеся ее на его личный, А. Мусатова, счет. Он понес убыток в две тысячи рублей, и это на целое лето замедлило постройку. Однако в 1869 году все каменные работы были окончены в лучшем виде, купол и своды для прочности залиты раствором смолы с известью и еще для защиты от дождя и снега заложены наглухо кирпичом или закрыты тесом.

По окончании каменных работ Мусатову причиталось около пяти тысяч рублей, но капитал был истощен, платить подрядчику оказалось нечем, и он вынужден был предъявить иск. Один из попечителей, Михайла Нефёдов, ссудил Шорина суммой в 500 рублей под расписку, чтобы хоть что-то заплатить Мусатову и избежать публичного скандала. Окончательно с подрядчиком рассчитались только через три года.

Но для продолжения строительства надо было организовать новый сбор средств. Не надеясь только на частные пожертвования, решили «для усиления сумм, нужных на достройку церкви, обложить в 1871 году при раскладке каждого годного работника не отготительным сбором по 15 копеек серебром в год». За шесть лет с 6700 годных работников было собрано 5500 рублей. Кружечных же сборов при возможном старании попечительства поступило за 16 лет всего 2440 рублей.

Д. П. Шорин в сметных листах отмечает, что и старания частных лиц тоже не дали ощутимых сборов: два сборщика, обойдя в течение года значительные селения и ярмарки по Верхотурскому, Екатеринбургскому, Ирбитскому уездам, собрали только 192 рубля 85 копеек.

А работа предстояла огромная — оштукатурить церковь снаружи и изнутри. Требовалось четыре тысячи рублей. Эти ассигнования были получены только в 1873 году. Пермские «Епархиальные ведомости» писали: «Ежели на получение ассигнованных сумм от волости и от земской управы требовалось немало хлопот, то можно быть уверенным, что сбор частных пожертвований не даром доставался попечителю Дм. Шорину — к каждому надобно было обращаться с убеждением и при благоприятных обстоятельствах, к иному несколько раз сходить и съездить, другому не однажды напомнить».

В 1875 году была закончена шту-

катурка внутри. Можно было подумать о настилке чугунных вековечных полов. Но плиты тагильского литья выходили тяжелые и дорогие, кушвинские — дешевле и легче. Начальник уральских заводов назначил цену литья по рублю с пуда, но при условии, что каждая доска (плита) будет не тяжелее полутора пудов. В этом случае литье даже с перевозкой выходило на 500 рублей дешевле против тагильских цен.

За выполнение иконостаса екатеринбургские мастера, согласно рисунку, представленному Шориным, запросили 2400 рублей. Тогда он решает делать все местными средствами, хозяйственным образом. Столяр М. Бондин подрядился за 200 рублей выполнить иконостас, тогда как другие просили за эту работу 500.

Вся иконописная работа поручалась живописцу Ф. Д. Топоркову, «который обещал к 20 июля 1877 года оклеить иконостас холстом с лицевой стороны, прошпаклевать и выкрасить на три раза с полировкой под лак, а из алтаря — открыть масляною краскою на два раза без полировки, исполнить резную работу, где следует, по детальным рисункам, потом вызолотить на полимент золотом № 1 херувимов, звезды, царские двери, рамы около образов, колонны, карнизы и орнаменты и, наконец, в готовые места иконостаса написать с возможною тщательностью 19 икон по сделанному назначению изображений — и все это в цену одной тысячи рублей». Цены, как видим, вполне божеские.

Однако шесть икон на главные места были выполнены в Санкт-Петербурге. Вот описание трех икон: «В нижнем ярусе — Спаситель, вручающий апостолу Петру ключи царства небесного, Богоматерь с Предвечным младенцем, как бы объемлющим Вселенную, и святой благоверный Великий князь Александр Невский на молитве, за которым виднеются монахи, несущие готовую монашескую одежду на перемену княжеской. Все три образа выполнены, можно сказать, превосходно академиком В. П. Худояровым, местным уроженцем». Кстати, за шесть главных икон, написанных Худояровым, он пожелал получить вознаграждения 490 рублей, тогда как эта работа по ценам художественной артели составляла 1000 рублей.

Академик Плюснин написал для иконостаса три больших и пять меньших икон за плату в 230 рублей. Иконописные святцы по рисункам академика Солнцева были выписаны из заведения хромотипии господина Хрулева.

К 30 августа 1877 года все образы были помещены в иконостас, поставлены чугунно-железные клиросы по моделям архитектора Гирста. К сожалению, царские двери не сов-

сем соответствовали стилю иконостаса, будучи исполнены не по рисунку, данному Шориным, а по соглашению мастера с выборными из прихожан. Это случилось во время отсутствия Шорина.

Теперь предстояло устроить колокольню. Сношение с колокольными мастерами в Екатеринбурге и Невьянске показало, что отливка с доставкой обойдется не дешевле семнадцати рублей за пуд, только на один стопудовый колокол потребуется 1700 рублей, да на все остальное 2500 р. — сумма, превосходящая средства попечительства. Тогда Шорин нашел, что можно купить колокола готовые — «из излишнего колокольного звона Свято-Троицкой колокольни на сумму 1880 рублей 90 копеек — семь колоколов!»

На завершение строительства поступали деньги от жертвователей. Нельзя не упомянуть некоего А. А. Г. — воспитанника Выйского училища, более 20 лет проживающего в Астрахани. В 1867 году он впервые прислал Шорину 500 рублей и просил не разглашать его имени. Потом он уполномочил Шорина продать новый каменный дом в Тагиле, а вырученные деньги употребить на отливку благовестного колокола к новому храму. И предложил сделать надпись: «От служащих на заводах Павла Павловича Демидова в знак благодарности за воспитание в Выйском училище». Кроме означенных сумм, он переслал Шорину в разное время 1085 рублей и два персидских ковра.

Пока жертвователь служил, Шорин обязан был хранить его имя в тайне, но вот А. А. Г. вышел на пенсию, и Шорин счел своим долгом огласить загадочное имя. Это был А. А. Густомесов.

И еще подвернулся счастливый случай: для ополченцев, идущих на Крымскую войну, было собрано 1887 рублей, но рекруты на войну не попали, а подписчики переадресовали пожертвованные деньги на церковь.

30 августа 1877 года, в день памяти Александра Невского, по колокольному звону отслужена в Александровской церкви заутреня. Во время службы был внесен в церковь образ благоверного Великого князя Александра Невского в дорогой ризе, присланный попечителю Шорину из С-Петербурга архимандритом Израилем (тагильским уроженцем), но прежде образ был освещен митрополитом Исидором на серебряной раке князя в Александровской лавре. Потом отслужено молебствие с возгласением многолетия государю императору-освободителю и создателю храма.

Итак, на строительство Александровской церкви ушло 16 лет. Сооружение несет признаки башенной архитектуры со шпилем. Церковь

удачно привязана к местности и кажется грандиозной со всех сторон. По фасаду она похожа на храм, что выстроен архитектором Кузьминым для русских в Париже, но по цене обошлась в 25 раз дешевле.

Такова история, но вернемся в наши дни.

...В 1988 году священнослужители Тагила и его окружи при активном участии общественного комитета «Возрождение» во главе с Георгием Михайловичем Давиденко начали сбор подписей за передачу разрушенного собора общине верующих. Кампания прошла спокойно и успешно: осенью 1988 года решением горисполкома и Совета Министров республики церковь обрела хозяина.

Первыми пошли к храму своей молодости старушки с ведрами, лопатами, метлами. Пока еще было совсем непонятно, как можно все это оживить и одухотворить заново. Но вот освободили церковь от огромного, в несколько тонн бугра спрессованного дуста и всякого невообразимого хлама. Отслужили благодарственный молебен в пустой, еще без окон, без дверей церкви, и, благословясь, наши великопленные духом старички и старушки принялись за дело.

Прошла зима. В церкви работает отопительная система, настелены двойные полы, вставлены окна и двери, построены хоры для певчих, сооружен временный иконостас, дарители собрали первые храмовые иконы и церковные колокола.

Утром 15 апреля состоялся торжественный обряд освящения церкви. В заключительной проповеди архиепископ Мелхиседек сказал удивительно теплые и несколько потерянные для слуха слова: «Отныне Александр Невский будет вечным покровителем этого храма и охранителем города... В век, оскудевший любовью и состраданием, нам надо учиться добродетели и милосердию у наших предков... Когда мы идем в храм, то должны позаботиться о своем нравственном очищении. Да умножится наша любовь друг к другу!»

Во время богослужения иерей Геннадий Ведерников, настоятель возрожденного храма, был возведен в сан протоиерея.

Теперь служба в церкви совершается постоянно, а ремонт и благоустройство продлится не один год: храму надлежит предстать перед миром в прежнем своем великолепии.

...В сторожке артельщики сложили печку, скинулись не очень хрустящими купюрами, принесли кой-какие харчишки, — и вся артель сыта! Так завелось, что кухаркой-общественницей стала тетя Галя — Галина Семеновна Пономарева, член церковного совета «двадцатки». Иногда за стол тут же под навесом у церковной

стены садится отец Геннадий. Но засиживаться шибко некогда, так, малость перекусить и опять за дела, а они все срочные, скорые. Случалось, что и сам батюшка лезет на крышу, принимает бадью с гудроном, чтобы положить гидроизоляцию на сферу кирпичного купола.

А снизу горластая «черпала» орет, понуждает:

— Ну, дергяй нето! Чо шаперишша, простынет! — Кричит, не видя и не ведая, кому в ангельское поднебесье указы посылает.

На церкви один за одним появляются купола, сияют кресты, белестит оцинкованная жесьть кровли.

Первыми помощниками в строительстве оказались «неформалы» и неорганизованные сознательные граждане, воспитанники детского дома, члены обществ «ЭКО», «Очищение», «Возрождение», «Мемориал», студенты пединститута и филиала УПИ. Трудовые коллективы крупных предприятий (и малых — тоже!) не нашли возможности оказать помощь в восстановлении храма. Отношение администрации предприятий к церкви не одинаково. Дирекция кирпичного завода № 2, например, своевременно доставила кирпич, помогла изготовить оконные рамы, дала подъемную технику. За плату, разумеется. А вот НТМК продал церкви пять тонн оцинкованной жести по тройной цене (по тысяче рублей за тонну) — как продает кооперативам и прочим организациям.

Пенсионер с завода металлоконструкций (коллеги зовут его просто Кузьмич) сварил металлическую шатровидную конструкцию главного купола, работая сверхурочно, по выходным дням, но дополнительной оплаты от церкви за срочность не взял. Даже обиделся маленько.

Стройке нужны разборные металлические леса. Но в городе не нашлось предприятия, где могли бы хоть за тройную цену продать или дать в аренду. Хотели сами изготовить — нет труб.

Создана более или менее постоянная артель умельцев, но и тут дефицит — нет профессионального руководителя. Город не предложил платного инженера-строителя хотя бы в консультанты. Религия все-таки. Опium не опium, а старые моральные тормоза мешают отцам города предложить хоть мало-мальскую помощь, но не мешают им, однако, гордиться церковью как памятником архитектуры, без которого городской заречный ландшафт просто немислим.

Реставрация церкви — дело не только кропотливое, тонкое, но и трудоемкое. Кто полезет на верхоуру делать сложнейшие кровельные работы за гроши? Но стоит повысить в договоре сумму оплаты, как автоматически срабатывает грабительское налогообложение. Церковь

отделена от государства, но, видимо, не настолько, чтобы государство отказалось от старушечьих пятаков, из которых и складываются тяжелые «тыщи». Их надо растянуть, чтобы оштукатурить церковь изнутри и снаружи, поставить иконостас, сделать роспись интерьера, заказать паникадила и колокола, построить ограду, создать профессиональный хор певчих. Церковь отделена от государства, но не настолько же, чтобы музей не мог вернуть храму культовую утварь из своих, не приспособленных для хранения фондов.

Церковь отделена от государства. Но разве не прибавило бы чести каждому жителю города, каждому, кто начинает новый отчет патристическому чувству, обложить себя «неотяготительным обязательным сбором» по 15 копеек в год? Этот налог с потревоженной совести дал бы за пятилетку минимум 150 тысяч рублей и избавил бы от лишних финансовых проблем, ускорило дело. Неужели мы не готовы к самопожертвованию даже по самому малому счету — по пятнадцатикопеечной раскладке?

Церковь отделена от государства. А за минувший год в храме приняли обряд крещения сотни младенцев, подростков, взрослых, даже пожилых. Эти, по самому строгому минимуму, уж точно не станут никогда лупить из рогатки по улчным фонарям, тем паче по церковным окнам.

Церковь отделена от государства. Но вот случился запрос из Ивдельлага: два брата, осужденные и заключенные, потребовали у своего начальства батюшку, чтобы раскаться в поступках, с которыми не согласна их душа, совесть. И отец Геннадий, заручившись официальным документом от архиерея, мчит на своем «москвичонке» в места не столь отдаленные...

Церковь отделена от государства. Но это еще не повод искусственно создавать для верующих и желающих поработать на суботниках транспортные препятствия, ведь автобус № 12 — это самый ненадежный в городе маршрут, а строящийся трамвайный путь пройдет не так уж близко.

Церковь отделена... Так ли уж отделена? Ведь тем, кто завтра будет жить среди нас сознательной жизнью, а сейчас лежит не вдоль, а поперек лавки, христианская мораль привет животворные заповеди: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца и мать свою, не сотвори себе кумира, не прелюбодействуй, не желай дома ближнего твоего, помни день суботный... Последняя заповедь кажется сегодня очень актуальной, и соблести ее совсем просто: отложить некончаемые суетные дела и прийти к подножию храма, чтобы помочь ему подняться в рост.

История этой переписки такова.

В 1949 году вышла книга Льва Кассиля и Максима Поляновского «Улица младшего сына». Судьба пионера Володи Дубинина взволновала свердловчанку Е. Г. Жданову-Курелюк. И она отправила писателям свой отзыв о повести. В ответ Екатерина Георгиевна получила книгу с надписью: «Нашей энергично отзывчивой читательнице». С того дня началась ее эпистолярная дружба с известным детским писателем Львом Кассилем, продолжавшаяся более двадцати лет. Около двухсот писем и открыток получила за эти годы свердловчанка, а встретиться с писателем ей так и не довелось.

Кто же она, Екатерина Георгиевна Курелюк!

Ее юность прошла в годы надвигающейся революции. Отец, Георгий Михайлович Жданов — известный на Урале подпольщик, член партии с 1905 года, много сделал для становления Советской власти на Урале. Катя росла в среде большевиков, помогала отцу и его соратникам. К тому же у нее открылись артистические способности, и она охотно участвовала в театральных постановках для красноармейцев, будучи сестрой милосердия, а после освобождения города Лысьвы от колчаковцев — в работе драмкружка. Сборы от спектаклей и концертов шли в фонд партии.

Дальнейшая жизнь Екатерины Георгиевны складывалась нелегко. В годы Великой Отечественной войны она потеряла двух сыновей, старший, Юрий, пропал без вести в 1941 году, а Вадим погиб при форсировании Днепра в 1943-м. Наверно, поэтому ее так взволновала «Улица младшего сына»...

Предлагаю читателям журнала в сокращении несколько писем Льва Абрамовича Кассиля [в июне исполняется 85 лет со дня его рождения]. От их страниц веет дыханием времени. Возникает неприкрашенный облик писателя, и далеким эхом доносятся до нас события литературной жизни 50-х годов.

Последнее письмо в Свердловск написано Львом Абрамовичем за двенадцать дней до кончины...

Андрей ГОРБАТОВ



# «...Беспомощность перед громадой несделанного»



Письма  
Льва Кассиля  
на Урал

Москва, 21 июня 1950 года.

Уважаемая Екатерина Георгиевна!

...Вы пишете, что я много творчески поработал последние месяцы. Пустяки, дорогая Е. Г., разве все это может меня удовлетворить? Хотя Вы и не знаете доброй половины, если не двух третей, того, что я делаю; ничего настоящего значительного я давно уже не делал. Добавления и исправления по книге — это хоть и трудоемкая работа, но не новый объект, так сказать, а дооборудование уже ранее выстроенного, наполовину обжитого здания, вход в которое расширяется теперь для публики, толкавшейся прежде в тесноте. А все другие литературные подделки это дело проходное, однодневное по своему звучанию...

Конечно, я испытываю некоторое удовлетворение от того, что моя работа, часто безымянная, где-то вырастает в нашу жизнь, скромно делая свое небольшое дело. Вот, скажем, воззвание детских писателей Советского Союза в защиту мира и детства во всем мире, напечатанное в «Комсомольской» и «Пионерской» «Правдах» 1-го июня, написано целиком мною по предложению Союза писателей и ЦК ВЛКСМ. И мне приятно было видеть потом свои

строчки в плакатах Кукрыниксов и стихах Маршака. С волнением прочел я в книге Л. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре» (написанной писательницей Вигдоровой) главу «Зеленый шум», где описывается, хотя и с умолчанием моего имени, встреча с Зоей Космодемьянской и ее классом весной 1941 года и процитированы два абзаца моего очерка «Зеленый шум», написанного и напечатанного за неделю до войны в «Правде». Я и не знал тогда, разумеется, что описал зоиин класс, а Зоя рассказывала матери о моем посещении их школы. Но меня волнует мысль, что и моя какая-то строчка запала, пусть хотя бы в одну извилинку мозга, пламеневшего в этой светлой головке... И, наконец, пусть это будет сочтено за совпадение, в статье Иосифа Виссарионовича Сталина о языке-знании есть место, где он высмеивает «марксистов», готовых срыть буржуазные железные дороги, и называет таких «троглодитами». Не сочтите за нескромность и манию величия, поверьте, я говорю тут лишь о смыкании образов, но вспомните главу «Э мюз и троглодиты» из «Швамбрании», где вредитель-педагог хитро воспекает опрошение, начатки первобытного коммунизма, издевается над гимназистами, давая им кличку «троглодиты», и в

следующей главе прямо говорит: «Уважаемые троглодиты... Железные тропы поездов зарастут!» Пусть совпадение, но зато какое вдохновляющее!

Выступал я тут на большом вечере в память Горького с воспоминаниями об Алексее Максимовиче, кое-что напечатал в «Вечерней Москве», много возился с рукописями молодых писателей, моих учеников, и два дня дружески занимался с Сережей Михалковым, по его новой, еще очень сырой пьесе, где он нуждается в серьезной помощи извне. Талантлив мой любимый друг безмерно, но часто приходится «глаголом жечь» его чересчур иной раз прыткую натуру... Люблю я его, курносого верзилу! Радуюсь удачам баловня судьбы, но тревожусь, как бы легкость побед не сбила солнечный ток его дара в сторону блеска лауреатских медалей. Писателю, особенно детскому, юношескому, нужно яростно беречь каждую линию своего творческого спектра, не допуская смещений в угоду успеху...

*Москва, 9 сентября 1950.*

...Когда Вы пишете мне чрезмерно высокие слова похвалы или переводчик из Чувашии, сам писатель, переведший «Великое Противостояние», сравнивает меня с Гоголем, я испытываю жгучее чувство неловкости, не знаю, куда мне деться от смущения и как объяснить Вам и другим милым людям, что они заблуждаются. Могу ли я утешать себя мнимыми успехами или довольствоваться тем, как я пишу? Да нет, конечно! Поверьте, это не скромность. Наоборот, это — гордыня человека, истово верящего в могущество подлинного, не знающего границ и пределов искусства. Могу ли я довольствоваться тем, что я делаю, когда я слышал Маяковского, учился у него, был его младшим другом, знал Горького, встречался с Ролланом, дружил с Циолковским... И сейчас я живу в квартире, где все: и картины, и хрусталь, и каждый кубический сантиметр пространства — помнят несравненный голос Леонида Витальевича Собина, великого артиста, кристально чистого рыцаря песни, оставившего свое обаяние, красоту своих глаз и души, прямодушную взыскательность в вопросах искусства и чести, непримиримый художественный вкус — мне, как драгоценное наследство, собранное в его дочери, моей жене... Вот передо мной на моем столе снята она девочкой на коленях у Станиславского, рядом с отцом. Вот смешные стихи, которыми надписал свою карточку, подаренную ей, Качалов, любимец нашего дома, которого мы никогда не забудем. Через комнату от моей стоит рояль, подаренный Рахманиновым, висят картины Коровина, Васнецова, Петрова-Водкина, программы домашних концертов, нарисованные Врубелем, бюсты Судьбинина... Как же должен я писать, чтобы не выглядеть вороной в павлиньих перьях, чтобы хоть немножко приблизиться к уровню истинного мастерства, чтобы иметь право дышать этим воздухом, освященным лучшими мастерами великого русского искусства!.. Теперь Вы поймете, почему мне так неловко читать те Ваши письма, где Вы чрезмерно, слишком восторженно и в несоответствующих мне выражениях говорите обо мне как о писателе и человеке...

*Москва, 16 февраля 1952.*

...Вот точный список звонков, посещений, дел, имеющих место у меня за один день. Просто я выбрал наудачу один день и решил записать все, что я буду делать.

День этот по жребью (открыл календарь, не глядя) выпал на 14-е января с. г., понедельник.

Встал около 11-ти, проглядел «Правду», «Известия», «Комс. правду». Звонила Рина Зеленая насчет ее юбилея. Три звонка из разных редакций, пока завтракал.

Приехал шофер, брал деньги и требование на масло для машины. От 11.30 читал корреспонденцию и писал письмо маме. Пришла скульптор Вера Игнатьевна Мухина, народный художник СССР, тетка жены. Была до часу. Еще при ней пришла Рина Зеленая. Совещалась до двух часов относительно ее юбилея, где я делал вступительное слово о ней. В 2.15 пришел секретарь академика Тарле,

по личному делу. Я звонил по его просьбе с Союз писателей.

В три пришел столяр добавлять книжные стеллажи, а то книги уже погребли меня совсем... Тут же пришла назначенная еще три дня назад одна поэтесса, которую обидели на радио. Читала мне свои стихи, советовалась. Звонил по ее просьбе куда надо. В эти часы мне звонили: Барто; редакция «Советской женщины»; подшефная генеральша, начинающая писательница; подруга жены с просьбой достать «Сагу о Форсайтах» Голсуорси; из правления Союза писателей; из «Пионера»; из одной школы с просьбой приехать на сбор; еще раз Барто; один из молодых писателей, моих питомцев; сын певца Озерова, молодой кинорежиссер, с просьбой принять его; поэт Богдан Чалый, приехавший из Киева; из редакции «Советское искусство» с просьбой дать отзыв о картинах, изображающих детей; городской Дом пионеров за советом; из Детгиза насчет одной рукописи, данной мне на отзыв; еще один молодой писатель (Алексин) за советом. Со своей стороны я звонил: писателю Никулину относительно юбилея старого писателя Березовского; в редакцию «Вечерней Москвы» о Рине Зеленой; на квартиру моим мальчикам, узнать, как прошел день в школе; бабушке Коли Дмитриева с назначением встречи на завтра; в один из райсоветов с просьбой ускорить обмен комнат больной редакторше Детгиза; в подшефный детский дом относительно заседания попечительского совета. Обедали в шесть. До обеда успел с часик поработать. В 7.15 Светлана Леонидовна ушла играть спектакль. Работали до восьми. В восемь включил и настроил нашим телевизор. Звонил в Союз писателей насчет адреса Березовскому, как член юбилейной тройки. Звонил по этому же делу Никулину, опять в Союз, потом Березовскому. Не добившись толку, вызвал машину и сам съездил в Союз. Вернулся после девяти. Пришла знакомая музыковедка, принесла книжку свою об украинском композиторе XIX века Сокальском. Зашел назначенный днем Богдан Чалый, советовался насчет своего журнала «Барвинок», просил рассказать, потом пришел назначенный режиссер Озеров, читал план сценария, советовался. Звонили из Петрозаводска с просьбой продвинуть рукопись их автора в Москве. От 11.30 до 12.30 немножко поработал. Пришла из театра Светлана. Ужинали в час. Лег в 1 час 30 мин. Читал до 2.45 мин.

Вот, дорогая Екатерина Георгиевна, когда Вам захочется обижаться на меня, что я долго не пишу Вам, перечитайте этот листок...

*Москва, 23 мая 1952.*

...Вчера вместе с А. Софроновым, А. Первенцевым (он троюродный брат Маяковского) и Людмилой Владимировной Маяковской я в 4 часа дня принял на свои руки драгоценный и скорбный груз: урну с прахом моего любимейшего и незабвенного Старшего Друга и Учителя — Владимира Владимировича Маяковского. До вчерашнего дня урна хранилась в крематории. Вчера мы захоронили ее на Новодевичьем кладбище, где нас встретили: мать Владимира Владимировича, 85-летняя Александра Алексеевна, Н. Тихонов, С. Кирсанов, С. Михалков, Е. Долматовский, П. Вершигора, И. Сельвинский, В. Ажаев, Л. Ю. Брик и многие другие писатели, критики, артисты, поэты. Н. С. Тихонов сказал краткую речь, а артист Балашов прочел стихи Маяковского. И вот, сквозь шорох цветущей сирени, над монументами, воздвигнутыми в честь человеческого горя и памяти, меж старинных стен Новодевичьего, из-за которых теперь в пантеон заглядывает вознесенная на 1/4 километра в небо над другим берегом Москва-реки белокаменная громада университета, под аккомпанемент далеких паровозных гудков и птичий пересвист, загремели стихи, подобные торжественному салюту тяжелых батарей: «Я с теми, кто вышел строить и мечь в сплошной лихорадке буден... Отечество славию, которое есть, но трижды — которое будет!»... Не забыть этой минуты.

А мне пришлось прямо с кладбища ехать на встречу со студентами пединститута...



Москва (Внуково), 24 июля 1952.

Уважаемая Екатерина Георгиевна!

Ответить Вам быстро на предыдущее письмо был не в состоянии. Дело в том, что с первых чисел июля я чувствовал себя плохо. Ездил еще с женой на Никколину Гору, на дачу Сережи Михалкова, где мы обедали со знаменитым скульптором Коненковым, а числа 5-го я начал передиктовывать у себя во Внукове машинистке первый вариант книги.

Продолжал диктовать часов по семь в сутки и, очевидно, переутомил голову и нервную систему...

Усилием воли я заставил себя встать, уехать на дачу и снова взяться за работу, хотя есть я по-прежнему ничего не мог, боли в желудке продолжались, слабость и дурнота изводили, а по ночам терзала мерзкая бессонница...

И с этого дня по сегодняшний я, не отрываясь, работал. Все это время прошло в сплошном иступленном труде. Я диктовал машинистке по 9—10 часов в день, пока уже она не просила пощады.

Преодолевая все время подкрадывавшееся отвращение к работе и неверие в свои силы, сатаняя от записей, выписок, перепутанных заготовок, десять раз менявшихся планов, новых догадок и всего, что накопилось за два года работы над материалами о Коле Дмитриеве, я заставил себя продиктовать еще 250 страниц на машинке. Итого 5000. Сегодня, в час дня, я закончил диктовку первого, еще чернового, варианта и отпустил машинистку. А сейчас, в семь часов вечера, немножко переведа дух, пишу Вам, так как совесть моя не даст мне спать, пока я Вам не отвечу.

Что у меня получилось, совершенно не знаю. Машинистка моя, молоденькая и прехорошенькая женщина, несколько раз ревела над печатаемыми страницами и говорит, что книга завладела ею целиком. Но это еще не показатель. У меня пока абсолютно нет чувства удачи или даже тени уверенности в том, что книга получится. Завтра я уеду на мою дачу в писательском городке Переделкино, где живут мои мальчики, побуду с ними, потом поеду в столицу, улажу кое-какие дела, запущенные за это время, через день вернусь сюда, во Внуково, и прочту свежим глазом все, что я накопал... Знаю уже сейчас, что ряд мест надо будет исправить, кое-что переписать заново, а кое-что и выкинуть решительно. Работы я не боюсь (Леонид Осипович Утесов, следивший за тем, как я работал эти дни, и очень тосковавший, что ему не с кем поболтать на даче, поражался моей одержимостью и работоспособностью). Но дел еще с книгой много, очень много. Это я чувствую. Никакого удовлетворения у меня еще сейчас нет. Книга только построена, возведена под крышу, как говорят строители. А надо еще штукатурить, проводить освещение и обставлять интерьеры. Но эта работа уже приятная. Я ее люблю, признаться. Отрадно бывает видеть, как из аморфной фразы под твоей рукой вдруг, играя всеми оттенками точно нашедшихся слов, вырастает ограниченная языковая формула.

Да, понял я еще раз, почему Флобер, когда писал сцены отравления Эммы Бовари, сам чуть не падал в корчах от болей в желудке. А Бальзак, которого как-то друзья позвали в гости на обед, остановившись в рукописи на фразе: «Дело было назначено слушанием на шесть вечера», за обедом вдруг спросил: «Который час?» и, узнав, что без четверти шесть, вскочил и кинулся бежать, сломя голову, домой... И только по дороге образумился, поняв, что дело «назначено» у него в рукописи, которую можно продолжить и завтра.

Если такие умы-исполины забывались от самоотверженного, всепоглощающего труда, то нам, малышам литературы, это уж простительно подавно...

Москва, 19 мая 1956.

Да, горькая и большая трагедия разыгралась в нашем писательском городке Переделкино. Меня в то роковое воскресенье не было на даче...

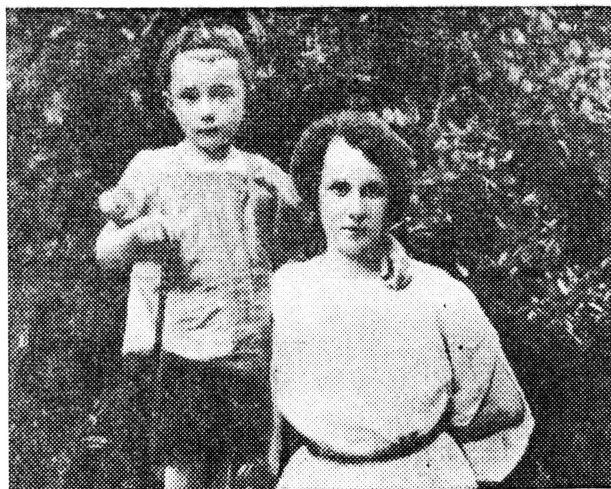
...Я вернулся домой, на московскую квартиру, часа в четыре. И тут мне позвонил один из моих ближайших дру-

зей, писатель Рахтанов, который начал осторожно спрашивать меня, все ли в порядке в Переделкино, давно ли я видел Фадеева, все ли с ним благополучно. Я уже почувствовал неладное, просил не томить меня и сказать сразу, что стряслось. И Рахтанов сообщил мне, что его приятелю только что звонили из Дома творчества, который находился против моей дачи, и сказали, что Александр Александрович застрелился... Я не поверил, позвонил своему старшему сыну Володе, который очень дружен со всей семьей Фадеевых и пользовался большим вниманием самого Александра Александровича, вечно привозившего ему пластинки из-за границы и т. д. Просил Володю позвонить на московскую квартиру Фадеева, узнать, проверить и т. д. Сам я не решился звонить туда, очень уж страшно было... Через 5 минут Володя сказал мне по телефону, что дома в Москве у Фадеевых гости — они были у пасынка Александра Александровича. Я постарался успокоить сына, попросил прощения, что зря потревожил его и помешал готовиться к экзамену в институте. Но сам-то я не успокоился, боясь, что дома в Москве могут еще не знать о беде, случившейся на даче, так как жена Фадеева, народная артистка Степанова, была с МХАТом в Белграде, в Югославии. Я кинулся проверять по всем телефонам, но никого не мог застать в Переделкино, а в Союзе у нас никто не откликнулся — день был воскресный. Целый час бился я у телефона в нестерпимой тревоге. И тут мне позвонили из Союза...

...Выстрела на даче никто не слышал. Фадеев, поговори́в утром с домашними, съев стакан простокваши и выпив чашку кофе, дав распоряжение садовнику, просил не тревожить его до обеда, сказав, что соснет немного, разделся, лег, положил на грудь две подушки, чтобы не слышно было выстрела, и пулей из нагана, бывшего у него еще с партизанских лет, разнес в клочья свое сердце...

Москва, 20 ноября 1956.

...Много еще в жизни нашей неладного. И порой чувствуешь такую беспомощность перед громадой несделанного. Очень тревожит меня наша молодежь. Все мы перед ней виноваты той неправдой, которая отравляла нашу жизнь. Я готовлю большое выступление в «Литер. газете» о некоторых язвах, разъедающих и сегодня душу молодую... Не знаю, увидит ли свет это мое писание, продиктованное болью и тревогой.



На снимках:  
Лев Кассиль. Фото из архива С. Л. Собиновой. Публикуется впервые.

Е. Г. Жданова с сыном. Крым, 1926 г.



# ГОРБУНОК

*Повесть*

Наталья СОЛОМКО

*Рис. Евгения Охотникова*

Окончание. Начало в № 5.

О том, что смерть есть, Горбунов знал с малолетства, с той малопамятной поры, когда жил на окраине на «похоронной» улице, прямой дорогой ведущей к неужоженному кладбищу, которое называлось Новым.

Хоронили часто: где-то там, вдали, в начале улицы, вдруг возникал унылый рев похоронных труб, медленно подползал все ближе, нарастал, надвигался темной стеной, в просвете меж домов появлялась молчаливая толпа, и маленький Горбунов, томимый тоскливым любопытством, принимал к окну, чтобы разглядеть сверху, кого это там опять понесли.

Носили взрослых.

Впрочем, для дошкольника Горбунова кто ж не взросл был?

А то помирал кто-нибудь из соседей, и юные жители двора, бросив игры, неслись к подъезду поглядеть на знакомого покойника, на блестящие трубы музыкантов...

Все детство смерть бродила по краешку жизни, пугала, как страшная сказка, и, как сказка, была невсамделишной, в сущности, не опасной. Ибо к Горбунову отношения не имела. Умирал всегда кто-то. Не он. Он был маленький, смерти не подлежащий. Бессмертный.

Потом, когда пришла пора, Горбунов догадался, что тоже когда-то умрет, и долго, безутешно плакал, потрясенный своим открытием. Но так далеко еще было до смерти, такая громада медленных, непрожитых лет скрывала ее от Горбунова, еще столько жить, жить, жить предстояло ему, что он успокоился: когда еще это будет. Вот только когда видел похороны, сердце сжималось. Но потом, как известно, переехал он с окраины на главную улицу, на которой, в основном, происходили парады и демонстрации, и Горбунов совершенно забыл о предстоящей смерти. Кое-кто по-прежнему умирал, разумеется, какие-то посторонние, незнакомые люди, но Горбунова это совершенно не касалось.

И вдруг — перепуганные лица, разговоры шепотом, сборы на венок — брат как накаркал... Сам-то, он, конечно, остался живым и невредимым, да и что с ним могло случиться, с пустомелей и бездельников, такие живут вечно. Умер Феденька, одноклассник, единственный сын «больших родителей»...

Ну, родители-то у всех одноклассников Горбунова, скажем прямо, были не маленькие, «отцы» города, директора заводов и театров, сплошные начальники. Но Феденькин был самый-самый, и потому совершенно не понятно было, как такое вообще могло произойти.

Хоть и знал Горбунов, что Феденька болеет с детства, а все равно не укладывалось в сознании.

В детскую пору был Феденька выскочка, ябедник, воображала, и вот однажды, классе в пятом, наверное, а может, в шестом одноклассники устроили ему «темную» в школьной раздевалке (новичок Горбунов, разумеется, тоже принимал участие, зарабатывая авторитет в коллективе), а потом плакали взахлеб, перепуганные посиневшим Феденькиным лицом со страшными, черными губами, просили прощения, кричали: «Не умирай, пожалуйста». Потому что, оказывается, его нельзя было бить, у него большое сердце. Его и не били больше никогда, хотя Феденька много делал такого, за что следовало бы ему надавать как следует.

Феденька вырос красивым, румяным парнем, кстати, самым высоким в классе, и ничто не обличало в нем страшную его болезнь, только на физкультуру не ходил и на вечерах не танцевал.

В старших классах он уже не ябедничал, но все равно остался паршивцем, мелким пакостником.

С девушками у Феденьки проблем не было, они только что хороводы вокруг не водили, но все равно любимым его развлечением было увести у кого-нибудь подругу. Удавалось это ему с легкостью: девочки в классе были не дуры, о будущем думали, не впадая в романтические глупости.

— Старушка, «Челюсти» хочешь посмотреть? — лениво спрашивал Феденька девочку, и кто ж тут устоит?

Свой видеоманитофон был только у него, у единствен-

ного, и чего только ни глядели девочки, придя к нему в гости. Ибо «Челюстями», разумеется, не ограничились высокие вкусы Феденькиного отца, а Феденька отлично умел открывать гвоздем секретер у родителей в спальне, где хранились кассеты, вовсе не предназначенные для сыновних просмотров... Лыстиво девочкам Феденькино внимание, нравилась веселая, легкая жизнь с большим будущим в перспективе, и взгляд Феденькин нагло-тасковский, знающий, что все сейчас будет, как он захочет, смущал только вначале, и так легко и просто с ним было — не возникало отчаянных пауз, как с другими мальчиками, неумело влюбленными, когда разговор вдруг становится непонятным и стыдным, заходит в темный тупик, и вот мальчик и девочка молчат, молчат, не умея выбраться, и ничего уж не надо, ни любви, ни дружбы, а только бы кончилось это отчаянное, беспросветное молчание с пятнами на щеках. Нет, с Феденькой такого и быть не могло.

— Ой, ну что ты как маленькая, — удивлялся он и принимался умело девочку раздевать. — Ничего не бойся, у меня таблетки есть. Слушай, обобдеть, какая у тебя грудь красивая...

В общем, было, было, за что его бить, паскудника с большим будущим.

Перед Новым годом Феденька лег на операцию: несколько лет вымаливал у родителей согласие, а те упирались наотрез, боялись. Какое-то такое условие ставили врачи: или станет совершенно здоровым, или умрет — простое, как в детской игре, почти сказочное.

Феденька просил, умолял, скандалил, он хотел жить, как все: танцевать, бегать, гонять на спортивном велосипеде, а родители любили его и таким — не танцующим, не делающим резких движений, при малейшем напряжении начинавшем задыхаться, синеть губами.

— Эгоисты! — кричал им Феденька. — Я что, всю жизнь так должен?

И никакие отцовские увещевания не помогали.

— Ну подпишите, что согласны...

Мать плакала, отец, крутой, властный человек, давно отвыкший от каких бы то ни было споров и возражений, молчал тосливо и беспомощно. Они сдались, когда Феденька пригрозил, что уйдет из дома.

Месяц Феденьку готовили к операции; девочки бегали к нему, таскали компоты и апельсины, ревновали, интриговали, выясняли отношения, целовались на черной лестнице, прятались от злыдни дежурной сестры, по приказу врача гонявшей Феденькиных посетительниц.

Феденька был нервически весел, торопил время, мечтал, как после операции пойдет в лес кататься на лыжах — впервые в жизни. Одноклассницы никак не могли выяснить, с кем именно собирается он кататься на лыжах, и готовы были друг другу в глаза вцепиться.

Операция была назначена на девятнадцатое, а двадцать второго Феденьку хоронили...

Горбунов шел по морозной улице в первой своей похоронной процессии и мучился: неужели так бывает? А Феденька лежал в длинном гробу, крепко зажмурился, и чуть улыбался, доводя Горбунова до тяжелой, отчаянной жути. Неясный, почти животный ужас ворочался под вздохом, мешал дышать. То ли спорить, то ли жаловаться хотелось, и кричать о беззаконии жизни. Или смерти? Горбунов Феденьку терпеть не мог и желал ему про себя всяческих несчастий. Но не такого же! А может, это нелепая шутка, и в конце концов пакостник встанет из гроба и ухмыльнется: поверили, придурки? Но на кладбище гроб заколотили и опустили в мерзлую землю. Значит, это все на самом деле, понял Горбунов: жил и умер, и никто тут не поможет, не спасет... Ужасно, ужасно, несправедливо... И со мной так будет? Тогда зачем вообще жить? Кем ты ни стань, что ни соверши, а все равно умирать. Зачем, зачем тогда все?

Две недели Горбунов ходил тоскливый, как в воду опущенный, перепуганный беззащитностью своей перед смертью; но тут вдруг началась война с химичкой: им в институты поступать, а она талдычит все по учебнику, строчка в строчку, и ничего объяснить толком не может. Да еще

единиц понаставила тем, кто забунтовал, пообещав снизить оценку за полугодие. Ну, тут уж они совсем взбеленились, пошли жаловаться к директору.

— Она нас плохо учит, дайте нам другого учителя.

Директор обещал разобраться, но химичка встала на смерть и в раздражении сказала что-то про зажавшихся «сынков», которые норовят на чужом горбу в рай. Ну, это уж было ни в какие ворота, вмешались оскорбленные родители, и химичку уволили.

Сразу вслед за этим началась весна, и время понеслось: экзамены на носу, торопливое дозубривание билетов, а на улице листья, теплый ветер, на волю хочется, да еще в Горбунове любовь разбушевдалась соответственно возрасту и времени года...

Мама, дождавшись его возвращения под утро:

— Где ты шлялся?! У тебя экзамены!

— Билеты писали у Толика.

Надоело это детство хуже горькой редьки, скорей бы все кончилось.

Все и кончилось: экзамены, выпускной...

На выпускном вдруг вспомнили про Феденьку и на следующий день, отоспавшись, толпой отправились на кладбище. Отыскивали могилу; озираясь, чтоб не застучали взрослые, выпили вина; девочки всплакнули, мальчики помолчали под радостный птичий щебет, а потом все снова зашумели, засмеялись, обсуждая только что сброшенные экзамены и грядущую волную жизнь, совершенно как-то позабыв, зачем они сюда пришли. Печаль прошла, растворилась в этом зеленом солнечном дне. Окружив могилу Феденьки, уютно устроившись в высокой кладбищенской траве, они весело болтали о навсегда прошедших школьных годах, хохотали, махали руками; иногда в разговоре поминали и Феденьку, легко, без грусти. Будто Феденька не умер, а перешел в другую школу.

Горбунов выбрал институт военных переводчиков.

Поль выбор не одобрил:

— Пять лет жить в казарме?

— Зато никаких забот, — не согласилась мама. — Обут, одет, накормлен. И весь мир посмотри.

— Посмотрит он пустыню Сахару, в основном, я полагаю, или что-нибудь в этом роде. Причем через колючую проволоку. Такой, довольно своеобразный, взгляд на мир...

Впрочем, он не отговаривал Горбунова.

В день отлета Горбунов проспал, он жил один в пустой квартире: мама с Настей на даче, Поль в командировке на Кубе — разбудить было некому (брат не в счет; когда мамы не было, он появлялся довольно часто, но Горбунов не обращал на него внимания).

Проснувшись и глянув на будильник (не звонил он, что ли?), Горбунов выпрыгнул из постели, шуганул из ванной брата, заспешил, засуетился — через сорок минут должно было подойти такси. Он торопливо завтракал, когда в дверь позвонили. «Уже приехал», — подумал Горбунов с неудовольствием и пошел открывать.

Но это был не таксист, это была соседка. Она стояла и смотрела, как Горбунов жует бутерброд с сыром.

— Здравствуй, — сказал Горбунов, прожевав, — а мама на даче.

— Гелик, спустись вниз, — сказала соседка, все продолжая смотреть на Горбунова. — Там тебя спрашивают...

— Евгения Федоровна, я на самолет опаздываю, — с неопытным для себя испугом отозвался Горбунов. Ему не нравилось, как она смотрит. — А что такое?

— Там Боря... лежит...

Горбунов продолжал стоять и жевать бутерброд, повторяя про себя с раздражением, что вот опять брат с утра пораньше напился, опять, опять... И при этом совершенно отчетливо понимал, что быть такого не может, потому что полчаса назад они столкнулись в ванной, и брат был совершенно трезв.

«Напился, напился, напился, скотина!» — старательно заводил себя Горбунов, пытаясь разозлиться. Но не мог. Потому что уже догадался.

— Где? — спокойно спросил он, будто еще не знал ничего.

— Там, внизу...

Брат лежал на узенькой полоске асфальта между домом и газоном, лежал неудобно, вывернувшись, вывихнувшись всем телом. Рядом валялись очки с вдребезги разбившимися стеклами. Брат пусто и пристально глядел в небо (там июльский ветер торопливо гнал на северо-запад лохматое облако), а крови на асфальте совсем не было...

Вокруг тихой толпой стояли люди и глядели, как он лежит, запрокинувшись, а когда вышел Горбунов, они, как по команде, устались на него.

Горбунов не знал, что он должен делать и говорить, стоял и молчал. Подъехало такси, за ним милицейская машина. Горбунов пошел объясняться с таксистом.

— Простите, вы не могли бы немного подождать, — спросил Горбунов, — а то у нас тут...

— Куда ждать-то, куда ждать! — зашумел таксист. — План у меня. А что случилось-то?

Горбунов молчал. Шофер, пожилой грузный мужик, вылез из машины, глянул и полез обратно.

— Это кто? — спросил он хмуро.

— Брат.

— А машину кто заказывал?

— Я.

— Его везти?

— Нет, — мотнул головой Горбунов. — Мне в аэропорт надо. Я в Москву лечу на экзамены...

— Ну, куда ж тебе теперь лететь, — сочувственно сказал шофер и уехал.

Горбунов проводил его взглядом и побрел к подъезду. Вокруг брата шла некая деловитая суета: его аккуратно обвели по асфальту мелом, что-то замеряли рулеткой, тихо переговариваясь, а молодой конопчатый сержант милицейской службы уже сурово предлагал зевакам разойтись. Они отошли на несколько шагов и опять встали.

— А тебя, что, не касается? — пихнул Горбунова сержант. — Проходи.

— Да это брат его, — сказали из толпы.

Тогда Горбунова мягко и решительно взяли под руку.

— Как вас зовут?

Горбунов сказал.

— Вы знаете этого человека?

— Знаю. Это мой брат.

— Давайте поднимемся к вам.

Горбунов впустил их в квартиру, и они сразу пошли на балкон, что-то долго изучали там, опасно свесившись через перила.

— Да, пожалуй, — кивнул один.

Другой пожал плечами: мол, это и сразу было ясно. Видимо, они о чем-то спорили, а теперь пришли к общему выводу.

Разобравшись с балконом, они занялись Горбуновым.

— Кто здесь проживает, кроме вас?

Горбунов сказал.

Его попросили вспомнить, когда он видел брата в последний раз.

Горбунов сказал:

— Сегодня. Утром.

— Какое у него было настроение?

Горбунов сказал:

— Не знаю.

— Что он делал утром?

Горбунов сказал:

— Чистил зубы.

— Он что-нибудь говорил вам?

Горбунов сказал:

— Нет.

Они давным-давно не разговаривали друг с другом — не по злости или обиде, а просто не о чем было. Брат не интересовал Горбунова, в сущности, они были чужие люди, что общего могло быть у юного баловня судьбы Горбунова с тем человеком, что лежал теперь внизу мертвый?

Горбунов вышел на балкон.  
— Не надо т. да глядеть, — посоветовал молодой человек, задававший вопросы, и попытался увести в комнату.

Горбунов сказал:

— Пошел вон.

— Понимаю, как вам тяжело сейчас...

Горбунов сказал:

— Пошел вон.

Они ушли. Горбунов остался один в пустой квартире. В голове у него было пусто, он ни о чем не думал и ничего не чувствовал.

К подъезду подкатила «скорая», но, выяснив в чем дело, уехала.

Брата перевернули на спину, задрали рубашку, ощупали. Там о чем-то совещались с деликатным раздражением, Горбунов уловил фамилию Поля.

Поль должен был вернуться завтра. «Весь город узнает, — тупо подумал Горбунов. — Неприятная история».

Еще одна машина подъехала, брата подняли, чтоб уложить на носилки, и он странно сломался, повис на чужих руках, будто был тряпичный, Его укрыли с головой, сунули в машину. Машина уехала. Люди разошлись. Горбунов перегнулся через перила, глянул вниз. Там все было как обычно, только белел нелепый меловый силуэт брата, похожий на неумелый ребячий рисунок. Горбунов подумал: «И все, что ли?» — и побрел в комнаты с отчетливым ощущением, что он что-то должен сделать. Немедленно. Ему брат велел...

«Письмо, — вспомнил Горбунов, — я должен передать письмо...»

Зима, Горбунов влюблен и спешит на свидание, а брат говорит что-то, протягивает конверт... Как давно это было, и где оно, это письмо?

Письмо лежало у Горбунова на подушке, обычный конверт без марки, на котором печатными буквами написано: «маме».

Горбунов долго рассматривал его, не прикасаясь, а потом почему-то вскрыл, обнаружив при этом, что пальцы у него трясутся. Оказывается, бывает такое.

«Это я пишу тебе, мама, ошибка твоей молодости. Помнишь, как ты плакала и кричала, что любишь, любишь его, что жить без него не можешь, у него усы были, и я его ненавидел изо всех сил. Не знаю, сколько мне тогда было, но помню, что у него были усы и что ты плакала и кричала про ошибку молодости. Я тогда не понимал еще, что это я — ошибка, я много чего тогда не понимал, понял потом, когда вырос. Как назло, у меня отвратительно хорошая память, я все помню, мама, будто это было вчера. Это самое главное воспоминание моего детства: ты плачешь. Ты все время плакала при мне. А когда тебе было весело, то со мной это было никак не связано, смеялась ты и улыбалась, когда рядом с тобой появлялся мужчина. Как я помню этот твой смех, такой звонкий, счастливый, девчоночий, и как я его ненавижу. Я был для тебя постылый ребенок, мешал жить, я был напоминанием о несбывшемся, ошибкой, за которую надо просить прощения у других мужчин. Ты ведь так боялась остаться одна, а я был не в счет, откуда я взялся, зачем навязался на твою голову, куда меня девать? Ты так хотела любви, и какая досада, что по неопытности от этого бывают дети. А потом еще Гелька появился — еще одна ошибка. Тебя спясть обманули, ты-то верила, что Он на тебе женится, надеялась, ждала, и все сроки были упущены, когда еще можно было от Гельки избавиться. Помнишь, как ты искала бабу, которая решится? А как не хотела забирать его из роддома, помнишь? А бабушка, она еще жива была, баба Настя, мамушка наша, сказала тебе, что проклянет, если бросишь его. Ты испугалась — и добродетель торжествовала — у меня появился брат. Я так радовался ему, тому, что я теперь не один буду. А ты все плакала, плакала, все одна оставалась, нас не замечая, вечно влюбленная девочка, с которой все спят, а жениться никто не хочет. Ты такая красивая была. Помню, ты сидишь у зер-

кала, смотришь, смотришь туда. Выросши, я много думал: почему? Ведь красота — редкость, ведь мужчины млели от тебя, я с детства помню, какими глазами они на тебя смотрели. И не понять мне это было, пока сам не женился. Все очень просто, мама, все так просто и страшно, что выть хочется. Ты хотела, мама, чтоб любили тебя. Тебя, тебя, чтоб восхищались, служили, жили для тебя. А сама ты никого никогда не любила, тебе и в голову не приходило, что надо любить в ответ, что любят не только телом, что отдаются еще и душой. Ты думала, что только ты тоскуешь по любви, только ты хочешь, чтоб тебя любили. А хотя все, и все тоскуют. Понимаешь, понимаешь, мама! Мы все хотим одного и того же: чтоб нас любили, мы помешаны на этом — все, как один, мы ищем любви, жаждем любви, пропадаем без любви, это мания наша, вечная тоска и надежда. И не расстаться нам с этой тоской никогда, я уже понял. Потому что мы все одинаковы. Мы все хотим, чтоб любили нас, но сами любить не умеем, даже в ответ не умеем, а не то, что просто так, не ожидая награды. Вот разве только дети. Знаешь, как мы любили тебя, мама, как мы без тебя пропадали. Мы тосковали по тебе, мы любили тебя так, как ни один мужчина любить не может. Ему ведь нужна награда. А нам от тебя ничего не надо было, а только чтоб ты была рядом. Но ты не замечала нас. Кого ты только ни любила, мама... То есть тут возникает терминологическая путаница, но ты поймешь, о чем я. Ты любила всех мужчин, любила их как вид, за каждого из них ты готова была выйти замуж. Только нас ты не любила. Кормила, одевала, терпела, раз уж так вышло, что мы есть. Зачем ты не дала нас в детдом, мама? Там мы были бы законными сиротами, там нам было бы плохо, но у нас оставалась надежда: вырасти и разыскать тебя, и тогда все станет счастливо, как во сне, тогда выяснится, что это злые люди украли нас у тебя, а ты всю жизнь искала и любила нас, мама. Как, наверное, легко жить с такой верой, но ты отняла ее у нас, мама. Я уже давно об этом думаю и решил, наконец. Когда растает снег, ну, может, чуть позже, я умру. Ты знаешь, у меня нет характера и страшно мне, но я сделаю это, мама. Я сделаю это у тебя под окнами, чтоб выйдя утром, счастливая, беспамятная, ты увидела меня с ыдрезанной разнесенной башкой, чтоб взгляд твой очнулся, чтоб хоть женский страх крови заставил тебя испугаться, очнуться, вспомнить, что у тебя был сын. Я был, был, мама, хоть ты и не обращала на это обстоятельство внимания. Я погибал от одиночества, потому что всю мою жизнь я был никому не нужен. Я боюсь умирать, но я сделаю это рано или поздно, потому что я лишний тут, меня родили по ошибке. Меня никто никогда не любил, мама. И я никого не люблю. Потому что не умею, меня не научили, а сам я не смог, не сумел, не получается. Я урод, меня родили, но забыли вложить душу. Мне нечем любить, и жить мне незачем, бестолку. Что ты со мной сделала, мама. За что? Ведь только тебя я и любил. Прости, что безответно. Твой сын Боря».

Горбунов аккуратно сложил письмо, сунул его в конверт и сжег в ванной, в раковине. Потом он позвонил на дачу маме.

— Алло, — весело сказала мама. — Настя, прекрати, ты же видишь, я разговариваю.

Горбунов молчал.

— Алло-алло... — повторила мама. — Вас не слышно.

— Алло, — сказал Горбунов.

— Ты откуда? — удивилась мама.

— Ты можешь приехать домой? — спросил Горбунов.

— Так я и знала! — ахнула мама. — Ты опоздал на самолет?

— Ты можешь приехать домой? — с отчаянием повторил Горбунов, он не знал, как и что говорить.

— Ничего не понимаю, — сердито отозвалась мама. — Откуда ты звонишь?

— Из дома.

— А почему ты дома?

Горбунов молчал.

— Ты что, проспал? Нет, Гелик, ты все-таки редкостный балбес. Ну что у тебя там стряслось?

Горбунов сказал, что пришла соседка и сказала, что он лежит внизу.

— Кто? — раздраженно поинтересовалась мама. — Он что, опять напился?

Горбунов молчал.

— Гелик, ты можешь мне объяснить, что с тобой произошло?

Горбунов сказал, что с ним все в порядке и чтоб она приехала домой, потому что Борис напился пьяный и упал с балкона.

— По-моему, вы там вместе напились, — рассердилась мама. — Что за глупые шутки!

Горбунов сказал:

— Я не шучу. Его увезли.

— Достукался, — сказала мама и заплакала. — В какую больницу его увезли, ты выяснил? Почему ты молчишь? Отвечай немедленно, Глеб!

— Он умер, — сказал Горбунов.

Брата похоронили. Его закопали в землю, неудачника, бесполезного человека, слабака. А плечистый Горбунов остался жить дальше.

Это были скромные, вежливые похороны, похожие на вздох облегчения: кто ж не знал, что непутевый Борька Горбунов был позором и наказанием семьи, всех измучил.

Два небритых кладбищенских мужика быстро забросали могилу землей, водрузили на холм временную оградку, положили венки, и все замерли, держа скорбную паузу перед тем, как разойтись к своим делам и заботам и позабыть о дезертире.

Горбунов оглянулся вокруг, ища кого-то в похоронной толпе, и не нашел никого. Впрочем, он и сам не знал, кого ищет. Смутная, но неотвратимая необходимость — то ли увидеть кого-то, то ли что-то вспомнить — не оставляла его эти дни.

Мама настаивала, чтоб он отправился в Москву, Горбунов упирался, сам не зная зачем, хотя терять год было, разумеется, глупо.

— Оставь его, — сказал маме Поль. — После похорон поедет, уснет.

В доме не оказалось фотографии брата, и ни паспорта, ни военного билета не было, чтоб переснять. Может, брат потерял их, а может, документы валялись где-нибудь у его друзей подзаборников. Поди разыщи их.

Горбунов долго копался в ящиках своего стола и в конце концов нашел старую фотографию серенькую, не резкую, из детства. Там они стояли вдвоем у подъезда облупленного дома, брат обнимал Горбунова за плечи и улыбался. Ему лет семнадцать было, и очки на нем сидели, как всегда, косо, а дужка перемотана изолентой...

Поль глянул, покачал головой:

— Вряд ли. Покажу своим фотографам, пусть попробуют.

— Другой все равно нет, — хмуро сказал Горбунов, глядя в серую муть, где жили когда-то два мальчика, два брата. Когда-то. Давным-давно. Сидели на подоконнике, смотрели на звезды, загадывали судьбу.

Что-то надо было вспомнить Горбунову. И в тоже время, чуял он, лучше бы не вспоминать: это что-то было безмолвное, грозное, кружило вокруг Горбунова, норovia вырваться из беспамьтства. Горбунов не хотел ничего вспоминать, но вспоминал, вспоминал, раздраженно хмурия лоб.

Не вспоминалось. Нет, не вспоминалось... Знать бы что. Похороны кончились, пора было уходить. Горбунов опять оглянулся неприкаянно — словно идти отсюда ему было некуда.

— Пошли, — сказал Поль и бережно повел маму прочь. Мама, уже устав от слез, побрела, покорно опершись на его руку.

Горбунов шагнул было следом и замер: кто-то глядел ему в спину, и холодно стало спине от этого взгляда.

Горбунов знал, что оборачиваться не нужно, надо уйти потихоньку, будто ничего не почувствовав, все пройдет, позабудется, завтра он улетит в Москву, будет институт, экзамены, он поступит, поступит, поступит обязательно, а там... Но кто-то глядел, глядел на него. Горбунов обернулся и встретился глазами с братом. Алькор смотрел из зарослей хвойного венка и улыбался ему давней своей, позабытой улыбкой: помнишь?

Сбившись с ритма, тяжело и больно тукнуло сердце и повисло в холодной пустоте: Горбунов все вспомнил... Это была чужая планета.

Кем были они с братом?

Подкидываами? Разведчиками? Заблудившимися среди звезд детьми?

Наделены ли некоей тайной миссией, которую должно было им выполнить во что бы то ни стало? А может, звездный род их провинился и был изгнан со звезды, где все добрые, смелые, честные?

Не у кого теперь спросить, Алькор ушел, пропал навсегда. Куда? Только закроешь глаза — и он уже здесь, улыбается, глядит, глядит в глаза, будто что-то сказать хочет, а сам молчит. И снится, снится Горбунову: в снах брат еще совсем мальчик — ему лет пятнадцать, но он все равно старший.

— Значит, ты не умер? — спрашивает его Горбунов.

Брат молчит и улыбается, и так легко Горбунову, так счастливо от того, что он рядом. Если б не просыпаться...

Каждый день звонили Горбунову одноклассники и девушки, неумелыми голосами выражали соболезнование, тут же, впрочем, срываясь на непобедимую юную радость (это ведь не они умерли, они сдавали вступительные экзамены, и жизнь сияла им, маня простором будущих лет, где, разумеется, у всех все сбудется).

— Не дури, Горбунок, возьми справку и сдавай в университет хотя бы. Это ужасно, что так вышло, конечно, тебе тяжело сейчас, но не терять же год...

Какую справку? О чем? И где ее брать? Это была чужая планета, чужие голоса, сквозящие глупой надеждой на счастье. А что это — счастье? Поступить в институт? А дальше? Дальше, дальше что? На кладбище так солнечно было, зелено (и одуряюще пахло краской — сосед подновлял оградку), а из оградок на живых пристально глядели умершие... Тоска, пустыня, чужая, чужая планета...

Как это вышло, что он все позабыл — родину свою в вышине, клятву вырасти и вернуться? А сам рос и забывал, и обростал незаметно местной толстой кожей, и вот привык, притерся, стал своим здесь, не надо быть человеком, а всего лишь казаться нужным. Так легко дышать этим сладким дымом чужбины, позабыв о потерянном доме в вышине, не муча себя его тяжелыми законами. Не помнить о нем, не думать, не тосковать, жить себе, затерявшись в толпе, стать, как все, неотличимо местным, здешним — ни злым, ни добрым, ни смелым, ни трусом, ни честным, ни лжецом. Немножко любить, немножко подличать, ни во что не вмешиваться, и говорить, говорить, говорить правильные слова... Горбунов давно жил так — и нравилось. Это только вначале стыдно, а потом ничего, нормально, что ж поделаешь, здесь все так живут.

Зачем он все вспомнил? И что теперь делать, как жить одному? Брат умер, бросил его, как всегда.

Приходила ночь, вставало над этой чужой жизнью родное небо, Горбунов смотрел, запрокинувшись в домашнюю тьму, проколотую звездами, но не было дороги домой, Горбунов не знал, где она.

А брат знал? Наверно, знал. Но он умер.

— Зачем ты это сделал? — спрашивал его Горбунов. — Где ты? Не может быть, чтоб тебя не было, что не будет больше никогда! Отзовись, мне так много надо тебе сказать...

— Павлик, я боюсь... — это шепотом мама Полю. — Он кричит по ночам, все зовет кого-то... Нет, не Борю...

— Не трогай его, — вздохнул Поль. — Дай прийти в себя.

Но мама не послушалась, как всегда.

— Гелик, у тебя ничего не болит?

— Нет.

— Ты бы показался врачу.

— У меня ничего не болит.

— Ты очень плохо выглядишь.

— У меня ничего не болит, мама.

— Ну, я тебя очень прошу...

— Оставь меня в покое!

— Посмотри на себя в зеркало, малыш, — вмешался

Поль.

Горбунов с трудом сосредоточившись, уперся глазами в зазеркалье: там тоже была комната, светлая, просторная, с балконом, распахнутым в начинающуюся осень, там, уткнувшись носом в книгу, сидел Алькор... Горбунов долго смотрел на него, и брат услышал, медленно поднял глаза, улыбнувшись, приложил палец к губам.

— Гелик, что с тобой?

— Ничего, — раздраженно сказал Горбунов, с трудом отрываясь от зеркала. — Что вы за мной подглядываете. Может, еще на Агафуровские меня отправите!

Сумасшедший дом в городе носил название «Агафуровские дачи». Горбунов догадался, что сходит с ума, но не испугался.

А может, просто брат подал ему знак?

Может, он не умер, а просто вернулся домой?

— Где ты? — звал Горбунов. — Отзовись, подай знак!

Но какой знак мог подать человек, месяц назад закопанный в землю.

— Где ты? — зывал Горбунов. — Почему молчишь?

Прохожие, косясь, обходили стороной бормочущего, глядящего мимо людей парня, который брел по улице.

— Умер!.. Ты умер, да? — настойчиво ловил брата Горбунов. — Думаешь, я поверил? Отзовись, ну, ответь мне, Алькор... Не бойся, я никому не скажу.

Алькор не отвечал. Его не было. И больше не будет никогда? Горбунов не верил, звал, говорил взахлеб. Брат несомненно был, он есть, только прячется, упрямец. Надо лишь докричаться до него, уговорить, умолить отозваться, выманить его обратно.

— Где ты? Слышишь меня? — кричал Горбунов, но все напрасно было: он кричал в никуда, в никогда, где не было даже эха и звуки глохли, запекаясь на губах.

— Чем ты намерен заниматься? — спросил его как-то Поль.

Горбунов пожал плечами:

— Работать пойду.

— Куда?

— Не знаю, — сказал Горбунов. Ему было все равно.

— Что значит — не знаю? — удивился Поль. — Чего-то же хочется, подумай.

Горбунову хотелось домой.

Поль был уже главным редактором, человеком довольно могущественным. Ничто не напоминало в этом строго и хорошо одетом человеке с до синевы выбритым властным лицом прежнего бородача в джинсах и свитере. Он мог все, ну, или почти все — здесь. А здесь Горбунову было уже ничего не надо.

— В газете у меня не хочешь поработать? — спросил Поль, и Горбунов, прежде не очень востривший ум наблюдениями за людьми, привычно принимавший видимость происходящего за его сущность, вдруг настороженно подобрался, мгновенно почувяв, в чем дело: Поль боялся за него, хотел, чтоб пасынок был на глазах.

Горбунов засмеялся ему в лицо.

— Отлично придумано, Павел Владимирович, двадцать копеек! Но я в порядке.

Поль схватил его за плечи могучими ручищами, тряхнул, заглянул в глаза.

— Что тебя мает, малыш? Не закрывайся, расскажи мне, может, полегчает. Так бывает, поверь.

— Я не сумасшедший! — крикнул Горбунов, выдираясь.

— Перестань, — поморщился Поль, — не истери, ни-

кто и не думает об этом. Выговорись, выговорись, я же вижу...

Горбунов знал, что говорить нельзя, Поль не поймет, решит, что он свихнулся, но уже говорил, говорил взахлеб о том, как жили они с братом — весело, счастливо, как хорошо им было. Поль молчал, слушал и все понимал, кажется. Горбунов вспоминал, рассказывал — брат будто был рядом.

— Он сам ушел, — сказал он Полю.

— Я догадался, — печально кивнул Поль.

Мама с Настей были на даче, осень стояла теплая, летняя. Никто не мешал им разговаривать.

— Он не оставил письма? — спросил Поль, на Горбунова не глядя.

Горбунов не ждал вопроса и молчал.

— Он должен был написать, — сказал Поль. — Он не мог не написать.

— Нет, — отозвался Горбунов. — Ничего не было.

Давно стемнело за окнами, но свет они так и не включили за разговором, только снизу, с улицы, подсвечивал фонарь. Поль встал, подошел к окну, закурил.

— Спасибо, малыш, ты славный парень, — сказал он. — Ты сжег письмо в раковине, пепел лежал несколько дней... Можешь не говорить, что там было, я все понял. Мир ужасен, люди дерьмо, он умирает, никому ничего не простив...

— Он не умер, — сжав зубы, сказал Горбунов. — Он вернулся домой.

— Ты, что, в Бога веришь? — растерянно спросил Поль.

— Просто мы не отсюда.

— Помню, — грустно усмехнулся Поль. — В детстве мне тоже так казалось. Но потом это проходит. Жалко Боба. Он был мечтатель, слабый человек, такие редко справляются с жизнью. Ты, мне кажется, серьезно собрался пойти по его стопам. Зря. В жизни надо быть сильным, малыш, иначе не выиграть. Запомни: сильным, со- бранным, четко знать цель и не отвлекаться. А мечты — дешевка, это только расслабляет. Мужчина живет делом. Служить делу, делать дело, не жалея себя, быть в нем первым, главным — это и есть жизнь. Она вся здесь, на там не рассчитывай, выбрось этот бред из головы, а то добром не кончится. Боб умер, и ничего с этим не поделаешь. Надо...

— Заткнись! — сказал Горбунов и встал.

Если бы Поль обернулся, Горбунов бы его ударил. Но он не обернулся. Стоял, молчал, курил, глядел в законную тьму.

Брат не умер, не умер. Днем, ночью, дома, на работе, на улице заклинал его Горбунов, звал, звал, звал.

— Ну чего тебе? — недовольно отозвался однажды он.

— Алькор? — замер Горбунов.

— Тише ты, не кричи.

— Это ты?

— Я, я, успокойся.

— Алькор... Почему ты так долго молчал!

Брат хмыкнул.

— По той простой причине, что меня нет — я умер.

— Неправда, — засмеялся Горбунов, — теперь-то ведь ответил.

— Теперь — другое дело, — вздохнул Алькор.

— Почему?

— Потому что теперь ты сошел с ума. Давай поговорим.

— Да я и сам так думал, — беззаботно согласился Горбунов, — слушай, а тогда, в зеркале, на балконе...

— Ты можешь не орать так? — сухо сказал брат. — И перестань размахивать руками. Хочешь, чтоб в психушку забрали?

— Наплевать, — беззаботно отозвался Горбунов, — ты ведь и там будешь со мной?

Брат засмеялся.

— Буду. Пока не вылечат.

Эта простая и внятная мысль привела Горбунова в себя, он подобрался, огляделся настороженно: вечер,

улица в центре, люди идут, а под фонарями медленно, важно падает снег. Зима уже, что ли?

— Осень, — вздохнул Алькор. — Это первый снег, он завтра растает... Не стой столбом посреди улицы, чокнутый, ты идешь с работы домой.

— Я не хочу домой, — возразил Горбунов, — я хочу с тобой разговаривать.

— Тогда сворачивай в переулки, там все-таки прохожих меньше.

Горбунов послушно шагнул во тьму соседних улочек, почти не освещенных фонарями.

— А может, ты все-таки не умер?

— Нет уж, — сердито пробурчал брат, — с меня хватит. Я умер, можешь мне поверить. Ты отдал письмо?

Снег все падал мягко, нежно заметал улочку, по которой Горбунов шел рядом с братом.

— Я его сжег...

— Как — сжег? — замер брат.

— В ванной... Его нельзя было отдавать, ты бы сам потом пожалел.

— Когда — по гом? — с растерянной злостью прозвучал в снежной тьме голос брата.

— Я не мог его отдать, — упрямо повторил Горбунов. — Как ей жить после этого? Тебя нет, ты умер — и ничего уже не исправить, и даже прощения не попросить...

— Ну и дерьмо же ты! Ты не имел права...

— А ты! Ты-то кто? — завопил Горбунов, глотая слезы. — Посмотри на меня — я подыхаю без тебя, я зову тебя день и ночь! Тебе мало? Ты хочешь, чтоб и она так, чтобы и ей ни сна, ни покоя...

— Да! Да, я хочу так! Это мое право, я за него заплатил. Думаешь, это так легко? — брат возник рядом, отчетливый, будто живой, с белым, отчаянным лицом, со смертной тоской в глазах — таким он был, наверно, в то солнечное, последнее свое утро, когда Горбунов прогнал его из ванной.

— Прости, — виновато пробормотал Горбунов, ощутив утреннее, безвыходное одиночество брата. — Но не мог я, не мог... Подумай о ней, ты сам, сам мне говорил, что человек должен быть добрым!

— Ничего я не говорил, что ты мелешь.

— Говорил. И в письме писал, когда я еще был маленьким. Ну помнишь, ты уехал в деревню... Как ей жить в такой муке, я не хочу, за что...

— А ты не знаешь? — глянул исподлобья Алькор.

— Она живет, как умеет.

— А, ты пожалел ее, — засмеялся недобро брат. — Ты добрый, да? Только у тебя немножечко отшибло память: а нас с тобой кто-нибудь жалел? Ну хоть кто-нибудь когда-нибудь...

— Это у тебя отшибло, — растерялся Горбунов. — При чем тут это? У них свои законы. Ты же знаешь, с них спросу нет, а мы не отсюда, нам так нельзя.

Брат смотрел непонимающе.

— Ты о чем?

— Сам знаешь, — Горбунов поднял голову, но с неба валил снег, ни одной звезды не было там.

Алькор тоже недоумевающе глянул вверх, пожал плечами и вдруг хлопнул себя по лбу и захохотал.

— Ну да, помню-помню... Слушай, неужто ты до сих пор веришь в эту чушь?

— Это не чушь, перестань.

— Мы нездешние, мы с неба! — истерически хохоча, выкрикивал он в тусклую вышину. — Эй, там! Мы ваши! Добренькие, смеленькие, честненькие, не чета тутощним. Мы, изволите ли знать, просто потерялись...

— Заткнись.

— Спокойно, скорбный умом, все в порядке. Надо только кричать громче, чтоб они там услышали. Тогда они все бросят и кинутся нас спасать. Нас найдут, о, не сомневайся, за нами приедут, нас отсюда заберут...

Он смолк, уставился на Горбунова круглыми яростными глазами.

— Там никого нет.

— Неправда, — угрюмо сказал Горбунов.

— И никогда не было. Там пусто, хоть тресни! Чему тебя в школе твоей престижной учили, идеалист паршивый!

— Ты сам говорил: не может быть, чтоб там никого, ведь вселенная бесконечна...

— Бесконечна. И везде — никого.

— Нет, нет! Кто-то есть обязательно! Откуда тогда мы?

— Тью-тью, да? Лечиться надо, шизик. «Там все добрые»...

Я сейчас сдохну от смеха. Впрочем, это тавтология: я ведь уже и так умер... Да если там и есть кто, то, не надейся, он такой же, как все тут, точь-в-точь, и плевать ему на нас. Слушай меня внимательно и повторяй: там никого нет. Неужели ты сам не догадался? Ах, да, я и забыл: юность, глупость, цветенья надежд... Как же, как же, помню — добро побеждает, справедливость торжествует, ну, а самое главное: человек создан для счастья, как птица для полета... — он вдруг скис, ссутулился, пробормотал устало: — Например, пингвин... Ни хрена не сбывается, Горбунок, все мура... Человек создан для несчастья — и так нам и надо. Вероятно, мы — ошибка вселенной. Нас не надо — кто-то недоглядел, упустил, проворонил... Никто нас не создавал, вот в чем дело: мы самовольно произошли от обезьяны... Мы лживы, трусливы и злы — и другими не будем никогда. Потому что такая наша природа.

— Нет, — сказал Горбунов, — я не согласен.

— Жалко, ты не Господь Бог, — вздохнул брат. — Знаешь, это наверно не излечимо, мой бедный сумасшедший брат. И откуда ты этой ереси набрался...

— Ты сам мне всегда говорил...

— Ну, знаешь, — он раздраженно пожал плечами, — теперь легко все свалить на меня. Я мальчишка был, дурак, я книжек начитался... Я не виноват, что ты мне верил, и, в конце концов, ты давно живешь своей головой. Все у тебя было нормально, ты гонял свою шайбу, зубрил английский, занимался любовью — жил в полный кайф и ни о чем таком не вспоминал...

— Кончай! — сказал Горбунов. — Ты же не такой, дурака валяешь.

— Да разуй ты глаза, наконец: я такой, такой, и всегда был таким, понимаешь ты?

— Нет, ты нарочно притворяешься.

— Я здешний, я такой, как все. И ты тоже. А там никого нет, это только сказка, вечерняя сказка для малышей, я сочинил все.

— Неправда, ты на себя наговариваешь.

— Ну да, руки прочь от светлой моей памяти!

— Постой, — сказал Горбунов и остановился. — Я все понял...

— Ну что еще?

— Ты не Алькор. Просто я сошел с ума и выдумал тебя. Ты оборотень...

— Еще скажи, что создал меня по образу своему и подобию, — захохотал брат. — Знаешь, как это называется? Манья величия.

— Отстань, сочиненный, тебя нет. Понимаешь ты? Я разговариваю с самим собой...

— Допустим, — вздохнул брат. — Но давай разберемся... Ты звал меня...

— Не тебя, — хмуро огрызнулся Горбунов. — Я звал Алькора.

— Ну, хорошо, не меня, а Алькора. Ты тосковал, ты разговаривал с ним, ты звал, звал и, скажем прямо, настолько расстроил свое воображение, что услышал, как тебе ответили. Я все верно излагаю?

— Да, — настороженно кивнул Горбунов.

— Это был я... Теперь ты утверждаешь, что я — не он. Так?

— Да.

— Но тогда, кто же я? Откуда я взялся?

— Не знаю, — тоскливо отозвался Горбунов. — Ты же сам сказал, что я сошел с ума, мало ли, что мне в голову придет...

— Ты хочешь сказать, что я — плод твоего большого воображения?



— Да.  
— Не сходится, — усмехнулся брат.  
— Почему?  
— Потому что глупость выходит: тосковал по нему, а сочинил меня.

— Говорю же тебе: я болен, чокнулся, свихнулся — у меня ум за разум зашел...

— О, ты как всегда хорошо устроился! — с издевкой пробормотал Алькор. — Узнаю тебя, это — да, это ты умеешь. Только ты тут просчитался...

— Ты о чем? — почему-то испугался Горбунов.

— Да все о том же, о том! Думал — сойдешь с ума — и никаких проблем, начнется сказка, и все будет так, как тебе удобно? И вина забудется...

— Какая... вина?... — шепотом спросил Горбунов.

— Та самая. Забыл? Смелый, добрый, честный... Думал, сойдешь с ума — и не спросится с тебя? Думал, я приду к тебе и утешу? И будем считать, что все было, как надо? Живой-то я был тебе не шибко нужен — неудачник, пустомеля, пьяница — никчемный брат, за которого стыдно. Помнишь, как ты торопился мимо меня по улице: не дай Бог, я окликну, и все узнают, что этот неприличный человек твой родственник... Зато теперь, когда я умер, меня можно любить. Ну, не настоящего, конечно, а выдуманного, прилизанного, приглаженного, раскрашенного в приятные для глаз тона. Добрый Горбунок, ах, какой добрый! Он так любил брата! Он даже тронулся с тоски...

— Прости меня...

— Бог простит, — усмехнулся Алькор. — С тебя спросу нет, ты ведь у нас теперь блаженный.

— Прости, прости... Что же мне делать?

— Не знаю.

— Научи меня, Алькор.

— Брось, — поморщился брат. — Ты опять про свое. Чему я могу тебя научить, когда сам ничего не знаю. Я такой же предатель, как ты... Знаешь, пожалуй, я пойду.

Снег вдруг кончился, небо вызвездило на миг в высокой долине. Брат махнул рукой и пошел прочь.

— Куда ты? — позвал Горбунов.

— Домой.

Он шел, не касаясь заметенной снегом земли, брел, будто по невидимому склону, и уходил все выше, выше.

— А я? — закричал ему вслед Горбунов. — Я с тобой!

Брат оглянулся, глянул печальными глазами.

— Тебе нельзя, здесь дорога мертвых.

Он уходил, забираясь все выше, теряясь в небесной тьме.

— Я хочу домой! — крикнул в вышину Горбунов, и в ответ донеслось:

— Ищи дорогу.

А где она, дорога?

Горбунов остался один на пустынной ночной улице, на планете, мчащейся во мраке и холоде бесконечной вселенной. Ему шел восемнадцатый год, и был он не добрый, не злой, не смелый, не трус, не честный, не лжец — так, обыкновенный человек, не знающий дороги. Здесь все были такие, и мучились, и тосковали по другой жизни, и ждали, когда же она придет. Потерявшиеся дети, чужестранцы, позабывшие дорогу домой.

Горбунов поднял голову, отыскал свой дом в вышине и вдруг заплакал, как когда-то в детстве, давным-давно.

Темное небо стояло над землей, как пустой заколоченный дом, и оттуда, из-за звезд, кто-то глядел, глядел на Горбунова.

## Юрий САМСОНОВ



### В ПОКИНУТОЙ ДЕРЕВНЕ

Покатилась, упала звезда —  
Август выехал в дальнее поле.  
Надо мной верещат провода  
О какой-то несбыточной доле.  
Что скрывать? Было двойственно мне.  
Шел я тихо по краешку дола —  
И роса на пшеничной стерне  
Чем-то прежним меня уколола.  
В вёхлах лаяло зло вороньё,  
Сердце вторило — тоже мне птица! —  
Про такое былое былё,  
Что сто раз вспоминать не годится.  
Цвел рассвет над деревней вдали,  
Ждать уставшей назад домочадца.  
Тут как истый радетель земли  
Не сумел я пока состояться.  
Отчужденно встречали края  
И никак узнавать не хотели...  
Дом обвис, что скворечня твоя,  
Из которой жильцы улетели.  
Не горюй. Потерпи, дорогой! —  
Всё налажу — опять будешь славный...  
И кручусь, и машу я рукой,  
Словно ветер надорванной ставней.

### ВОРОЖЕЯ

Едва цыгане у реки  
Раскинули палатки,  
В деревне — двери на крючки,  
И спрятаны хохлатки.  
— Эй, дяденька, тряхни добром!.. —  
Ворожея речиста.  
Звенит фальшивым серебром  
Трехрядное монисто.  
Взор и наивен, и остёр —  
Как из другого века.  
И сразу выплыл «Мой костер...»,  
И пушкинский Алеко.  
И что-то новое растет,  
И ты уже не тайно  
Готов сменять домашний мед  
На дикий мед скитанья...

\* \* \*

Деревня — прабабка России!  
Пропахла ты дикой травой.  
Ну, чем тебя не обносили? —  
Теперь норовят — тишиной!  
А я на тебя полагаюсь  
И знаю, что сам не с луны,  
И я об тебя зажигаюсь  
Под гаммы воскресшей весны.  
И чую, что вновь народился —  
И это ни в ком не унять! —  
Раскуклился и набычился:  
Пойду в себе тьму окружать!  
Сегодня инертную залежь,  
Всю сорность, что выпрела в прах,  
С которой смиренно вожжались —  
Страна отдает в перепах.  
Не вечно ж от мертвенной стужи  
Увиливать вспять на продрых...  
...И горькую правду свою же  
Я слушаю от молодых.



Ираида ЗАГОРОДСКИХ,  
зав. отделом русского искусства  
Свердловского музея изобразительных искусств

# царская охота

Переходя из зала в зал, взгляды в тусклое мерцание серебра и блеск камней, думаешь: «Как давно это было!» Давно узорчатый плат покрывал спину скакуна, бархатное седло принимало всадника, чьи ноги плотно вставали в чеканные стремяна.

Красив и изящен конский убор! Конь и на Востоке, и в России был верным другом человека. Во время парадного выезда редкостные уборы украшали коня. Эхом старины звучат теперь для нас слова: пахви, оголовь, решма, паперсть, науз... Все это элементы упряжи, сочетающие в себе и прочность, и красоту.

Паперсть из сквозных серебряных, позолоченных пластинок кажется на первый взгляд парадной. А нет — под ней крепкий сыромятный ремень, плотно прилегающий к телу коня. Эти хрупкие на вид пластинки защитят от прямого удара сабли.

Налобник-решма со свисающими тонкими цепями и колечками похож на девичий кокошник, нарядный и величавый.

Многие названия понятны: оголовь, цепь гремачая...

Как ни странно, но цепи гремачие никакой практической роли в упряжи не играли. А служили красоте.

Представьте: идут в ряд кони в шелковых расширенных платах, седлах «рытого» бархата с чеканной узорчатой отделкой, решмах с камнями, уборе золоченом, и раздается в такт шагам тихий звон — то ли шелест, то ли плач... Это и есть цепи гремачие. Сочетание красоты и полезности, изящества и прочности, столь не ценимое нами сегодня, давало ощущение уверенности, надежности, силы.

И седла русские отличаются от других. Их передняя лука была высокой и слегка наклоненной вперед, а задняя — низкой и отлогой. Благодаря этому всадник мог легко поворачиваться в седле и отбивать атаку врага.

Верным помощником воина была сабля. Она употреблялась в битвах еще в XI—XII вв. Долго хранили секрет булата восточные мастера. Только в XIX веке горный инженер Аносов на Златоустовском заводе открыл тайну булата...

На клинок стекает чеканный узор, в рукояти тяжело светятся каплями рубины и турмалины и дразнит

варварским великолепием бирюза. Оправленные в высокий каст, лишь отполированные или сколотые по двум-трем граням, камни эти и металл, соединяясь, тоже образуют сочетание надежности и красоты.

Не знаю, каков звук пищали мастеров Василия Федотова и Евтихия Кузовлева, но вид ее — сердцу умиление. И ложе, и приклад — сплошной узор дивной красоты, инкрустация слоновой костью и различными сортами дерева.

Замки пищалей были ударными, кремневыми. Они выполнялись в виде львиных голов, драконов, чудищ и отличались изящной отделкой. Надежна упряжь, выносив коня, тверда рука, беспощадна сабля, и жизнь твоя принадлежит тебе. Вот так, наверно, думал воин и охотник, слушая ветер в чистом поле.

Сейчас оголови и пахви, паперсти и решмы, сабли и пищали мирно соседствуют в витринах. Они входят в экспозицию выставки «Парадный выезд и охота в России XVII в.» — из Оружейной палаты Московского Кремля, сокровищницы русского национального искусства.

Возникновение ее относится к концу XV — началу XVI вв., когда Москва росла и укреплялась, собирая вокруг себя разрозненные русские земли. Оружейная палата была хранилищем царского оружия и крупнейшей оружейной мастерской. В ней работали злато- и сереброкузнецы, иконописцы и живописцы.

На протяжении XVII века в мастерских и хранилищах Московского Кремля сосредоточились лучшие образцы русского декоративного искусства. Те из них, что были связаны с историческими событиями или лицами, пользовались особым вниманием, бережно хранились. Хранилища и мастерские становились музеем.

В 1851 году по проекту архитектора К. А. Тона было построено новое здание Оружейной палаты, в котором она находится и сейчас.

Коллекции Оружейной палаты огромны и разнообразны. Это древнее оружие и доспехи, золотые и серебряные изделия, ткани, посольские дары, парадное конское убранство.

Выставка «Парадный выезд и охота в России XVII века» — лишь малая часть собрания Оружейной палаты.



САБЛЯ В НОЖНАХ. Россия, XVII в.  
ПАЛАШ В НОЖНАХ. Турция, XVII в.



ТОПОР ПОСОЛЬСКИЙ. Москва, XVII в.



ПИЩАЛЬ. Россия, XVII в. Оружейная палата.  
Мастера — Василий Федотов, Евтихий Кузовлев.

ПОРОХОВНИЦА-НАТРУС-КА. Россия, XVII в.



НАКОЛЕННИКИ СЕРЕБРЯНЫЕ, позолоченные с чеканным растительным узором. Россия, XVII в., мастерские Конюшенного приказа Московского кремля.



ПИСТОЛЕТ. Россия, XVII в., Оружейная палата; НОЖ В НОЖНАХ, Турция, XVII в.



РЕШМА СЕРЕБРЯНАЯ СО ВСТАВКАМИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. Дания, 1716 г. Мастер — Конрад Людольф.

# ПОБЕГ



Николай БЕРЕЗОВСКИЙ

Рис. Владимира Ганзина

Не помню уж точно, что мы тогда натворили — столько лет кануло! Кажется, Колька Радик стекло камнем в столовой расстеклил, а может, Сашка Драчук кнопки канцелярские на учительский стул подложил, но как бы там ни было, мы испуганно притихли, вперились в парты, девчонки лишь захихикали, когда в класс сразу после звонка ворвался старший воспитатель. Был он, как всегда, в ярко-желтых ботинках на толстой подошве, каким мы все очень завидовали и почему-то называли американскими, подошвы их яростно скрипели, что казалось высшим шиком, и теперь в почти мертвой тишине, потому что сникли и девчонки, скрип этот был особенно звучен.

От Исаака Львовича, ворвавшегося тогда в класс, у меня остались надолго в памяти только эти ботинки, они как бы олицетворяли его власть, какой он был наделен в интернате, а лицо я его забыл. Оно, когда встретились по прошествии долгого времени, оказалось обыкновенным, даже более — приятным. Но самое удивительное — он был в тех же самых ботинках, а может, точной их копии, несколько, правда, поблекших.

— Помнишь? — спросил он меня, смотревшего на него теперь сверху. Когда-то, кажется, совсем недавно, было наоборот.

— Помню, — ответил я, не сомневаясь, о чем вспомнил он.

— Ну и задали вы нам тогда шороху с этим побегом! — по-свойски сказал Исаак Львович. — А кто все же стекло из вас разбил? — вернулся он к началу той давней, но не забытой нами истории.

Значит, все же было стекло...

Стекло расколотил Колька Радик, просто так, если смотреть со стороны, от нечего делать. Взял да и бросил камень, и никто не видел этого, кроме меня да Сашки Драчука, мы стояли поодаль, задержались после столовой, другие, позавтракав, уже втянулись в здание школы.

— Ну-ну, — сказал Драчук, а я ничего не сказал. Колька нас не заметил, встретились мы уже в классе, но и там не поделились: он — содеянным, мы — увиденным. А когда прозвенел звонок...

— Так кто из вас стекло разбил, я спрашиваю?

Исаак Львович задавал этот вопрос, наверное, раз в десятый, рассказывая вдоль доски, держа в руке камень, не маленький и не большой, так, треть колотого кирпича, чтобы каждому было ясно: стекло рассыпалось не само по себе.

— Его обнаружили в столовой, — сказал он о кирпиче, а затем брякнул им об стол: — Так кто все-таки, спрашиваю?!

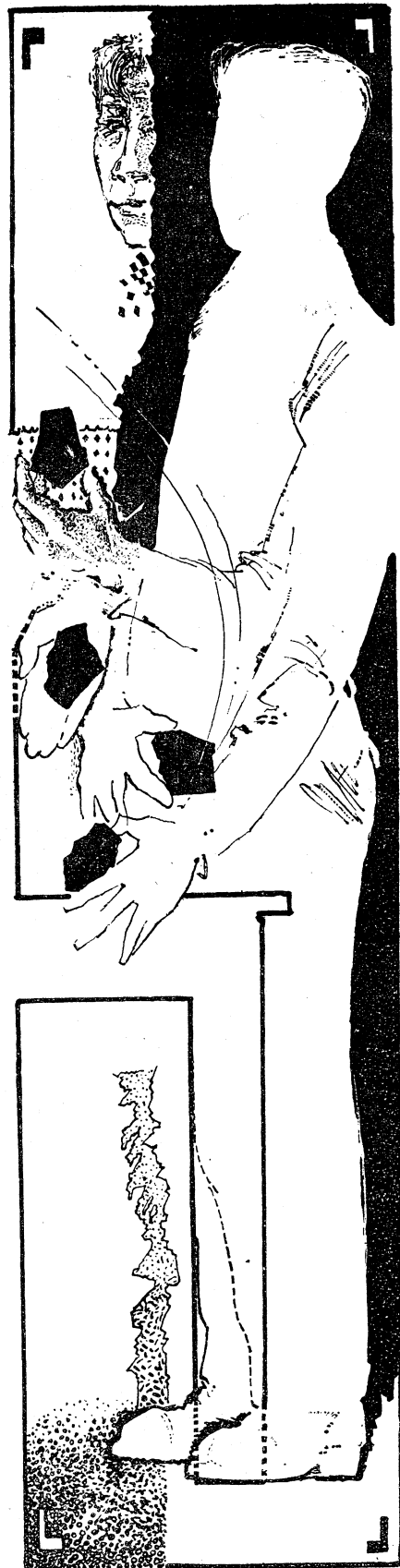
— Так все-таки кто, Слава? — спросил Исаак Львович сегодняшний, и спрашивал он с такой надеждой на правду, пусть и запоздалую, что я не решился скрывать ее дальше.

— Колька Радик, Исаак Львович.

— Я так и думал тогда, — вздохнул он, поникнув. — Я, конечно, был не прав, извини, — сказал он через минуту открыто. — Ты на меня не в обиде?

— Нет, — сказал я. — Нет, Исаак Львович, мы, — выделил я местоимение, — мы на вас не в обиде.

Класс молчал. Ему нечего было сказать. Он бы не признался даже под пытками, будь ему известно, чьих рук это дело — выдать в интернате считалось самой большой подлостью. Молчали и мы с Драчуком. Молчал и Колька Радик, зная: поднимись он сейчас с признанием, его выведут из класса навсегда — по Кольке, как говорили учителя, колония уже устала плакать.



Журнальный вариант

Он оставался в интернате до последнего предупреждения — после того, как его поймали с катушкой кабеля, умыкнутого со склада электроподстанции, после того, как он прибрел в класс пьяный. Из сорванной свинцовой оболочки кабеля, распив ее, Радик, отгивал такие наганы, что их нельзя было отличить от настоящих. Каким-то чудом один из таких наганов сохранился у меня, я нашел его в куче хлама на чердаке, отдал сыну, и такой восторг плеснулся из его глаз, какого я никогда прежде не видел. Преемственность поколений, наверное, держится и на таких вот вроде бы безделушках...

Класс молчал. А Исаак Львович скрипел подошвами, и его вопрос бил в затылок все жестче и жестче, перед глазами ярко запрыгали желтые носки ботинок, да и воспитательницу Надежду Дмитриевну, прибывшую к подоконнику, несчастно молчащую, стало жалко, а может, мне просто надоело, что из-за несчастного стекла, какого навалом в магазинах, устраивают такое дознание, и я поднялся, сказал, глядя в парту:

— Я его разбил, стекло это... — и краем глаза увидел, как удивленно вздернулся Радик, зелено ошпарив взглядом.  
— Значит, будешь исключен ты. Пора кончать в нашем интернате с безобразиями, — обреченно уронил Исаак Львович. — После урока зайдешь к директору. Мы вызовем твою мать.

— Скажите, Исаак Львович, а что было бы, признайся тогда Радик?.. — То есть Радионов, — поправился я.

Бывший старший воспитатель не стал колить:

— Мы бы определили его в спецучилище.

— Иначе — в колонию? — уточнил я.

— Да, иначе — в колонию, — повторил он эхом.

— А его недавно медалью наградили, — сообщил я, но не для того, чтобы досадить старшему воспитателю или обвинить его в том, что он чуть было не сломал судьбу друга. Хотелось как-то подвести Исаака Львовича к мысли, что Колька и в ту пору был не хуже других.

— Я знаю, — сказал Исаак Львович. — «За трудовое отличие». Он настоящий художник.

— Он маляр, — сказала я. — Настоящий.

— Да, конечно, — понял меня Исаак Львович. — Но это уже по привычке. Мы часто принимаем одно дело, пытаюсь возвысить его другим. Пусть даже заслуженно. — И, испытующе глянув, усмехнулся: — Выходит, ты тогда его спас?

— Нет, — сказал я, наконец вспомнив, что тогда подняло меня из-за парты. — Причина была в другом.

Ее звали Мирка. Она и сейчас живет в одном со мной городе, мы порой встречаемся, но я не сказал и никогда не скажу ей: вот, мол, Мирка, я когда-то из-за тебя совершил пусть маленький, но все-таки подвиг...

— Это другое — она? — улыбнулся Исаак Львович.

Я смутился.

— Помню, Мира Ишмухамедова, Эльмира, — сказал он как бы самому себе. — Знаешь, — это относилось уже ко мне, — тогда мы, ваши учителя и воспитатели, бродили среди вас как бы в потемках. Свет то вспыхивал, то гас. С годами прошлое освещается ярче и резче. Мне, например, тогда было почти столько же, сколько тебе теперь. Но тогда у меня и мысли не мелькнуло, что ты не придешь после урока в директорскую. Ты же не был трусом...

— Да, я не был трусом.

— Так почему же?..

— Не знаю, — сказал я, хотя знал. — Может быть, потому, что когда-то каждый пытается убежать от самого себя. С одним это случается раньше, как со мной. С другими — позже, как с Толиком Шелковым. Поздние побег, как правило, болезненнее и чаще безвозвратны.

— О чем ты? — встревожился Исаак Львович. — И при чем здесь Шелков? Он всегда был примерным мальчиком.

— Год назад он повесился, — сказал я.

Исаака Львовича сообщение ошарашило. Но и справившись с собой, он не стал допытываться причины. Да я

бы и не смог ответить, потому что сам точно ее не знал. Знал только, что перед тем непоправимым действием на Толика нашло озарение, выплеснувшееся на предсмертную записку в пять слов: «Теперь ОНА всегда со мной».

— Каждый несчастлив по-своему, — покачал головой Исаак Львович.

— О чем вы? — не понял я такого неожиданного вывода.

— О Драчуке, — сказал старший воспитатель. — О третьем вашем товарище по побегу. Это правда, что он и в землянке играл на трубе?

— Правда.

— Он и сейчас играет на трубе, — сказал Исаак Львович. — На похоронах, — уточнил он. — У него сначала была широкая лычка поперек погон, а теперь — две звездочки вдоль.

После побега мать Драчука пристроила его воспитанником в духовой оркестр при городском гарнизоне, и с тех пор я его не встречал.

— После уроков зайдешь к директору. Мы вызовем твою мать, — сказал Исаак Львович и хлопнул дверью.

— Садись, Беликов, — тихо сказала Надежда Дмитриевна. Она уже отошла от подоконника, стояла за своим столом, и журнал был раскрыт. — Итак, начнем урок. На чем же мы остановились в последний раз? — наморщила она лоб. — Вы не помните, ребята? — подняла она глаза, а увидев меня, по-прежнему стоящего, недоумевающе спросила: — Что же ты, Беликов? Садись, я же сказала...

Я слышал учительницу и не слышал, потому что был уже там, на первом этаже, в директорском кабинете, и в кресле напротив Ксении Михайловны сидела моя мать, и лицо ее было устало-скорбным, как тогда, перед гробом отца, где мы сфотографировались с ним в последний раз. Фотография эта цела, лежит в моем альбоме, страшная фотография, и на ней мне восемь лет, а брату четыре, и я жмурю глаза, потому что в них бьет яркое июльское солнце. И еще солнце было очень жаркое — это видно по майкам, какие на нас с братом, а мама, несмотря на жару, повязана черным платком, и платье на ней черное, совсем недавно праздничное, со вздернутыми по тогдашней моде плечами, сшитое для театра, а теперь траурное, хотя и с глубоким, вроде лиры по контуру, вырезом на груди. Концы платка нисколько его не прикрывают, но никакого святотатства не чувствуется, напротив — мрамор обнаженного тела подчеркивает скорбность происходящего.

Это платье носилось и после похорон, немного у матери было платьев, чтобы хранить траурное в шифоньере, да и шифоньера, насколько помню, родители не успели завести. Мать надевала платье и в праздники — на Первой или Новый год, и когда я представил ее в директорском кабинете, она была тоже в нем, уже несколько выцветшем и поблекшем, но не потерявшем суровой торжественности. А руки ее лежат на коленях, молча, молчит и Ксения Михайловна, в противоположность моей матери, тоненькой и худенькой, пышно-полная, но тоже в платье толстом, сурового цвета — коричневом. Тогда почему-то все учительницы предпочитали коричневый цвет, а парты в классах были черно-покатые, горбатые, с откидывающимися крышками; и когда я вспоминаю теперь школу, она непременно черно-коричневого тона — такая далекая, но такая желанная. Форму мы носили серую, мышиного оттенка, не пиджак был, а гимнастерка, она подпоясывалась ремнем с желтой пряжкой, а у девчонок лишь фартучки были белыми, под ними опять же коричневые форменки. Мира Ишмухамедова, правда, украшала себя белоснежными воздушными бантами. Она влетала их в две смоляные косички, и казалось, что над ней порхают белокрылые бабочки, особенно когда она бежала. Еще Мирка сидела на уроках в нарукавниках глянцевого черноты, из материала под названием «саржа», чтобы не продирались локти, и девчонки поначалу над ней смеялись, задирали, но потом заняли подобные — кто хуже, кто лучше, но насчет бантов ее никто не переплюнул. Она спускалась в бантах даже в

нашу землянку, и в землянке тотчас становилось светлее, возможно, лишь для меня, и только ради этого, понял я позже, можно было бежать, хоть на край света, а край света представлялся тогда Америкой, хотя мы уже знали, что края у земли нет, земля круглая, почти круглая.

«Убегу в Америку»,— решил я вдруг, поняв невозможность встречи с матерью в директорском кабинете.

Побег свершился, но до Америки было еще очень далеко, и мы серьезно обсуждали, как доберемся до Одессы, как проникнем в трюм парохода или теплохода — капитализм нас не пугал. И чем горячее мы спорили, тем реальнее представлялся замысел этого предприятия. Но стоило стихнуть обсуждениям, стоило каждому остаться наедине с собой, становилось ясно — все это бред, необходимый нам лишь для того, чтобы оттянуть возвращение: Кольке Радик, без сомнения, в колонию, мне — к маме, Драчуку — под ремень неизвестно откуда взвавшегося отчима. Но деньги, необходимые на дорогу, мы все-таки копили, собирая в парке бутылки и сдавая их в приемный пункт. Выручка сбрасывалась в жестянку из-под болгарского компота, туда же отправлялись приношения — Миркина рублевка, мелочь ребят, с которыми мы поддерживали связь и которые снабжали нас питанием, чаще всего из интернатской столовой, почти горячим. За неделю, помнится, мы накопили десять рублей, сумму для нас почти астрономическую, хотя Радик и хвастался, что проиграв однажды на малине в карты сто червонцев. «Червонец — это десятка»,— объяснил он, а что такое «малина» — промолчал, подразумевалось, что мы прекрасно знаем значение этого слова.

— Это, значит, тыща? — подсчитав, вытаращил глаза Драчук.

— Угу,— подтвердил Радик.

— Чемодан цельный! — прикинул Драчук.

— Угу,— сказал Радик.— Если рваными.

Рубль, вложенный в нашу копилку Миркой, был разорван почти надвое, такой, утверждал Радик, ни в каком магазине не примут, потому, мол, Ишмухамедиха и отдала, но рубль приняли, истратили его на покупку фонарика. Без фонарика, ясно, и побег не побег, да и ночью в землянке, когда прогорала печь, сложенная из кирпичей, светить чему надо было, и когда села единственная батарейка, а запасных мы не купили, дефицитными были тогда батарейки, Радик сказал: «Надо было фонарь керосиновый покупать. Подлил керосинчику — и паши дальше. Керосина в лавках всегда захлебнись...»

— Ну что же ты стоишь фонарным столбом?! — не выдержала, наконец, Надежда Дмитриевна, когда я надумал податься в Америку.— Садись, тебе говорят!

Надежда Дмитриевна закашлялась, прижала к губам платочек. Волнуясь, она кашляла особенно часто. Что-то неладное творилось в ее легких, но платочком пользовалась только на уроках, а вечерами, когда в том же классе проводились домашние задания, сплевывала мокроту в аккуратно свернутые из тетрадных листов кулечки. Надежде Дмитриевне, наверное, жилось трудно, потому что она совмещала преподавание русского языка и литературы с обязанностями воспитателя. Приходила в интернат до подъема, а уходила после отбоя, когда в палатах гасили свет. Но мы думали тогда, что она копит деньги для памятника отцу. Отец ее погиб в Белоруссии, она часто рассказывала, как он, полковник, сидел вечером в землянке, чадил перед ним фитиль, сжатый в артиллерийской гильзе, он сидел и писал письмо, и вдруг ударил снаряд, и отца засыпало, и он умер, заваленный бревнами и землей, и ему дали орден, посмертно.

— А за что дали орден-то? — спросил как-то хозяйственный Драчук. И мы, помнится, впервые усомнились в правде этого рассказа, тогда, кажется, пятиклассники. Действительно, за что давать орден, если никакого подвига не совершил, даже фрица не убил, а просто сидел в землянке, вот если бы... Надежда Дмитриевна закашлялась, наверное, она не ожидала такого вопроса, сколько раз прежде рассказывала — и никто не усомнился, а отвечать надо

было, и она нашлась, тогда мы вполне удовлетворились объяснением:

— За то, что он не покинул командного поста под артиллерийским обстрелом...

С годами ее рассказ трансформировался, теперь отец погибал не в землянке, а на артиллерийском наблюдательном пункте, откуда корректировал огонь своей батареей, но погиб тоже за письмом, какое начал писать в минуту затишья, и оно начиналось так, Надежда Дмитриевна читала на память: «Милые Надюши! Я жив и здоров, только что после банки, фрицы далеко, и здесь у нас вроде дачи, только вас не хватает, мои маленькие...» На этом письмом обрывалось, его, недописанное, переслали сослуживцы, и Надежда Дмитриевна непременно поясняла:

— Нас обеих, и маму и меня, зовут Надями. Звали,— поправлялась тут же.

О себе, тогдашней, еще несмышленной девочке войны, она говорила и думала в прошедшем времени, и я только взрослым понял, что мы действительно остаемся в прошлом, переступив определенную возрастную грань, а грань между войной и миром особенно резка; и Надежда Дмитриевна, рассказывая нам о своем отце, рассказывала словами матери, какие тогда — пешком под стол ходила — слышала от нее после получения похоронки и неоконченной весточки с фронта. Наверное, в ту голодную и холодную тыловую пору, как ни кутала ее мать в старенькую шаленку, как ни терла озябшие ее ножки, разгоняя кровь, а застудила маленькая Надюша легки. Болезнь, замаскированная под хронический бронхит, вылезла наружу туберкулезом, когда Надежде Дмитриевне пошел четвертый десяток, перед самым расформированием интерната.

— Милая Надежда Дмитриевна,— сказала директор Ксения Михайловна, когда Надежда Дмитриевна вернулась после лечения и санатория в интернат,— к сожалению, нам придется расстаться: вам нельзя работать со здоровыми детьми,— заплакала директор, а Надежда Дмитриевна, сплунув в платочек, сдержала слезы, сказала лишь, дрогнув голосом:

— Что ж, буду работать с другими,— и теперь воспитывает детей, у которых тоже неладно с легкими, в санаторно-курортной, или лесной, если неофициально, школе.

Когда же я стоял перед ней «фонарным столбом», Надежда Дмитриевна была двадцатипятилетней, что, впрочем, не делало ее в наших глазах молодой, нам она виделась старухой. Но, как ни странно, не представляя себя в таком возрасте, мы очень хотели скорее стать взрослыми, а взрослость, казалось, начинается сразу после школы, с работы, когда можно шить брюки на свой вкус, а не ходить в одинаковых, и закурить в открытую, и ехать в кино не на дневной, а на вечерний сеанс,— взрослость, нам казалось, гарантирует паспорт. Это я сейчас понимаю, что он вроде куса шагреновой кожи, только сделки с ним не заключить, а тогда... «Без паспорта,— просвещал Радик,— любой мент схватит и наладит в деприемник».

Паспорт он называл ксивой.

«Была бы ксива,— думал я, продолжая стоять истуканом,— можно было бы наняться матросом...»

— Великов,— сорвалась Надежда Дмитриевна на крик,— ты что, оглох?! Или это демонстрация?

— Можно выйти? — внезапно осенило меня.

— Зачем?

— Он пи-пи хочет,— пояснил Радик.

— Радионов! — Надежда Дмитриевна покраснела.— Ладно,— сказала она уже мне,— иди. Только не забудь, где тебя ждут после урока...

«Пусть ждут»,— угрюмо думал я, благополучно выскользнув из школы. Даже в пальто нараспашку было жарко — так грело майское солнце. Но ночами по карнизам крыш наставляли сосульки, лужи подергивались искристой коркой, оттаивали лишь к полудню, а к вечеру земля на взгорках просыхала настолько, что пылилась. Такая была весна. В яблоневом саду против здания школы лопнули почки, выбросив клейкую зелень, но сад еще проглядывался насквозь, в нем не укроешься, а укрыться нужно было непременно. Мало ли кого вынесет на воздух, да и

мать, наверное, вызвали по телефону, работала она рядом, в столовой на Хитром рынке.

В столовую, бывало, я приводил Кольку Радика и Толика Шелкова. И всегда удивлялся, почему, увидя нас, вздыхают в маминной бухгалтерии женщины, и отказываясь, стесняясь, от конфет, какие они норовили сунуть. Отказывался и Толик, а Колька брал, и не потому, что был сладкоежкой, а для сестренки, еще голопузой.

Дом Радика — косая насыпушка — был в двух шагах от рынка. Комнатку в одно окно от кухни отделяла обширная печь, а в простенке между печью и стеной был сбит топчан, заваленный тряпьем. Из тряпья и вылезла, когда я впервые попал в этот дом, сестренка Радика, толстая и серьезная, с мокрым носом, с болячками на острой головке и с огромными голубыми глазами. Она родилась здесь же, на этом топчане, а от кого — это Кольку не интересовало, как, наверное, и его мать. Мужики в эту халулу приходили не называясь, беспозванными и уходили, девочка привыкла, поэтому нас вроде бы и не заметила, а вот к Радике потянулась, молча, но требовательно, и тот, помнится, довольно расплылся в улыбке, подхватил ее на руки:

— Во пацанка, а? Узнает! — и сунул ей конфету.

— На побывку, что ль? — выбрела из комнатки мать Радика, но Радик ее точно не заметил, и мать приняла это как должное, прошаркала к столу, заставленному грязной посудой и бутылками, короткие редкие волосы ее висели серо-соломенными патлами, лицо, когда-то, видимо, красивое, обрюзгло, под левым глазом расползлась желтизна.

— Все выжрали, сволочи! — сказала она, исследовав стол, а Радик как бы отстранился от всех, прижимал к себе девочку, размазывающую по щекам шоколад, веснушчатое лицо его светилось, а печь уже затягивала вечерние сумерки, заползающие в окно кухонное, и потолок, казальное, сделался еще ниже, а стены дома съезжились.

Помню я сестренку Радика и школьницей, в мальчиковых стоптанных башмаках, в чулках неопределенного цвета, спущенных на коленках, с разномастными заплатами на рукавах школьного платья явно с чужого плеча, но уже с чистым личиком в обрамлении льняных локонов, с бантом, пусть и несвежим, на макушке. Сдвинув посуду к середине, она вписывала на краю стола в тетрадку аккуратными буквами какое-то долгое предложение: нижняя губа прикушена, носик в чернилах. Тогда еще писали перьями, ручки макали в «непроливашки», и в партах для чернильниц были специальные гнезда, на обладателей же авторучек смотрели с завистью. И на первую свою зарплату, обрыскав пол-Омска, Радик первым делом купил авторучку, с открытым пером, чернила в нее набирались сжатием пилетки, и девочка захохоталась, увидев перед собой такое чудо.

— Мне? — наконец выдавила она.

— Тебе, тебе, — буркнул Радик, потом сунул матери, ничуть не изменившейся, только теперь желтизна разливалась под правым глазом, какие-то деньги, сказал:

— Мы это, мы прошвырнемся малость, смотри, гроши на питание, — и мы ушли в парк, где совсем недавно, минувшей весной, собирали бутылки. Теперь же была поздняя осень. Мы бродили по парку, и Колька рассказывал, как делается накат, что такое колер, и почему ацетоновой краской нельзя красить поверх масляной. Вряд ли он думал тогда, что малярное дело станет делом его жизни, что наградят за него медалью. А ведь и ему, наверное, мечталось о какой-то необыкновенной профессии, как мечталось и мне, и Толику Шелкову, и другим мальчишкам. Но сколько я не вспоминал, к чему тянуло Радика, никак не мог вспомнить, кажется, он всегда отмалчивался, когда заводился разговор о будущем. «Там посмотрим», — буркал Радик, а у нас было по семь пятниц на неделе, и лишь Толик Шелков и Драчук не изменяли раз определенной мечте.

— Буду военным летчиком, как отец, — говорил Толик.

— Буду музыкантом, — говорил Сашка. — Трубочком, — уточнял он.

Мечту осуществил, пожалуй, только Сашка. И не беда, что приходится играть ему на похоронах. Так уж заведено, может, и отказался бы, да в армии, известно, порядки свои, приказано — исполняй: дуй во все легкие «Походную» или траурный марш Шопена. Встретиться бы с Сашкой, у которого вдоль погон две звездочки, да не судьба, видно, если так и не столкнулись почти за два десятка лет, хотя и живем в одном городе. Кто знает, возможно, и лучше, что он остался в моей памяти таким, каким остался, — длинным и нескладным, измазанным сажей. Я как сейчас вижу отблески пламени из печки на его лице, глаза полны слез, а мы с Радиком, точно остервенев, орем и орем, сидя напротив, одно и то же, одно и то же:

— Тюк, тюк, тюк, тюк — загорелся наш Драчук!

Когда Сашка наш сплывает, даже мама не узнает...

Драчук сидит, привалившись спиной к сырой стене землянки, наверху глубокая ночь, но колени Сашки труба, она почти с меня ростом, если поставить ее вертикально, и труба напоминает каску пожарного — так блестя.

— Ребята, хватит, хватит, ребята, — бормочет Сашка, а мы, заглушая тоску, понимание безысходности нашего предприятия, орем и орем, и Сашка не выдерживает, начинает всхлипать, роняет голову на свою полую железку, плечи его дергаются, и дикое пение прерывается само собой. Я и Радик говорим в голос:

— Ну ладно, чего уж... Сашка, — говорим, — ладно...

Драчук вроде перестает плакать, но плечи его продолжают дергаться, а над нами слышно — гуляет ветер.

Погода начала портиться еще днем, когда мы бродили по парку в поисках бутылок. Снег там уже вытаял, но лед на котловане еще держался, и мы немного поплавали на льдинах, используя вместо весел обломки досок. Минувшим летом, ныряя здесь, Толик Шелков наткнулся на корягу, теперь его щеку от губы до виска пересекает неровный тонкий шрам. Толик и себе, и нам кажется мужественным, шрам его несомненно украшает, это заметно и по девчонкам, поглядывающим на него с интересом. Но Толика сейчас нет с нами, убежать ему незачем, никакой вины за ним не числится; да к тому же мать, тетя Валя, уже решила, что восьмой класс он будет заканчивать в обыкновенной школе. В обыкновенной школе предстоит учиться и мне, но я об этом, конечно же, не знаю, знает лишь мама, но сообщить не может — я в бегах.

Решение убежать пришло внезапно и утвердилось, когда я, миновав директорский кабинет, оказался на улице. Спрятаться пришлось за овощехранилище. Здесь давно уже наше тайное убежище, о нем не догадываются воспитатели, и место довольно неплохо оборудовано: вдоволь ящиков, на которых можно сидеть, есть стол, сбитый на козлах для распилки бревен, имеется даже диван, пусть и с выпирающими пружинами, но на нем так удобно лежать, подставив лицо солнцу. В закутке всегда тихо и безветренно. Со всех сторон он окружен преградами: крышей овощехранилища, глухой стеной кочегарки, забором без единой щелки, за которым жильные бараки, и наконец железной оградой — за оградой начинается пустырь. Не очень широкий, сжатый между территориями интерната и завода, он, расширяясь, тянется на юг и утыкается в лес, который хорошо виден в ясную погоду. За лесом, нам известно, учебный аэродром, грохот моторов особенно слышен ночью, а днем еле видимые самолеты тянут за собой инверсионные полосы, или следы, как утверждает Толик Шелков, разбигающийся в авиации лучше всех нас вместе взятых, потому что его отец был летчиком и разбился на учениях. Нынче, видимо, учений нет, небо пусто, ни облачка, я лежу, подставив лицо солнцу, загораю, кажется, даже немного вздремнул, потому что не услышал появления Радика и Сашки Драчука.

— Ага, — сказал Колька, — мы так и знали.

— Чего там? — спрашиваю я.

— Паханку твою видели, — отвечает Радик.

— Вызвали, значит, — вроде бы равнодушно говорю я; хотя внутри все сжимается, но отступать поздно, выбор сделан. Сашка Драчук молчит, из коротких рукавов гимна-





стерки торчат тоненькие кисти его рук, озябшие, покрытые гусиной кожей.

— Чего без пальто? — интересуюсь я.

— Раздевалку заперли, как твоего не нашли, — объясняет Радик.

Значит, меня уже ищут.

Мама сидит в директорском кабинете, пальцы ее теребят ручку сумки, положенной на колени, волнуется и директор Ксения Михайловна, но старается не показывать вида, успокаивает:

— Не расстраивайтесь, Зинаида Даниловна, сейчас его приведут.

Но входит Исаак Львович, разводит беспомощно руками. Маленький и озабоченный, он явно чувствует себя виноватым. О Надежде Дмитриевне, вошедшей следом, и говорить нечего она готова сквозь пол провалиться, лишь бы избежать вопрошающего взгляда женщины, сидящей у стола директора.

— Как в воду канул, Ксения Михайловна, — говорит она, сдерживая подступающий кашель.

— А пальто? — вопрошает Ксения Михайловна.

— И пальто нет в раздевалке, — откликается Исаак Львович.

— Господи! — вздыхает мама.

— Придет ваш сын, Зинаида Даниловна, — успокаивает Ксения Михайловна. — Никуда не денется. Остынет — и придет.

— Да, да, да, конечно, — сдерживает слезы мама.

— Вы не переживайте, идите на работу, мы вам позволим, — говорит, коря себя за официальный тон, Ксения Михайловна, и мама, забыв проститься, выходит из кабинета, идет в сторону Хитрого рынка, где ее столовая, и замечает, что плачет, когда спешащий мимо мужчина приостанавливается:

— Вам плохо? Может, вам помочь?

— Нет, нет! — пугается мама. — Спасибо, — говорит она, пытаясь улыбнуться, а слезы катятся уже градом, зубы

стучат, Славка представляется то распластанным на трамвайной линии, то сбитым машиной, то...

Меня ищут, а я полеживаю на диване, собравшись бежать в Америку, в бок колко давит пружина, солнце слепит глаза, от этого, наверное, они и мокреют...

— Славка, ты чего теперь? — спрашивает Радик.

Я поднимаюсь с дивана, неопределенно пожимаю плечами.

— А чего, — прорезается вдруг голос у Драчука, — можно выкопать землянку и пожить в ней, пока все успокоится.

— А ты-то чего лезешь! — взрываюсь я. — Тебя-то из интерната не исключают!

— Я ничего, — хлопает ресницами Сашка.

— Зачевокали! — тянет Радик, прикуривая. Он давно курит почти в открытую, прячется только от старшего воспитателя, Надежда Дмитриевна на него рукой махнула, но меня это зелье не прельщает, накурился раз до тошноты, еще отец был жив, с той поры и не пробовал больше, а теперь вдруг прошу:

— Дай и мне.

Радик протягивает папиросу. Я мну ее, как взрослый, дую в мундштук, делаю закус, обжигаюсь первой затяжкой, закашливаюсь, но этого мне и надо — теперь понятно, почему у меня глаза на мокром месте.

— Накурился табака и взлетел под облака, — говорит Радик подписью из стенгазеты, в которой его нарисовали с сигарой в зубах и раздувшимся, как шар. Карикатуру рисовал Толик Шелков, он хорошо рисует, я придумывал подпись, и все остались довольны: Надежда Дмитриевна активностью редколлегии, я с Толиком свободой до следующего номера, а Колька неожиданной славой — газету прибегали смотреть все классы, с первого по восьмой.

В восьмом классе интерната нам всем уже не учиться. Радика вообще не ходить в школу, он будет постигать другую науку, науку труда, и когда я вернусь из Москвы,

он станет уже классным маляром, и я со своим дипломом с неопределенной специальностью «литературная работа» буду завидовать ему втихую, а он мне — открыто:

— Дурак я, что бросил учиться!

— Дурак,— сказал мне Радик, когда я сообщил, что решил добраться до Одессы, чтобы затем бежать в Америку,— тебя без билета на первой же станции сымут. Прежде надо башли занять...

Б а ш л и — по-Радика — это деньги.

Но прежде мы на пустыре, где барачные соседи интерната уже высадили картофель, отыскивали подходящее место,— за взгорком, подковой укрывающим нас с трех сторон, а четвертая не волновала, она выходила на ограждение завода,— и вырыли огромную яму, провозившись до вечера. Вечером же, когда нас, наконец, разыскал Толик Шелков, мы сделали набег на ближайшую стройку — там сейчас больница имени Лизы Чайкиной — и покрыли яму бревнами, оставив покатый лаз.

— Землей завтра завалим,— решил Радик. Настала, понял я, пора прощаться, поскольку мне и в голову не приходило, что ребята могут остаться со мной, насчет этого не говорили, а предусмотрительность Радика и безотказность Драчука я объяснял товариществом, заботой обо мне.

— Слушай, может, хватит дурака валять? — сказал мне Толик. Он всегда почему-то казался взрослее нас, может быть, из-за собранности, целеустремленности, с какой жил и учился, чтобы в конце концов поступить в летнее училище, а что он поступил — в этом никто не сомневался, тогда и вправду думалось, что все двери перед нами открыты, только толкни желанную.

— Ведь не маленький,— сказал он, отводя глаза. И что-то насторожило меня в его голосе.— Ведь замерзнешь,— сказал он уже обреченно, догадавшись, должно быть, что до меня не дошла его тайная просьба.

— Мы это, мы костер распалим,— заявил вдруг Радик. В это трудно было поверить, но это было так: Колька решил остаться, вот почему он не торопился в интернат.

— А ты? — повернулся Толик к Драчуку.

— А чего я там не видел, в интернате? — отозвался Сашка.

— Ну, тогда бывайте,— сказал Толик, еще раз с надеждой глянув на меня, и зашагал, гордо выпрямив спину, а мы остались.

За взгорком — третий этаж, пять окон слева — уже светились окна нашей спальни. Теперь там класс вокала, потому что после расформирования в бывших зданиях интерната обосновалось музыкальное училище. И директорствовала в нем по-прежнему Ксения Михайловна, и Михаил Павлович продолжал работать, бывший интернатский завуч, и тоже завучем, и Исаак Львович с год еще был здесь же, только не знаю кем — кажется, преподавателем физкультуры, а потом уж перешел в другой интернат. И часть нашей жизни, наше детство осталось, наверное, с ними, и я не знаю более печального глагола, чем этот — остался. Есть, правда, еще был, было. Минувшее напоминает мне «черную дыру» — оно поглощает, не отражая, настоящее, потому что мы, оставшиеся там, в прошлом, продолжаем жить будущим, не подозревая, что для многих из нас оно будет несколько иным, чем загадывалось и представлялось.

— Я буду трубачом,— говорил Сашка, представляя себя, наверное, по меньшей мере в оркестре Центрального радио и телевидения,— а стал трубачом в духовой команде городского гарнизона.

— Я буду летчиком,— говорил Толик Шелков, наверняка собравшись вслед за Гагариным полететь в космос, и полетел бы, не повстречайся ему на пути та, с которой жить рядом, но без нее — не было смысла. И может быть, только Колька Радик, не задумывающийся о своем будущем (а если и задумывающийся, то втайне), обрел себя, став маляром. Но и здесь сыграл случай, потому что в детстве он наверняка не думал быть им, пусть даже на гражданским.

— Эй, малый. ты в магазин за куревом не сбегаешь? — упало на Радика сверху. Радик задрал голову — красили дом, а окликнули его с лесов, протянутых вдоль третьего этажа. Мужичонка в веселом халате окликнул, тут же пояснив:

— Слезить неохота, а делов всего на пробежку до магазина осталось. Понял?

— Сбегаю,— понял Радик, и к его ногам упал железный рубль.

— А ты почему не в школе? — поинтересовался мужичонка уже на земле, когда Радик вернулся с сигаретами.

— Выгнали,— буркнул Радик.

— Меня Петровичем зовут,— сказал мужичонка.— Если что, прибегай завтра с утра — пособишь, пока напарник болеет...

А кем хотел быть я, точно уже не помню,— кем только не хотел! Но где-то с год — врачом. Как отец, говорил я, хотя отец мой был простым фельдшером, и в том, что он был только фельдшером, я признался себе уже будучи взрослым. Настолько утвердился в детстве, обманывая сверстников, что отец был все же врачом.

— Хирургом,— говорил я.

— А мой пахан полковник,— просто сказал Радик, подбросив в костер наломанных срезок, и мы с Сашкой разинули рты. Радик впервые признался в существовании отца, причем не просто отца, а полковника. И не только: мы сразу же уловили отсутствие — б ы л. Среди нас только у Борки Фризина был отец, он и определил его в интернат, когда умерла жена, у остальных, как правило, отцов не было, а если и были, то неизвестно где, в бегах, как отзывалась о своем Мирка Ишмухамедова, знавшая его лишь по фотографиям.

— Заливай...— нерешительно сказал я.

Радик молча подбросил еще срезок, пламя, вспыхнув, осветило его — задумчивого и серьезного.

— А где ж он тогда? — набрался храбрости Драчук.

— Живет,— буркнул Радик.— С молодой женой,— пояснил он.— Он нас бросил,— добавил через минуту, и понимая, что мы ему не очень верим, сказал: — Завтра можем к нему смотаться, а теперь спать давайте...

Накрывшись моим пальто, мы прикорнули на земле, чуть согретой костром, и то ли во сне, то ли наяву — за давностью лет как-то стерлось,— приехали поутру, продрогшие и грязные, к большому пятиэтажному дому в два подъезда, потянулись за Радиком по лестнице, и на четвертом, кажется, этаже, квартира справа, он уверенно вжал кнопку звонка, и дверь тотчас открылась.

— А-а, это ты,— тускло сказала женщина, похожая на Надежду Дмитриевну, только не в коричневом, как она, костюме, а в легком цветастом халатике, под которым, вспыхнул я до ушей, явно ничего не было.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

Рисунки  
В. Мартыненко



# Ночь Черного Хрусталя

Владимир Михайлов

ПОВЕСТЬ



— Доктор Рикс! Срочно — город! ОДА!

Женщина выхватила из кармана халата плоскую коробочку коммутива. Нажала кнопку.

— Доктор Рикс? — Голос в коробочке казался сплюснутым. — Снова ОДА! Девочка, роды проходили нормально...

Женщина опустила веки — может быть, чтобы никто не увидел в ее глазах отчаяния. Но голос ее в наступившей мгновенно тишине прозвучал спокойно, почти безмятежно, как если бы ей сообщили — ну, что лампочка в прихожей перегорела, например; только свободная рука непроизвольно сжалась в кулак:

— Что предприняли?

— Сразу же, по инструкции, дали кислород. Затем... Она слушала еще несколько секунд.

— Пока дышит нормально. Однако...

Она перебила:

— Готовьте к перевозке. Сейчас к вам вылетит вертолет.

— Доктор, хотелось бы... Видите ли, ее отец — Растабелл.

Она знала, кто такой Растабелл.

— Не волнуйтесь, все будет отлично.

Рука с коммутивом медленно опустилась, бессильно повисла, но лишь на секунду.

— Доктор Карлуски, разрешите...

Он кивнул узким, морщинистым лицом.

— Разумеется, доктор Рикс. Я уверен — это вчерашний выброс; следовало ожидать...

На несколько мгновений выдержка изменила ей:

— Шесть наших обращений к этому их правительству, шесть успокоительных ответов — и все на бумаге, только на бумаге... В конце концов, это же их дети, а не мои!

— Ну, что вы, — сказал доктор Карлуски, стянув морщины в улыбку. — Правительства всегда бездетны. Хорошо, что у нас еще есть гермобоксы.

— Еще три, — ответила она уже в дверях. — Что будет потом — не знаю...

— А кто знает? — сказал ей вслед доктор Карлуски.

Что будет потом, не знал никто. Ни здесь, в Международном Научном центре ООН, располагавшемся в уютном уголке Европы, в Намурии, — ни, пожалуй, во всем мире.

Правда, не было уже той растерянности, что сопутствовала первым подобным случаям — сперва все непостижимым, потому что младенцы рождались вроде бы совершенно здоровыми, были они доношены, выходили правильно, не было ни удушения пуповиной и никаких других бед из числа тех, что подстерегают еще не родившегося. Вскрытия показали, что дети были совершенно нормальными — только их крохотные легкие выглядели как бы сожженными если не кислотой, то удушливым газом; а ведь ничего, кроме воздуха, каким все дышат, не содержалось в родильных залах. Все дышат, а эти вдруг не захотели: один, другой, третий, четвертый — и, как говорится, пошло-поехало. Не только в Намурии, хотя небольшая страна эта оказалась одной из первых, и не только в Европе; другая закономерность, правда, прослеживалась: чем ближе к большим промышленным районам, тем чаще такие случаи происходили, потому что тем меньше оставалось в этих местах того, чем можно дышать. Отказ дышать в атмосфере; вот что такое ОДА.

И в самом деле: можно ли было называть старым и легким словом «воздух» нынешнюю смесь кислорода и азота со всеми теми неисчислимыми добавками, какими обильно обогащала ее цивилизация: продуктами сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива в

(110) цилиндрах и камерах автомобилей, тепловозов, тепловозов, самолетов, энергостанций, заводов и фабрик, ракет; отходами промышленности — химической прежде всего, но не только, продуктами сжигания мусора; тончайшей цементной, фосфатной, другой всякой пылью; отбросами горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности — да что перечислять, тут в пору завести Черную книгу, чтобы на множестве ее страниц всерьез заняться поименованием всего того, чем мы за десятилетия усовершенствовали наивно-примитивную стихию, а здесь не место для этого; добавим только, что уже не воздухом, конечно, была эта смесь — скорее уж следует назвать ее «Аэрозоль-XX» — по номеру нашего благодатного столетия и по ее физической сущности. Не будем говорить здесь и о том, что не одна только атмосфера подверглась подобному обогащению, но и вода, и поверхность земли, и недра ее, да и ближний космос, пожалуй, тоже; попытаемся лишь назвать этот процесс приспособления природы к человеку самым пригодным для этого словом вместо существующего бодрого термина «техническая цивилизация»; словом этим будет война и не просто война, а гражданская. Потому что только на войне убийства происходят не исподтишка, но явно, и почитаются не за преступление, а за подвиг — не так ли поступает цивилизация с природой? И не подвигом считали мы разве все достижения вышепоименованной? Подвигом, несомненно; и гордились, и подвигали на дальнейшее в том же духе. Итак, война. А почему гражданская? Потому что в гражданской войне народ уничтожает сам себя, для народа гражданская война — форма самоубийства или, если уж не до смерти, то самокалечения во всяком случае.

Не вчера это уже стало ясным. И не вчера впервые были произнесены власть предержащими во всех концах планеты правильные и весьма достойные слова отнюдительно пресечения, недопущения, исправления, восстановления. Так клянется алкоголик: вот сегодня еще выпью, а с завтрашнего дня — завяжу! Так обещает сам в себе запутавшийся человек: с понедельника начну новую жизнь! Сколько завтрашних дней прошло, сколько понедельников... Ты еще дышишь, человек? Ну живуч, прямо сказать...

Кто как, впрочем. Кому сейчас, скажем, семьдесят — тем дышится легче. Было время адаптироваться: родились-то они тогда, когда дышать было куда проще. Конечно, двести, или две тысячи, или двадцать тысяч лет назад воздух был еще чище. Но даже семьдесят лет назад над полями и в лесах еще держалась благодать, с неба не лились еще желтые, а то и радиоактивные дожди, а поля и грядки удобрялись более по старинке, навозом. Так что хоть в детстве подышали вволю, а потом приспособливались понемножку. Тридцатилетние, особенно горожане — уже другой коленок: вдыхали аэрозоль с молодых ногтей, хотя не столь еще густой, как нынче. Ну, а теперь и вовсе не осталось мест населенных, куда не проникли бы механизмы и химикаты. И вот в разгар научно-технической революции, грозившей привести благодарное человечество к полному познанию всего на свете и безмятежному благоденствию, детишки как-то уж и вовсе хлипкими стали выходить в сей мир, юдоль не слез, но безвредных отбросов. Естественные компенсаторы и фильтры первыми не выдержали нагрузки, тем более, что их оставалось все меньше; они были природными богатствами, которые человек транжирил вместо того, чтобы разумно жить на проценты. И вот наконец и он, наиболее приспособляющаяся (за исключением разве крысы, клопа или таракана) часть природы, исчерпал, похоже, свои резервы адаптации и выносливости. Так что к тому дню, с которого началось наше повествование, на всех материках уже не на сотни, а, по статистике Всемирной Организации Здравоохранения, на тысячи шел счет представителям разумного вида, при рождении требовавшим для дыхания первобытно-чистого воздуха — или вовсе отказавшимся жить. То ли мутантами они были, то ли

спираль развития вышла на такую вертикаль — но так вот получилось.

Сперва, как уже сказано, растерялись. Но теперь научились крохотных бунтовщиков сберечь: помещали в герметические боксы, куда подавалась приемлемая для младенцев дыхательная смесь, с ароматом хвои даже. Кормить их тоже приходилось с самого начала искусственными составами из натуральных (по возможности) продуктов. И дети жили, словно драгоценные экспонаты музеев — за броневыми стеклами. Старшему из них во всем мире шел сейчас четвертый год. Самая младшая — вот только что родилась, при нас, можно сказать.

Что будет потом — это, конечно, не только доктора Рикс интересовало, не одну лишь эту молодую, красивую и (под белым халатом) несколько даже вызывающе одетую женщину, но и людей не столь уж молодых, строго одетых и занимавших куда более высокие, а порой даже и высочайшие уровни в мировой иерархии. Но как-то всегда оказывалось, что «сегодня» было важнее, чем «потом». Мир всё усложнялся, но дышать не становилось легче. Что же касается людей, общества, человечества, то с ним было, как с ядерным реактором: работает, и взорваться вроде бы не должен.

Но — может.

— Вызывает клиника Научного центра. Вертолет прибыл?

— Да, доктор Рикс, благодарю вас, только что погрузили малышку. Но господин Растибелл очень встревожен. Он...

— Успокойте его.

— Доктор Рикс, а не могли бы вы лично поговорить с ним? Вы специалист, да и американская медицина...

— Позвоно у него, как только дитя окажется у нас и я осмотрую его.

— И еще одна просьба, доктор: если...

Пол под ее ногами ощутило дрогнуло; звякнули инструменты в стеклянных шкафчиках, колыхнулась вода в стеклянном сифоне, листок бумаги спланировал со стола, и закачалась подвешенная к абажуру настольной лампы куколка: фантастический астронавт-десантник с бластером наизготовку.

Физики стали слишком много позволять себе, — мельком подумала женщина. — Совершенно не считаются с тем, что у нас — дети.

— Да, я слушаю: какая просьба? Алло! Вы меня слышите?

Но телефон молчал.

— А теперь, доктор, вопрос на засыпку...

— Честное слово, Гектор, у меня не осталось ни секунды. Надо проверить, как новенькая дышит в боксе, затем...

— Что ж, я могу брать интервью не только на бегу, но и стоя на голове. Скажите: вот вы спасаете этих несчастных. Но что ожидает их потом? Герметичные дома, конторы, цеха, города? Или вы надеетесь научить их дышать той гадостью, какой дышим мы?

— Это задача для ученых. Я всего лишь врач.

— Их становится все больше. Не опасаетесь ли вы, что в один прекрасный день общество возмутится — с непредсказуемыми последствиями?

— Это не мои проблемы, Гектор. Наше дело — убедить власти в том, что надо срочно принимать меры не на словах, а на деле, иначе человечеству грозит гибель в недалеком будущем.

— Какие меры вы считаете необходимыми?

— Любые, которые могут привести к очищению среды.

— Вы верите в возможность таких мер?

— Я оптимистка. Ну, все, на этом — наилучшие пожелания.

— А у меня еще целая связка вопросов. Чем вы заняты сегодня вечером? Что, если я навещу вас дома, в городе? Ваш муж ревнив?

Она усмехнулась.

— Вечером я приглашена на вечеринку — тут рядом, в Сайенс-вилледж.

— И пойдете?

— Почему бы и нет? А вообще, на возникающие вопросы человек должен находить ответы сам.

— Bravo, это я использую. Что же, раз так — мчусь в город, к Растибеллу. Думаю, они вот-вот начнут атаковать правительство всерьез — теперь, когда он пострадал, так сказать, лично. Но сперва забегу к вашим сейсмикам: они, кажется, что-то такое засекали.

— Был какой-то странный толчок. Но землетрясений тут не бывает...

Вот поют, — подумал Милов, — ну прямо соловьи...

Во тьме вспыхнула искра; мгновенный взвизг резанул по слуху, потом глухо загудело — словно в глубочайший колокол ударили: ухнул неимоверным басом, покачался из стороны в сторону и стал затухать. Но Милов успел уже нырнуть в дыру — вход в пещерный лабиринт.

Собственно, и не пещеры это были, скорее катакомбы, тут естественные пустоты, характерные для таких геологических структур, с обширными залами (в одном из них даже подземное озерцо плескалось), которые соединялись вымытыми некогда водой ходами и рукотворными коридорами, в прошлом — горными выработками. В седой древности в пещерах жили, во время Второй войны их использовало Сопротивление, а после нее, хотя и не сразу, проложили несколько маршрутов для туристов; маршруты эти оборудовали электрическим освещением, но стоило отклониться от найденной трассы — и человек попадал в первозданную мглу. Входов в катакомбы имело несколько, все они были снабжены прочными дверями — сперва деревянными, потом их заменили пластинами из котельного железа: чтобы предотвратить несчастные случаи, какие время от времени приключались с «дикими» туристами и с детьми. Одна из этих дверей сейчас оказалась, на счастье Милова, приотворенной, и пули пришлось по ней.

Рикошет, — подумал он, переводя дыхание и напряженно вслушиваясь. — Плохо стреляют, — а странно, они должны уметь профессионально, и по звуку в том числе; но и так ничего, чуть левее — тут бы мне и конец. Конечно, найдись среди них хоть один порешительнее — выпрыгнул бы за мной, и длинной очередью вдоль хода, и все... Если они меня опознали — человек я заметный, их могли предупредить, — то преследовать они вряд ли сунутся, репутация у меня достойная; но уж постараться и живым не выпустить, залягут, как кот у норки: наверняка ведь думают, что я этих ходов не знаю, а если и знаю, то лишь официальные маршруты. Плохо они обо мне думают, плохо...

Он спешил уйти подальше, прикидывая на ходу, как побыстрее и побезопаснее выбраться отсюда, чтобы попасть наконец в Научный центр, найти там одного человека и выжать из него все, что можно, а потом найти другого, уже в городе, и с ним сделать то же самое. Несколько раз Милов свернул почти наугад: надо было сойти с туристской тропы. Сейчас ход расширился, двинуться можно было почти бегом, лишь немного пригибаясь. Воздух был сырой и затхлый — значит, другого выхода поблизости не было. Хорошо: никто не успеет забежать и устроить засаду впереди. Подумав так, Милов усмехнулся и еще ускорил шаг. И, словно в отместку за ухмылку, кто-то или что-то долбануло его по лбу с такой жестокой силой, что он не устоял на ногах — рухнул и, кажется, отключился.

Ненадолго, впрочем. Милов пришел в себя то ли от невыносимой, дергающей и стучащей боли в виске, но, может быть, и от слабого, острогожого шороха, что слышался. Милов с силой притиснул висок к холодному,

мокрому песку, чтобы умерить боль. Никуда не денешься: звуки были звуками шагов, и они приближались осторожно, но упорно.

Значит, решились все-таки пакостники,— подумал он с неожиданным спокойствием,— пошли на добывание... Ну, в такой непроглядности в меня еще попасть надо. Правда, и мне по звуку трудно будет их упредить: здесь многократное отражение. Ладно, пусть они начинают, а я тогда — по вспышкам...

Шаги приближались все медленнее, охотники, видимо, не хотели рисковать. Что же они — даже фонариками не запаслись, дурачье, неужели думали, что я по туристским ходам побегу? — с некоторым пренебрежением подумал Милов. — А ведь готовились, наверное, всерьез... Или просто боятся?.. — Тут шаги и вовсе замерли. Милов старался дышать как можно реже, тише, отбойный молоток в черепе перестал частить. Потом он услышал совсем рядом едва различимый шепот и очень удивился: разговаривали по-английски, а не по-намурски и не по-фромски — то были два местных языка.

«Нет, мне помнится, тут пройти можно, надо только опасаться сталактитов, они тут мощные, их не вырубали, это дикий ход».

Странный акцент,— подумал Милов.— Местный, надо полагать. В местных языках я — с грехом пополам... Так вот, значит, на что я налетел; надо было идти поосторожнее, как это я оплошал... О чем это они там?

«Жаль, мне бы хоть фонарик захватить, но кто мог знать?»

«Как тихо... Может быть, мне почудилось, и никто не стонал?»

Второй — явно из Штатов,— решил Милов.

«Нет, не почудилось, я хорошо слышал стон».

Это был уже не шепот, а негромкий голос, и Милов едва не присвистнул от удивления: голос принадлежал женщине.

Нет,— подумал Милов,— это не мои друзья-приятели. Это случайный народ. Любовники, может быть — искали уединения и заблудились. Пора объявиться — не то они, от безвыходности, начнут делать что-нибудь нескромное...

Он подтянул ноги к животу, изготовленный было к бою пистолет водворил на место. Бесшумно привстал — и снова ткнулся головой в сталактит, в самое острое, и невольно зашипел.

— Кто там? — вскрикнула женщина испуганно. Сразу же зашуршало: мужчина шагнул вперед, дыхание его сделалось шумным. Он мог сейчас, пожалуй, и напасть, не рассуждая — просто чтобы подавить страх в себе самом.

— Эй, приятель,— по-английски окликнул его Милов — негромко, словно сидел за столиком в кафе и мимо прошел официант.— Осторожно, не запачкайте об меня обувь.

Тот снова остановился.

— Что вы тут делаете? — через мгновение осторожно спросил он.

— Принимаю солнечные ванны,— ответил Милов, чувствуя, как возвращается уверенность.— Предупреждо: я занял лучшее место и не собираюсь уступить его просто так.

Тот усмехнулся — просто потому, что того требовало чувство собственного достоинства.

— Меня радует ваш юмор,— ответил он.— Но не окажете ли вы любезность говорить серьезно? Тут собственно, нет ничего смешного...

— Кончайте болтовню! — неприятно сказала женщина; судя по звуку ее голоса, она отступила шага на три-четыре — на случай, если завяжется схватка, наверное.— Не знаю, может быть, пещеры — ваше постоянное обиталище, но нам не хотелось бы медлить.

— Вы совершенно правы,— согласился Милов; он тянул время, чтобы совсем уже оправиться от удара.— Можно простудиться. Да и воздух, открыто говоря...

(112) Хотя, должен сказать, снаружи он тоже не заслуживает доброго слова.

— Дайте нам пройти! — потребовала женщина.

— Обождите секунду,— примирительно сказал Милов,— я попытаюсь встать.

— Вам плохо? Или вы ранены? — спросила женщина и шагнула вперед.

— Стойте там! — на всякий случай задержал ее Милов.

Она обиженно хмыкнула, но остановилась, говоря:

— Надеюсь, ваш утренний туалет не затянется? Кофе в постель здесь не подают. Может быть, конечно, дома у вас горничная... Вы из поселка?

— Дома у меня гарем,— сказал Милов и, упираясь ладонями в шершавые стенки хода, стал подниматься.

— Боюсь, что господин не из поселка,— сказал мужчина своей спутнице так, словно Милов был далеко и не слышал их.— Я там знаю всех — и персонал тоже.— Он повысил голос.— Не могли бы вы сказать, кто вы и как оказались здесь?

Милов ощупал пальцами голову.

— Ничего,— вслух сказал он самому себе.— Кажется, обошлось без телесных повреждений, связанных с длительным расстройством здоровья.

— А может быть, он из этих, которые напали на поселок? Поджидал нас? — предположил мужчина. Видимо, темнота придавала ему смелости; вообще-то, судя по манере говорить, он не принадлежал к забиякам.

— Встали? — нетерпеливо спросила женщина.— Поздравляю. А теперь, пожалуйста, пропустите нас, если вам не нужна помощь.

— Боюсь, она потребуется вам,— ответил Милов.— Если не ошибаюсь, вы хотите воспользоваться ближним выходом? Не советую: там ждут меня, но могут открыть огонь, даже не спросив, кто идет. Нервные люди.

— Вы... контрабандист? — нерешительно спросил мужчина.— Извините за такое предположение,— тут же заспешил он.

— Нет,— сказал Милов,— все не столь романтично. Я турист-одиночка, много слышал об этих пещерах, но возле входа меня хотели ограбить и, кажется, даже убить. Оставалось лишь улизнуть сюда, где потемнее.

— Это необычно,— задумчиво проговорил мужчина.— О грабителях у нас давным-давно не слыхивали. Знаете,— оживился он,— скорее, это были... ну, те самые, что в поселке. Вы не знаете разве, что произошло вечером, в Сайенс-вилледж?

— Никогда не бывал там.

— Перестаньте, Граве,— сказала женщина.— Господин хочет сохранить инкогнито. Во всяком случае, английский — не его родной язык.

— Я из России,— сказал Милов вежливо.— Турист.

— Все равно; сейчас все мы сидим в одном и том же джеме по уши. Итак, мистер русский, вы полагаете, тут нам не выйти?

— Милов,— представился турист.— Даниил Милов, к вашим услугам, мэ'м.

— Очень приятно, Дан. Меня зовут Евой. А это господин Граве. Его воспитание не позволяет, чтобы его называли по имени.

— Что делать,— сказал Граве,— мы, намуры, консервативны и, признаться, даже гордимся этим. Но скажите, господин Милф: о засаде вы говорили серьезно?

— К сожалению.

— Я не очень уверен относительно других выходов.— сказал Граве виновато.— Слишком давно не бывал здесь, хотя работаю рядом со дня основания Центра. Знаю только, что выходы есть, но вот где они?..

— Ну же, решим что-нибудь,— нетерпеливо сказала Ева.— Не люблю неподвижности. Ну а вы, Дан — вы и в самом деле собирались заночевать тут? Мне такая спальня не по вкусу.

— Ночлег не входил в мои планы,— признал Милов.— Я рассчитывал попасть в Центр — там ведь есть какой-нибудь странноприимный дом, надеюсь?

— Гостиница, — сказал Граве. — Но в Центр еще надо попасть, а это, я полагаю, сейчас затруднительно. В той стороне один-единственный выход, через него мы и попали сюда. Однако, — в голосе его проскользнула нотка горечи, — в старой тихой Намурии стали происходить невообразимые вещи: там тоже люди с оружием, и мы едва спаслись от них, когда бежали из поселка...

— Так что выбираться придется вместе, — заключила Ева. — Осталось лишь придумать — как.

— Отчего ж не придумать, если подумать... — проворчал Милов, занятый сейчас другими мыслями. Ни к чему были ему сейчас эти спутники, а в одиночку он, вероятнее всего, прорвался бы; но бросить здесь женщину было бы не по-мужски, а от компаньона ее, похоже, большого толку ждать не приходилось. Ну что же, воспримем, как лишнюю помеху, только и всего.

— Мне известен еще один выход, — сказал он. — Правда, он не для туристов: над рекой, в обрыве; но невысоко. Есть в нем одно неудобство: спуститься вниз там нельзя — берег нависает, подняться — тем более. Можно только прыгнуть в реку.

— Просто ужасно, сколь многого я с собой не хватила, — сказала Ева, — ни пижамы, ни купальника...

— Я тоже, — сказал Милов, — я путешествую налегке. — Он не стал объяснять, что сумку ему пришлось бросить, когда за ним гнались; по счастью, ничего серьезного там не было, опыт давно научил самое необходимое носить в памяти и в карманах. — Да и господин Граве вряд ли предусмотрел такую потребность...

— Вы же видите, господин Милф, у нас с собой ничего...

— Не вижу, как ни удивительно. Здесь не слишком светло, а? Ну что же, раз мы не экипированы, придется лезть в воду в чем мать родила.

— Это будет крайне неприлично, господин Милф, — сурово произнес Граве. — Если бы еще с нами не было дамы...

— Вы знаете, Граве, — сказала Ева, — я не очень любопытна.

— Тем более, что все равно ничего не видно, — добавил Милов. — Впрочем, дело ваше. Только не забудьте, что придется переплывать реку; и из-за обрыва, и чтобы обойтись без неожиданностей.

— Вы полагаете, там тоже опасно? — с некоторым беспокойством спросил Граве.

— Полагаю, тот выход известен не только мне. Итак, плыть придется, а разводить потом костер для просушки — потеря времени, да и небезопасно. Поэтому, плавая, держите одежду над головой.

— Давно так не пробовала.

— Ну, отдадите мне, — сказал Милов. — Верну сухим.

— Вы крайне любезны, — сказала Ева. — Ведите нас, пещерный лев!

— Вы хотели сказать — пещерный человек, — поправил Граве.

— Хотела то, что сказала. Не придирайтесь.

— Нам придется, — предупредил Милов, — миновать тот вход, которым воспользовался я. — Он знал, что обходного пути нет: схема ходов в окрестностях Центра была крепко запечатлена в его профессиональной памяти. — Так что — никакого шума. Я иду первым, вы, Ева, кладете руку мне на плечо, а господин Граве замыкает — точно так же.

Он ощутил, как легкая ладонь легла на его плечо.

— Тронулись!

Они шагали молча, стараясь ступать в ногу. Ева сняла туфли и несла их в руке: острые каблуки тонули в песке; ноги сразу промокли. Одно приключение вместо другого, — думала она, ощущая под пальцами твердое плечо. — Хороший свитер, надеюсь, он не какой-нибудь дикой расцветки, хотя от русских, говорят, можно ожидать чего угодно — и прекрасного вкуса, и самого дурного... Напрасно я не надела кроссовки — с брюками вполне уместно... Правда, их снимать труднее. — Тут ее мысли пошли в другом направлении. — Странно и ужа-

(113)

сно: еще днем мы жили в цивилизованном мире, пусть не таком зеленом и душистом, как некогда, но все же... Да, мир... В нем прежде всего страдают дети. Я недолюбливала Раstabелла, слишком уж он фанатичен и ограничен, хотя и талантлив, конечно, а теперь мне его жаль. Бедная девочка... Раstabелл теперь, наверное, и вовсе перестанет сдерживаться, а ведь за ним идут люди, его даже правительство побаивается. Кстати, я ему так и не позвонила. С телефоном никогда такого не случалось. Что-то произошло в столице? Или здесь, в городе? Этот город — как теневая столица: здесь живет Раstabелл, и еще многие из его компании, этот странный Мещерски, другие... Лестер давно дружит с Мещерски, у них, по-моему, какие-то общие дела. Лестер... Слишком много секретов завелось у него в последние два года, и это не бабы — все его налеты на баб мне были известны едва ли не заранее; нет, тут другое — я думаю, он...

Мысли прервались, когда она услышала тихое: «Тсс... стоп». Милов остановился, остальные — тоже, но рука женщины оставалась на его плече, он снял ее пальцы осторожно, почти ласково. Повернув голову, едва уловимо выдохнул:

— Обоим — лечь, только тихо... Скажу — бегите, как на сотке, свернете в первый ход направо — там я вас догоню...

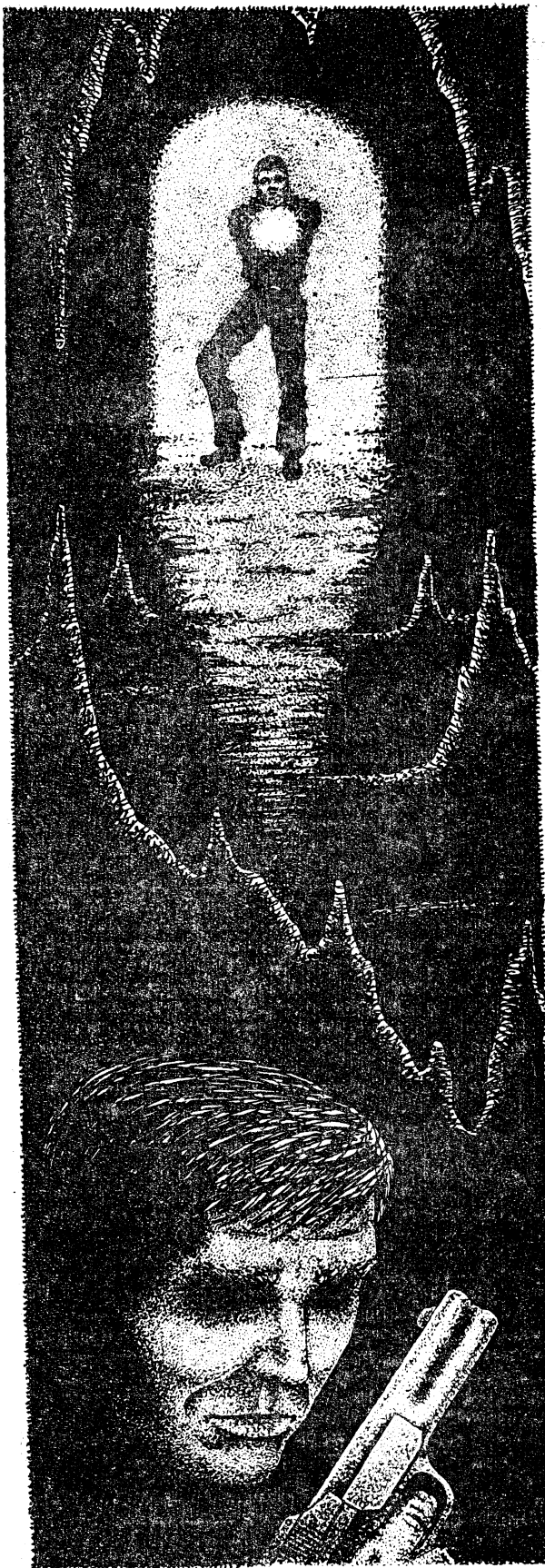
Помедлил еще секунду и бесшумно двинулся дальше. Выход, тот самый, его, чуть серел в крошечной тьме пещерного хода, и более светлым пятном выделялась часть стенки напротив. Ползком? Опасно: кто-то может сидеть у самого проема — незачем подставлять ему спину... Он все же опустился на живот, подобрался, без единого шороха подполз к выходу — сейчас дверь была распахнута настезь, значит, стерегли, иначе заперли бы. Что делать? Ладно, я-то проползу, но те двое — нет, не имею права...

Решившись, он коротко кашлянул — и в ту же секунду ударили выстрелы, пули врезались в стенку хода. Охотники не ушли, у них хватило терпения. Неосторожно мы там разговаривали, — подумал Милов, — громко и долго, и я хорош — потерял ощущение реальности. Так что эти знали, что я возвращаюсь, лишь на долю секунды не хватило у них выдержки — начали стрелять, не дожидаясь, пока голова возникнет в проеме, на сером фоне. Странно все же, кого они против меня послали; профессионалы уже раза два подловили бы. Интересно, что у них тут вообще происходит? Меня об этом не предупреждали. Ну ладно, еще поиграем... — Он не двигаясь с места, вслушиваясь в шорохи снаружи: там стрелявшие меняли места, хруст их башмаков по гравью был отчетливо слышен. Опершись локтями, Милов медленно изготовился, зная, что сейчас один окажется в поле зрения; там снаружи, казалось, верно, что в ночи их не увидеть, они не понимали, что по сравнению с непроглядностью пещеры ночная темнота была едва ли не ясным днем. Черное появилось; Милов нажал на спуск. Человек снаружи вскрикнул и упал. Снова заскрипел гравий и застучали выстрелы, но Милов лежал сейчас в мертвой зоне, чтобы убить его, надо было подойти вплотную к двери и вскочить в ход, но на это никто не отваживался. Да, странных людей они послали, — подумал он, — хотя и знают, что я ухватился за цепочку... — Нервная пальба заглохла, когда Милов снял еще одного — выстрелил по вспышке. Наступила пауза, и тогда он негромко скомандовал:

— Ну, бегом!..

Он знал, что у них в распоряжении несколько секунд: находившиеся снаружи чуть отступили, решая, какую теперь применить тактику, и можно стало промелькнуть мимо хода. А вот ему самому придется еще выждать: наверняка те все-таки решатся вскочить и стрелять в упор... Граве протопал мимо, Ева тоже — и вдруг остановилась прямо над ним, подставляясь под пули, упала на колени — и он почувствовал прикосновение губ; поцелуй пришелся в висок. «С ума сошла! — сдавленно

«Элиита»-90



(114) крикнул он.— Дурал! — забывшись, выругался по-русски. Но она уже вскочила, кинулась дальше, и выстрелы извне опоздали на долю секунды. Сумасшедшая девка,— подумал Милов с невольным одобрением, хотя и зол на нее был сейчас. И снова замер: судя по звукам, двое подкрадывались к выходу с разных сторон, держась вплотную к склону, чтобы не подставиться, замерли у самого проема — он слышал их дыхание. Прошла секунда, другая, десятая — тогда Милов шумно вскочил, затопал ногами, оставаясь на месте. И мгновенно один из затаившихся влетел в ход, чтобы ударить в спину убегающему. Милов свалил его — в упор, наповал. И выметнулся наружу, прикончил последнего, не дав ему опомниться. Ну-ка, а что сейчас снаружи — может быть; здесь и выйти, путь-то расчищен...

Он замер на секунду — и выстрелы снова прозвучали, хотя и с дистанции: видимо, заслышав перепалку, сюда начали стягиваться. Милов подхватил пистолет свалившегося у входа — плоский браунинг, оружие непрофессиональное; подскочил к первому убитому — у того был винтовочный обрез, и вовсе ненужный, зато у лежащего в пещере оказался армейский пистолет. Странно,— подумал Милов,— ни одного автомата, нет, как-то не так все происходит, непривычно, любительство какое-то, а меня ведь ориентировали на специалистов... Но больше думать было некогда, и Милов побежал вдогонку своим. Надо было правым ходом пробираться к реке, пока не принялись травить всерьез.

Двое ждали его, как и было условлено. Он подошел к ним, как умел, бесшумно. Те приглушенно разговаривали. «Чужой человек,— говорил Граве,— по-моему, он не заслуживает доверия. Не будь он еще русским...» Милов застыл: интересно было, что прозвучит в ответ. «Подите вы к черту, Граве,— ответила женщина спокойно,— мы ведь не по схеме компьютера пробираемся, там я бы вам доверилась... Да и все равно: своих не бросают. Вы стойте тут, а я вернусь: может быть, его ранили...» «Может быть убили,— ответил в свою очередь Граве,— и вы попадете прямо в руки этим...» — «Чем это здесь пахнет?» — спросила Ева. Милов невольно принюхался: и в самом деле, воздух здесь был немного другим, отдавал чем-то этаким — не бензином, не кислотой, но что-то было в нем постороннее. «Да,— сказал Граве,— что-то такое есть на самом деле...» — «Это запах вашей трусости»,— сказала Ева. Граве обиженно засопел, Милов усмехнулся: сказано было не по делу, но весьма определенно. Он беззвучно ступил. «Нет, без меня вам не выбраться, господин Граве,— сказал он,— тут впереди лабиринт, и вы проплутаете в нем до конца жизни, а мне маршрут известен. Тут озерцо впереди, подземное — видимо, в него натекло всякой дряни — вот оно и пахнет. Ваш Центр, видимо, что-то сбрасывает не по адресу». — «Ох, Дан,— сказала Ева, и он с непонятым удовольствием уловил в ее голосе радость. — Наконец-то, а то я уже испугалась». — «Спасибо, Ева,— сказал Милов. — Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу — не знаю, отчего. Готовы?» — «Да»,— ответила Ева, и он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо. «Двинулись»,— сказал он, и они пошли. Под ногами уж ощутило хлопало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил. Сплошные загадки,— подумал он, идя с вытянутыми вперед руками — одна прямо, другая чуть выше головы — чтобы не налететь ни на что сослепу.

Выбраться удалось благополучно; три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению и запаху. В этой реке уже лет пять не купались, наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно — равняясь по женщине, она плы-



ла медленнее других, и Милов все время держался рядом — греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой.

Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде каждый из них каждую секунду ожидал выстрелов вдогон, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся. Нет, все-таки в пещере воздух был чище, — подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться пучками — кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь, экскременты цивилизации. Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, неволью сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнил, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке; сколько же это времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями, Ева же — еще и для того, чтобы растереть совершенно ооченевшие ступни.

Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо огранным, сияющим огнями монолитом хрустала: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке — чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле стояло вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в гражданскую так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги, серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется — все понимали — ждать еще долго, долго, — но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету — неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами — если и не для политиков, то уж для ученых — во всяком случае. Поэтому такие вот центры — и отдельных наук, и синтетические, и технические — возникли все чаще; ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче: демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеке. Даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым — но не сразу, не сразу, конечно.

Оттого-то и бывало так приятно, — думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие чувствительность, — приходит сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть — не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки и легкие закуски продавались в изобилии. Приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше — технические службы, а еще выше — этажи математиков, физиков, экономистов, правоведов, философов, теологов наконец. Клиника, как и полагается,

находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов — не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятным: клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекции, для младенцев никак не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком гермобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной. Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, — да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась во всех этих строениях, в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла — одним словом, везде. Кроме разве парка; так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно разраставшего всякой дрянью, — эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде, и газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи науки, а обучающиеся станут с жадностью подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи; ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения — зато ночами там собиралось множество кошек.

Правда, окрестное население, — такое было, — уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили «однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антрактиды, а их, туземцев, оставить в покое и презренным невежеством. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее: прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, — в Европе полно продовольствия, куда же местные фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчал — привыкли. Как-никак, Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик — несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания — на благо людей, разумеется, кого же еще.

И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклонуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений — такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими — по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное зарево, поднимаю-

щееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой и очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и поселок ученых совершенно независимыми от всей остальной Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась, и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правда, с десяток селений — естественно, без человеческих жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало.

Да, красиво все это было и внушительно. Но стреляли-то — почему и зачем?

— Так что же все-таки у вас стряслось? — поинтересовался Милов.

Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо — только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал — верно, никак еще не мог согреться.

— Да перестаньте, — сказала Ева, — уйдите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.

— Я не боюсь, — возразил Граве. — Просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам. Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера...

Черта с два я представляю, — подумал Милов. — Никогда не жил в таких поселках, да и с учеными что у меня общего? С этими одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН — только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы...

— Ну, разумеется, могу себе представить, — ответил он вслух.

— И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то... Не знаю даже, как их назвать...

— Психи, — сказала Ева.

— Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные — пистолетами, охотничьими ружьями, не знаю, чем... Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей, крушить все вокруг себя — мебель, посуду, лампы, книги, бьют окна... Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта — они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова... Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в свою машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов — боюсь, что машина может пострадать... Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть — мне и вот доктору Рикс... Это было ужасно, ужасно — они избивали людей, стреляли — я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо...

— Интересно, — пробормотал Милов. — Откуда же они взялись?

— О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохозяйственные рабочие... Да, как ни постыдно — это были намуры; а ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером; если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист,

(116) но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно... Но это были намуры, господин Милф...

— Люди бежали, — добавила Ева, — как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать.

Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, сказала что-то успокоительное. Милов краем уха услышал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. У меня другая задача, — думал он. — Главное — оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет — и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую — цепочка не зря ведет через этот самый Центр...

— Простите? — спохватился он, поняв, что обращаются к нему.

— Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно... Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг...

— Все же не вдруг, — не согласилась Ева. — Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.

— Простите меня, доктор, но это эгоизм, — сказал Граве обиженно. — Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры.

— Понятно, — сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете... — Значит, поселок они разгромили? — Он встал, с удовольствием потянулся. — Ну, кажется, мы достаточно отдохнули... Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!

И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.

— Ну, слава Богу, — сказала Ева. — Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?... — подумала она вслух. Милов смотрел на облака; они становились все ярче, зарево разгоралось неровно, как бы играя — но упорно. «Если это поселок, то он горит, — сказал Милов, — другого объяснения не нахожу». После этих слов они смотрели молча. Потом Граве сказал: «Да, это, несомненно, пожар. Колоссальный. Какой смысл был исправлять компьютер, который все равно сгорит?» «Господи, — пробормотала Ева, — ну, почему, почему? За то, что мы не купили у них сколько-то тонн капусты или томатов? Это же немисливо и бессмысленно, это невозможно понять!» «Ну, — сказал Граве, — люди бежали в спешке, кто-нибудь забыл выключить нагревательный прибор, а от этого до пожара — один шаг». «Пожалуй, нет, — сказал Милов. — Очень уж бойко горит. Случайный пожар не распространяется так быстро: ветра почти нет. Тут скорее поджог, с разных сторон одновременно. Очень благородно с их стороны, что хоть людей выгнали из домов». Ева усмехнулась, сказала: «Ну, меня-то не очень выгоняли — наоборот, несколько молодых людей хотели задержаться со мной в доме. Юнцы, физиономии в прыщах, решили, видимо, познакомиться вплотную. Да, вот еще: у них на груди у каждого был прищиплен дубовый лист — по-моему, не настоящий, а то ли пластиковый, то ли матерчатый... Отличительный знак, так сказать».

— Как бы там ни было, господа, — сказал Граве и тоже встал, — надо идти. Машины наши, вероятно, погибли, но моя застрахована, и ваша, доктор, тоже, надеюсь? Воспользуемся ранним автобусом, пойдем к мосту, там он делает остановку. Да, да, я понимаю, очень прискорбно, но сейчас мы никому и ничем помочь не в состоянии — кроме наших семей. Вот и поспешим к ним. Или вы собираетесь оставаться здесь до скончания веков?

— Боюсь, — сказала Ева, — что скончание веков уже наступило.

Мужчины повернулись к ней. Ева стояла, вся подавшись вперед, глядя туда, где за лесом, едва проступавшим на левом берегу, в отдалении (за годы лес медленно, но решительно отступил от реки, которая вместо жизни — или вперемешку с нею — несла все более централизованную гибель; у деревьев, надо думать, есть какой-то свой инстинкт, и если каждое в отдельности уйти от опасности не может, то лес в целом такой способностью обладает, так же, как и противоположной: возвращаться, когда угроза миновала и враг леса — цивилизованный человек — оказался вынужден убраться прочь) — за лесом стоял город, и хотя отсюда не увидеть было и высочайшей из его кровель или башен, но и над ним должно было светить ночное зарево; однако сейчас в той стороне было совершенно темно, и для всех, исключая Милова, в этом было неестественное и страшное.

— Ни искорки, — сказала Ева почти жалобно. — Ни проблеска...

— Наверное, перебой с энергией, — успокоил Милов. — Это лучше, чем пожар.

— Знаете, господа, — неожиданно откровенно произнес Граве, — мне страшно. Не напрасно ли мы успокаиваем себя?

Ева вцепилась пальцами в его плечо, тоже напуганная молчаливым мраком, котсрого даже горящий поселок не мог одолеть.

Милов остался как бы в одиночестве. Он был чужаком тут, и не его город это был, и дела у него были свои, особенные, его спутников совершенно не касаясь. Наверное, пора было прощаться с ними и следовать своим путем; город пока его не интересовал, его очередь, города, должна была наступить позже. Надо было уходить, иначе он рисковал попасть в жестокий цейтнот. И все же что-то мешало вот так сразу повернуться и двинуться своим путем. Может быть, как раз потому, что был он здесь посторонним, он сохранял способность думать трезвее и, не имея пока никаких доказательств, как-то — нутром, что ли — чувствовал: что-то не так, не в отказе покупать капусту было дело, а значит, инцидент мог оказаться не единичным, и опасность, какой бы она ни была, далеко еще не миновала; интуиция говорила так, а он привык доверять ей. Он уже повернулся было, чтобы поторопить спутников, но те и сами вышли, наконец, из своей бездвижности.

— Я чувствую, как Лили зовет меня! — патетически сказал Граве. Дрожь его прошла, голос звучал едва ли не героически. Ева же, напротив, попыталась погасить волнение насмешкой.

— Bravo! — сказала она. — Вот заговорил мужчина. А вы, Дан, не спешите спасать свою благоверную? Туристы ведь ездят семьями. Где вы, кстати, ухитрились потерять ее? Или она предоставляет вам неограниченную свободу действий?

(Черт знает, что я говорю, — подумала она сама. — Зачем?).

— Я езжу один, — сказал Милов. — Догадался временно развестись — давным-давно.

— О, — сказала Ева, — куда только смотрят женщины? Какой шанс упускают! Ну, пора идти. Вы, надеюсь, с нами? — Это был даже не вопрос, но утверждение.

— С вами, — сказал Милов, прикинув еще, что до Центра добраться куда быстрее по шоссе, доехав на автобусе до перекрестка. — Во всяком случае, часть пути проделаем вместе, а уж там — помашу вам рукой на прощание.

— Значит, бросите нас на произвол судьбы, — сказала Ева.

Вместо ответа Милов протянул оба захваченных в пещере пистолета:

— Возьмите на всяких случай...

— Нет-нет, от этого избавьте, — сказал Граве и спрятав руки за спину. — У меня нет разрешения полиции на ношение оружия, и я не в праве...

— Давайте, Дан, — кивнула Ева.

— Справитесь?

— Ну, я современная женщина. Не беспокойтесь.

— Гм, — сказал Милов несколько смущенно и засунул второй пистолет в карман. — А я-то надеялся избавиться от лишнего груза. Господин Граве, вы можете получить его, как только попросите.

— Нет-нет. Очень вам благодарен, но... Обождите, господин Милф, нам же не в ту сторону! Мост — там!

— Знаю. Но вы уверены, что на мосту — чисто?

— А вам нужно, чтобы было подметено? — не утерпела Ева.

Милов усмехнулся:

— Простите, это жаргон... Понимаете ли, у меня есть сильное подозрение, что там не безопасно. Поверьте: охота на людей — старый, но вечно увлекательный спорт. Поэтому я предлагаю идти вброд.

Это говорилось уже на ходу; они все прибавляли и прибавляли шагу.

Трое шли, наискось приближаясь к воде, и Милов, как и в пещере, шагал впереди — уверенно, словно был гидом и не раз водил экскурсии по этим местам. Граве этого даже не заметил; торопливо переступил короткими ногами, он был душой уже весь в городе, у себя дома, рядом с Лили. Ева оказалась наблюдательнее: и потому, что была женщиной, и еще, наверное — ничья судьба не волновала ее настолько, чтобы совершенно отвлечь от реальности. Увязая каблучками в песке, она нагнала Милова и пошла рядом.

— Вы говорили, что впервые здесь, Дан?

— Так оно и есть. Что вас смущает?

— Слишком уж уверенно идете.

— Я опытный путешественник и заблаговременно изучаю местность по картам.

— И на них обозначен каждый брод?

Милов усмехнулся.

— Дан, вы...

— Что, Ева?

— Нет, ничего.

Милов замедлил шаг.

— Что такое? — Она невольно перешла на шепот.

Он ответил так же:

— Кусты на берегу. Стойте тут, я проверю.

Шагнул — и растворился в темно-серой мгле. Ева сразу стало зябко. Река плескалась совсем рядом, и в стороне — выше по течению — на поверхности воды играли блики: строенный из дерева поселок горел так сильно, что отблески пламени достигали даже реки. Граве стоял у Евы за спиной, громко сопя.

— Нет, нет, — вдруг сказал он в полный голос. — Все чужь. Нелепость. Земледельцы сошли с ума, но это еще не значит...

Ева, не поворачиваясь, нашарила его руку, стиснула до боли.

— Граве, смотрите... Видите?

— А что я должен увидеть, доктор?

— Да не вверх глядите, а на воду!

Что-то плыло по течению — темное, удлиненное, слишком маленькое, чтобы оказаться лодкой.

— Да, вижу. Какая-то колода, я думаю.

— Граве, я боюсь...

То плыл труп. Река несла его неторопливо, словно в торжественной похоронной процессии.

Милов возник неслышно, как и ушел.

— Идемте, — сказал он. — Тут спокойно.

— Дан, я не полезу в эту воду... в ней плавают мертвецы. Ужасно!.. Что это значит?

— Что убивают людей.

— Но почему, зачем?

— Боюсь, что мы это скоро узнаем. Мужайтесь, Ева, другого пути нет. — Он остановился у самого уреза воды, прислушался. — Тут.

— Ладно, — со вздохом проговорила Ева. — Только

на этот раз я пойду последней: уж очень густой загар ложится на голое тело от ваших взглядов.

Они медленно двинулись, слышался только легкий плеск, и лишь однажды Ева издала сдавленное «Ох!» — оступилась, видно, однако справилась и шла вместе со всеми, не отставая. «Вы осторожно, — тихо сказал Милов, — тут дно паршивое». «Это я уже поняла», — так же приглушенно отозвалась женщина.

Вода, которую они расталкивали сначала бедрами, потом грудью, казалось, стала еще жирнее, неприятнее на ощупь, чем была, в ней попадалось больше всякого плавучего мусора, потом проплыли еще два трупа, один — ближе к левому берегу, к которому они направлялись, другой проскользнул почти рядом: он плыл лицом вверх, но черты лица было не разглядеть, еще слишком темно было, и Милов лишь понадеялся, что это не тот был, чей снимок он видел и запомнил, кого нужно было встретить в Центре не далее, как утром, которое все приближалось. Милов ногой нащупывал место для каждого нового шага, середину они уже миновали — и вдруг с левого берега неожиданно и сокрушительно хлестким потоком голубого света ударил прожектор, уперся в правый, теперь уже дальний берег, подполз к воде, осторожно опустился на нее и начал высвечивать, но не равномерным сканированием, а рывками, зигзагами — видимо, управляли им люди неопытные. После едва ощутимой заминки Милов прошипел: «Нырять!» — настолько повелительно, что у спутников его не мелькнуло и мысли о неподчинении. Головы скрылись под маслянистой поверхностью, луч прошел мимо, хотя и под водой свет был так силен, что ощущался даже кожей. Ева, начав уже задыхаться, первой высунула голову, волосы ее повисли, словно водоросли, с них стекала вода, едва слышно журча. «Прощай, красота», — пробормотала она с печальной насмешкой. «Быстро к берегу!» — скомандовал Милов. Они зашагали, расталкивая воду теперь уже коленями, не стесняясь более шума: тут и сама река не молчала в неровностях берега. «Глаза щиплет», — пожаловалась Ева. «Надо было зажмуриться плотнее, тут вам не Майами Бич», — сердито выговорил ей Милов. — Ну-ка, давайте сюда». Они были уже на берегу, на песке, и Милов, повернувшись, подступил вплотную к женщине — она отчаянно терла глаза пальцами, но легче не становилось, — с силой отнял ее руки, взял голову Евы в ладони. «Да не жмурьтесь сейчас! — тихо прикрикнул он. — Раньше надо было, там, в воде!» Ева машинально положила руку на его плечо, он и не почувствовал вроде бы, приблизил свое лицо к ее, пегому от растекшегося грима (Граве возмущенно отвернулся и поспешил отойти подальше, происходившее выходило, по его мнению, далеко за всякие мыслимые пределы приличий) и стал языком вылизывать ее глаза, поминутно сплевывая. Она стояла покорно и еще секунду оставалась так, когда он уже отошел, и только после этого вдруг едва не захлебнулась дыханием, словно придя в себя. Граве в отдалении успел уже обтереться травой и теперь поспешно одевался, бормоча: «Господа, я сильно опасуюсь, что мы опоздаем...» Луч прожектора широко промахнул поверху, но теперь они его не боялись: они были внизу, под обрывом, а прожектор — высоко на берегу.

— Как фильм о войне, — сказала Ева, одеваясь. — А я думала, что такое никогда не повторится...

— Нет, — сказал Милов задумчиво, — на войну не похоже, но и на полный мир тоже. Трудно сказать, что происходит, но думаю, что мы не зря пренебрегли мостом.

— Я сейчас мечтаю о примитивной вещи, — сказал Граве; он приблизился к ним медленно, как бы опасаясь какой-то новой нескромности, что было бы, по его затаенному мнению, совершенно не удивительным: русский, американка — чего еще можно от них ожидать?... — Да, уж крайне примитивной: добраться до дому, поцеловать жену, лечь в постель, а утром, проснув-

(118) шись, узнать, что все это наваждение кончилось — и забыть раз и навсегда.

— А если я не хочу забыть? — подняла голову Ева. — А вы, Дан? Мне было хорошо, Дан, когда мы так стояли.

— Господа, — просительно сказал Граве, — сделайте одолжение... Мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно... Мы — спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем.

— Это заметно, — сказал Милов. — А сейчас ведите нас, Граве.

Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал — зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принахался.

— Бензин? — предположил он вслух.  
— Ну вот, пора подняться, — вместо ответа проговорил Граве. — Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф — я плохо вижу при таком свете.

— Обождите, — Милов медленно прошел вперед. — Кажется, вот она. Да, похоже.

— Да, — сказал Ева, — а тропинок на вашей карте не было?

— Таких — нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто. Через минуту-другую они вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса не оказалось.

— Придется, видимо, немного подождать, — сказал Граве. Он взглянул на часы. — Нет, не разберу... Однако я уверен, что автобус еще не проходил.

— И не пройдет, — ответил Милов невесело. — Глядите.

Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.

— Вот откуда бензином пахло, — сказал Милов.

— Что же нам делать? — растерянно проговорил Граве.

— Идти пешком.

— Смотрите, и столбы повалены, — сказала Ева трезво.

— Похоже, это не только капуста, — проговорил Милов. — Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее.

И они двинулись быстрым шагом.

— Вы не могли бы помедленнее? — попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла босиком. — Тут все колется, — объяснила она, — и мне надоело прыгать, как горной козочке.

— Я не узнаю Намурии... — проговорил в ответ Граве с искренним трагизмом в голосе.

И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникло по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам — хотя многое, в общем, и соответствовало действительности. В таких странах, как Намурия — да в любой, и не только европейской или североамериканской даже — признаки машинной цивилизации давно уже проникли в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, в каких росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов — в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они — провода, толстые, силовые, а на столбах пониже держались телефонные и телеграфные, а если

«Аэлита»-90

мачт с проводами не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону — плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов — немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже — советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетающихся во всех направлениях ради дела или прихоти. Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще было не понять. Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машины не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то — мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом электрическими и электронными приборами, от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без какого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал это все как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам — и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками; что же удивительного в том, что нелегко было ей ступить босиком.

— Господи, Ева! — воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. — Нельзя же так! Где ваши туфли?

— Где прошлогодний снег, — она старалась еще шутить.

Милов снял свои туфли, носки.

— Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь — носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.

— Вот еще! — сказала она. — У меня двадцать три с половиной, а у вас...

— Двадцать пять, — сказал Милов, — набейте в носы травы, или вот вам тряпка...

— Я, к сожалению, не могу помочь, — сказал Граве, — у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?

— Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно — и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках — это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.

— И почему я не отказалась от ваших ботинок наотрез? — усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение — словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете — впервые. И тут она неудержимо, звонко расхохоталась:

— О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно...

Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, зазальной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.

[119]



«Аэлита» 90

— Да в чем дело? — Милов уже готов был обидеться.

— Галстук, Дан, ваш галстук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?

Галстук у Милова, теперь уже хорошо видимый в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату, таких давно уже никто не носил, он бросался в глаза еще и редкой по безвкусию расцветкой — громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними — райской птицей всех цветов радуги...

— Это у вас там делают такие? Снимите, Дан, ради Бога, иначе я просто не выживу — смех убьет меня!

— Ни за что! — сказал Милов торжественно. У него и в самом деле были причины не снимать эту часть экипировки — до поры, до времени во всяком случае. — И не просите: я дал обет носить его, и не могу от этого отказаться. Проиграл пари, понимаете?

Пари — дело святое, это Ева знала. И, отсмеявшись, уступила. Встала, прошла два шага, вернулась.

— Что же, вполне приемлемо. Спасибо, Дан. Хотя если вы ждете, что теперь я понесу вас на руках, то не надейтесь напрасно: и не подумаю.

— Если вы готовы, доктор, то идемте, — поторопил Граве. — Мне кажется, мы теряем очень много времени.

— А вот мне кажется, нужно еще помедлить, — неожиданно возразил Милов. — Там, впереди, по-моему, автобусный павильончик еще не разгромили, давайте посидим там и немного подумаем.

— О чем думать? — не понял Граве. — Пора домой!

— Да вот хотя бы об этом, — Милов повел рукой округ. — О том, что все это должно означать. Или вы по-прежнему думаете, что это не более, чем капустный бунт?

Граве еще поколебался — видимо, всякая задержка сейчас вызывала у него даже не досаду, а просто злость. Но шагать дальше одному, надо полагать, улыбалось еще меньше.

— Хорошо, — буркнул он наконец. — Но сделайте одолжение, думайте побыстрее. Только почему для этого надо забираться в будку?

— Дорога, может быть, просматривается, — сказал Милов, — и движущийся предмет легче заметить. Если же мы сосредоточимся только на наблюдении...

— Ну, хорошо, хорошо. Идемте.

До павильончика дошли без приключений. Скамья в нем сохранилась — была она каменной.

— Очень уютно, — сказала Ева. — Ну, Дан, начинайте. И постарайтесь успокоить нас, потому что от вида этой дороги мне хочется плакать.

— Согласен, — сказал Милов. — Поделюсь своими мыслями. Нет, тут не вспышка фермерского гнева. Тут что-то куда более серьезное. Господин Граве, вы — местный житель, вы лучше знаете свою страну, чем, вероятно, Ева, и во всяком случае, чем я. Что, по-вашему, могло произойти? Внешне это напоминает некий эмоциональный взрыв, причем тут действовали не одиночки, а масса: даже банде хулиганов сотворить такое не под силу, по-моему, за всем этим чувствуется какая-то организация. Тут творилось не просто бесчинство. Вы обратили внимание? Ни одно деревце не сломано, ни один куст не помят; только изделия рук человеческих, и тоже не всякие. Я насчитал восемь электрических утюгов — и ни одного простого, полдюжины разбитых стиральных автоматов — и ни единого корыта...

— Да их наверняка давно уже не осталось! — сказала Ева.

— Может быть. Но вот журналы на дороге нам попадались только связанные с техникой, а не, скажем, с порнографией...

— У нас нет таких, — хмуро сказал Граве.

— Я чувствую, это звучит неубедительно — но дело в том, что я стараюсь перевести на язык доказательств

(120) то, что ощущаю интуитивно... Хорошо, не стану доказывать, скажу только о моих наблюдениях. Я не очень хорошо разбираюсь в намурском и совсем не знаю фромского; однако, мне кажется, и журналы, и газеты — обрывки их — попадались тут на обоих языках. Если бы не это, я предположил бы, что речь идет о национальном конфликте: по слухам, между намурами и фромами вовсе не всегда царят мир и согласие...

— Это и неудивительно, — сказал Граве. — Мы, намуры — народ работящий, тихий, законопослушный; кроме того, мы живем на этой земле столыко, сколько себя помним. Фромы же появились тут каких-нибудь четыреста лет назад; это пришлый народ, работают спуска рукава, зато любят повеселиться, да... Не возьмусь утверждать, что мы с ними всегда ладим. Но чтобы дело дошло до такого... — Он пожал плечами.

— Намуры и нас, ичостранцев, не очень любят, — сказала Ева. — Но в действиях это, насколько могу судить, никогда не проявлялось. Я всегда чувствовала себя тут спокойно, как и во всякой цивилизованной стране. Теряюсь в догадках...

— Вот вы оба, — сказал Милов, — были свидетелями, даже участниками этого... назовем его инцидентом в поселке. Наверное ведь люди, ворвавшиеся к вам, что-то говорили, даже кричали, может быть. А вот что?

— Нет, конечно, они вовсе не молчали, — подтвердила Ева. — Один из тех, что вторглись в дом моего приятеля, сказал мне очень даже выразительно: «А ты, цыпка, сейчас получишь массу удовольствия, ручаюсь».

— Гм, — неопределенно сказал Милов. — Ясно, однако не совсем на тему. А что слышали вы, господин Граве?

— Ну, я не возьмусь передать дословно и признаться, был достаточно взволнован, чтобы... Но смысл был примерно таков: умные головы, погодите, мы вам еще не такое покажем, убийцы очкастые... Да, нечто подобное. Были и другие выражения, но они — не для женского уха.

— А вот это уже ближе к сути дела, — сказал Милов. — Ведь Намурия, господин Граве, страна промышленная, не так ли?

— О, да! — ответил Граве, и в голосе его прозвучала гордость. — Наши изделия известны во всем мире. Наша электроника, наша химия — мы успешно конкурируем с Америкой, Японией, Германией...

— И природа при этом гибнет, — закончил за него Милов.

— Что верно, то верно, — сказала Ева. — Найти зеленое местечко стало почти невозможно. А даже я еще помню...

— Вам легко говорить это, доктор, — Граве, казалось, несколько обиделся. — А что творится у вас дома?

— Бордель, — сказала Ева. — Но мы спохватились раньше вашего. Уже почти во всех штатах приняты законы... Как и у вас, Дан, по-моему...

— Ну, у нас принятие законов — фактор скорее тревожный, — усмехнулся Милов. — Мы ничего не умеем так хорошо, как обходить законы, и если до их принятия нарушаем правила кое-как, то после — начинаем делать это уже профессионально. Правда, я уже некоторое время не бывал дома, и что там сегодня — могу только представлять...

— Все путешествуете, — сказал Граве.

— Все путешествую, — подтвердил Милов. — У вас же, Ева, насколько я понимаю, просто сильно возросли цены за убийство природы — как охота на львов стала обходиться дороже, когда их осталось мало. Цены возросли, но охота не прекратилась. Ну, а тут, в вашей стране, господин Граве...

— У нас, — сухо проговорил Граве, — происходит то же, что и везде. Мы вовсе не желали и не желаем отставать от уровня цивилизации. Да, конечно, есть издержки — но наше демократическое общество успешно протестует. Партия Зеленых — вам о ней, разумеется,

известно,— уже прочно утвердилась в парламенте и активно действует. Наши молодые защитники природы предприняли у берегов Новой Зеландии...

— А, ну, это, конечно, колоссально,— согласился Милов.— Судьба Новой Зеландии, безусловно, должна волновать вас безмерно. Ну, а на берегах вот этой реки — Дины, кажется, я верно назвал — что они сделали?

— Я полагаю, немало,— сказал Граве.— В частности, даже Научный центр вынужден платить немалые штрафы...

— Все верно,— согласился Милов.— Зеленъ исчезает в природе, но вместо зеленых листьев возникают зеленые бумажки на банковских счетах. Вы никогда не пробовали приготовить салат из двадцатидолларовых бумажек? Свою валюту я не предлагаю... У нас зеленые только трешки, их нужно очень много, чтобы насытиться. Скажите: вот то, что происходило и в поселке, и, видимо, тут, на дороге, и может быть, сейчас творится еще где-нибудь — не могло ли все это произойти, как реакция на уничтожение природы? Понимаете ли, если убийца ближнего вам человека осужден или даже приговорен к смерти — разве убитый воскресает? Разве возмещается ваша потеря? Почему в вашей стране, Ева, в свое время существовал суд Линча, а у нас — так называемый самосуд? Потому что или не было судебной власти, или на нее не надеялись. Так сказать, прямое волеизъявление жителей. И для того, чтобы оно возникло, порой достаточно бывает одного-единственного события, даже не самого важного...

— Такое событие было,— сказала Ева хмуро.— Еще один случай ОДА. Как раз вчера. И нужно же было, чтобы ребенок оказался дочерью Раstabелла.

— Я слышал эту фамилию,— сказал Милов.— Но это не здешний министр-президент. Кто он?

— Общественный деятель,— сказала Ева.

— Сказать так — ничего не сказать,— обиделся Граве.— Раstabелл — это наш голос, звучный и неподкупный. Он всегда говорит о том, что больше всего сейчас. А ныне — вы правы, Милф,— природа болеет у нас больше всего. За Раstabеллом идет народ и пойдет дальше, куда бы он ни повел. Вполне можно предположить, что народ, узнав о несчастье, постигшем его любимца, и справедливо полагая, что корень зла — в засилье современной технологии... м-м... несколько нарушил общепринятые нормы поведения...

— Ну, что же,— сказал Милов задумчиво.— Тогда, пожалуй, можно уже понять, что происходит — пусть это и кажется невероятным: научно-техническая контрреволюция, если хотите. По-моему, точнее не определить.

— Ну, господин Милф,— сказал Граве,— вы видите вещи в слишком мрачном свете. Это у вас в национальном характере?

— Да нет, напротив,— сказал Милов, хотя можно было и не отвечать — просто пожать плечами.— Мы ужасные оптимисты, иначе давно наложили бы на себя руки.

— Странный оптимизм,— недоверчиво покачал головой Граве.— Допустим, я принял ваше предложение и поверил, что жители целой округи набросились на жителей поселка — в основном ученых — чтобы таким способом выразить свое отношение к... к тому вреду, который цивилизация вынужденно наносит природе. Я согласен, что наше правительство в области экологических проблем вело себя не лучшим образом, что, безусловно, отразится на результатах ближайших же выборов. Но ведь это не только у нас, мистер Милф, это происходит действительно во всем мире — и нигде люди не свирепеют, не накидываются на других, не валят столбы, не сбрасывают в реку автобусы...

— Еще немного, Граве,— сказала Ева,— и вы убедите меня в том, что автобус сбросили мы с вами.

— Простите, доктор, не могу принять вашей шутки: для меня все выглядит достаточно серьезно, чтобы не

сказать более. Я лучше знаю нас с нашим национальным характером, чем вы,— о господин Милфе я уже не говорю. И вот что я утверждаю: произошел инцидент, да; но не надо сразу же давать ему громкие названия, эпизод есть эпизод, и если пошел дождь, даже сильный, не надо спешить с заключением о начале потопа!

— Лавина может начаться с одного камушка, разве не так? И почему бы этому событию не оказаться таким вот камушком? А лавина — это и есть та самая НТ-контрреволюция. Кстати, вы не замечали, что у революции проявляется тенденция — завершиться собственной противоположностью?

— Не изучал революций,— буркнул Граве.

— Точно так же жизнь кончается смертью,— неожиданно серьезно молвила Ева.— Что удивительного? Все в мире приходит к своей противоположности.

— Революция! — проговорил Граве сердито.— Я этого слова никогда не любил, потому что оно означает нарушение порядка, то есть мешает жить и заниматься делом. Но почему? Неужели нельзя обойтись без этого?

— В общем, потому,— ответил ему Милов,— что революция чаще всего не знает своей цели, хотя и провозглашает ее; вернее, она не знает, достижима ли цель принципиально, реальна ли она; следовательно, и пути к цели она знать не может и лишь совершает простейшие и не всегда логичные действия, уповая на то, что нечто получится. Но чаще всего выходит совершенно не то, что хотелось и думалось. Потому что к людскому обществу чаще всего относятся так же, как и природе: оно неисчерпаемо, все стерпит и потому — вперед, без оглядки! А общество, как и природа, несет потери и что-то теряет безвозвратно.

— Это ваше общество,— сказал Граве с раздражением,— хваталось за оружие, когда его морили голодом, лишали свобод — хотя даже и при таких условиях далеко не всегда... Но наше общество! Сегодня! Нет, это лежит за пределами здравого смысла. Мы живем в прекрасной, мирной и благоденствующей стране, где нет ни одной хижины, куда не была бы подведена горячая вода!

— Вот в ней-то могут утопить каждого, кого сочтут виновным. Вы не хотите понять, Граве. Потому что люди прежде всего нуждаются не в горячей воде. И не в автомобилях, тряпках или космических кораблях. Им куда нужнее другое. Жизнь. Когда люди начинают понимать, что все блага жизни они получают за счет этой же самой жизни, и сами люди живы лишь до тех пор и потому, что живым остается это живое — вот тогда революция,— я имею в виду нашу с вами научно-техническую, великую протезную революцию,— вот тогда она и обращается в свою противоположность, а мы с вами встречаемся в пещере и стараемся унести ноги подобру-поздорову...

Граве явно нужна была поддержка.

— Доктор, надеюсь, вы-то не разделяете взгляды нашего спутника? Вам, жителю цивилизованной страны, было бы непростительно делать столь экстремальные предположения: будто у нас может произойти нечто... подобное.

— Ну, если говорить серьезно,— не сразу ответила Ева,— мне, откровенно говоря, страшно не хочется говорить серьезно, мне спать хочется... Но раз уж затеяли серьезную беседу. Мы, медики, кое-что начали понимать всерьез и раньше. А биологи — еще раньше нас. Начали... Но понимание, мне кажется — это не миг, не прозрение, это влюбиться можно мгновенно... а понимание — процесс длительный. Хотя для начала нужен какой-то толчок... вроде нашей ОДЫ.

— Это нервы, только нервы,— сказал Граве.— За последние десятилетия человечество выиграло великую битву — против ракет и ядерных головок. Мы победили без крови. И это настолько грандиозно, что на то,

что вас беспокоит как врача, я смотрю, как на относительно мелкие неприятности.

— То была первая холодная война,— сказал Милов.— А сейчас мы вступили во вторую, и она будет посложнее. Потому что тогда воевать приходилось в основном с предрассудками, амбициями политиков и военных, ложными понятиями престижа, просто упрямством, порой — тупоумием, интересами военной промышленности, но тут можно было победить, потому что в глубине души все были согласны с самого начала: уж очень конкретной выглядела смерть. Как в авиакатастрофе: если вы падаете с неба — надежды не остается. Вот мы и выиграли. А сейчас идет та же самая битва за выживание. Но если там враг был конкретен, оружие можно было при случае увидеть и потрогать, то сейчас все неопределенно, опасность не концентрируется на десятке или сотне военных баз, она в нашем гараже, холодильнике, тарелке, стакане, она везде. И понял это, человек хочет возвращения к первозданной чистоте воздуха, воды, пищи — но еще не согласен жертвовать ради этого всем комфортом, и пока он торгуется со смертью — процесс идет...

— Не согласен,— решительно объявил Граве.— Не могу признать, что мы ничего не сделали для устранения опасности. Да вот хотя бы: супруг доктора, господин Рикс, человек у нас весьма уважаемый и не раз оказывавший стране услуги, не получил разрешения правительства на создание тут, у нас, какого-то своего предприятия — оно оказалось неэкологичным, и парламент... Впрочем, доктор наверняка знает все это значительно лучше меня.

— Ничего я не знаю,— сказала Ева, нахмурившись,— и не желаю знать, мы занимаемся каждый своими делами... Видите, мы снова пришли к разговору о смерти; однако это будет уже не падение с высоты, это будет рак, и та его форма, которую излечивает только нож. Рак — это не только Лестер, это и мы с вами, Граве, и еще миллионы умных, образованных, деятельных людей. Мы упустили миг, когда цивилизация из доброкачественной начала перерождаться в раковую.

— Вот именно,— подхватил Милов.— А ведь если больной понял, что у него — скверная опухоль, и хирурга нет — он согласится, чтобы ее хоть топором удалили, и пусть это сделает хоть дровосек — иначе смерть... И вот процесс понимания этого шел достаточно давно, и ему помогали — журналисты, парламентарии, гуманисты, проповедники...

— Уж лучше бы они молчали,— вздохнул Граве.— Конечно, свобода печати — великая вещь, однако порой...

— Наоборот: надо было договаривать до конца. Кричать: рак не проходит от аспирина! Мы гуманно предупреждаем каждого курильщика: гляди, парень, наживешь себе рак легких! Но курить не запрещаем: насилие над личностью, да и все же доходная статья... Точно так же пытались предупредить человечество — но никто не попытался что-то сделать всерьез. Очищение? Но сигарета с фильтром не становится безвредной, верно? Курильщик скажет вам: бросить трудно, привычка, потребность... Так же и человечество: оно привыкло, у него есть потребность во всем, что дает современная цивилизация. Но ведь и наркотик становится потребностью! Так что если в результате начинаются серьезные осложнения, или, как теперь любят говорить, непредсказуемые события — хотя на самом деле они легко предсказуемы, — то единственное, что можно сделать, это выбрать: на чьей ты стороне.

— Как легко рассуждать, господин Милф,— сказал Граве холодно,— когда горит дом соседа... Интересно, а что бы вы сделали, происходи это у вас дома?

— Я бы бы с теми, кто за жизнь,— сказал Милов,— жизнь ценю комфорта, а не наоборот. Я не из самоубийц. И думаю — вы, господин Граве, тоже. Хотя — вы ведь не верите, что здесь, у вас, может происходить что-то серьезное...

(122)

Граве промолчал.

— Видимо, автобуса не будет,— сухо произнес он затем.— Что же, идемте. К сожалению, мы потеряли немало времени.

— Пешком в город? — воскликнула Ева.— Даже если мы и дойдем, то в лучшем случае к вечеру...

— Важно дойти до перекрестка,— сказал Граве.— Тут мы в стороне, но между Центром и городом какое-то движение наверняка существует; остановим первую же машину...

— Дан, придумайте что-нибудь,— сказала Ева.— Понимаете, я все-таки ухитрилась стереть ноги на этой дороге, и не знаю теперь...

— Все очень просто,— сказал Милов.— Вы вдвоем оставайтесь пока здесь. Я доберусь до перекрестка и первую же попавшуюся машину пригону сюда.

— Вы полагаете, водитель согласится? — на всякий случай спросил Граве.

— Я его очень попрошу,— сказал Милов.— Так, чтобы он не смог мне отказать.

Да нет,— подумал Милов.— Я здесь человек посторонний, я не нахожусь в состоянии войны с этой страной, что бы тут ни происходило. Значит, если он просит меня подойти — подойду спокойно и вежливо...

Это было, когда он уже приближался к перекрестку и шел открыто, по дороге, не канавой и не придуманным кустарником; шел так, чтобы не вызвать никаких подозрений у возможного наблюдателя; такой наблюдатель мог существовать — давний и многогранный опыт подсказывал это. Вооруженный человек возник внезапно — появился из-за толстого дерева, до которого Милову оставалось еще шагов двадцать; на человеке был солдатский комбинезон, только вместо погонов на плечах были дубовые листья — суконные или пластиковые, отсюда не разглядеть. Придерживая правой рукой висевший на плече и направленный на Милова автомат, человек махнул левой, подзывая:

— Ты! Ну-ка, сюда!

Это было сказано по-намуруски: тексты такой сложности Милов понимал без напряжения. И повернул чуть наискось, пересекая полотно дороги — спокойно и вежливо, даже с доброжелательной улыбкой.

— Стоять!

Три метра,— привычно определил Милов дистанцию. Остановился, уже не улыбаясь, но взгляд выражал полное спокойствие.

— Руки за голову!

Пистолет — тот, что в кармане,— он заметит сразу, если только не совершенный младенец. Однако, судя по его повадке — опытный парень. Руки за голову? Да пожалуйста, сколько угодно...

Милов послушно охватил ладонями затылок.

— Повернись спиной!

— Послушайте,— сказал Милов медленно, стараясь подобрать слова поточнее и ставить их в нужной форме,— я тут случайно, ни в чем не участвую, у меня больная женщина...

— Спиной! — теперь вооруженный крикнул с явной угрозой и шевельнул автоматом.

Пуля в спину — не очень приятно,— подумал Милов, поворачиваясь,— однако без всякого повода стреляет только маньяк, а этот вроде бы не похож... Нет, надо сохранять спокойствие до последнего... — и все же почувствовал, как пот проступает на спине; не любил Милов таких положений.

— Ты фром? — услышал он сзади; судя по голосу, человек оставался на том же месте.

— Я иностранец,— ответил он, чуть повернув голову — чтобы тому было слышнее, но и затем еще, чтобы видеть его уголком глаза.— Турист.

— Еще один,— проговорил вооруженный мрачно.— Чужак. Слишком много чужаков развелось в Намурии,



налетело, как на пададь. Но мы еще живы... Что у тебя там в кармане? Может, фотоаппарат?

— Могу показать,— ответил Милов.

— Руки! И не шевелись, если хочешь пожить еще хоть немного!

Вооруженный шагнул вперед, теперь до него осталось около метра. Левая рука его была вытянута, чтобы сразу залезть Милову в оттопыренный карман; подходил он не прямо со спины, а чуть справа. Опытный,— подумал Милов,— но у меня-то опыта побольше, так что давай лучше поговорим на равных...

Он крутанулся на левой пятке, ударил правой ногой — руки снимать было некогда. Как и ожидал Милов, тот запоздал с реакцией на долю секунды — пуля прошла рядом. Когда такой удар наносит нога в тяжелом армейском ботинке, человек больше не поднимается; Милов был босиком, да и не хотел он убивать, старался только, чтобы самого его не убили. Противник лишь согнулся вдвое от боли; Милов сцепил пальцы вместе, рубанул.

Что же мне с тобой делать? — размышлял он, глядя на скорчившееся у его ног тело. — В канаву? Захлебнешься... Вот оружие придется позаимствовать: наверное, ты тут не последний такой... Значит, иностранцы тут нынче не в чести... — Он нагнулся, ухватил лежащего под мышку, оттащил к дереву; тот, с закрытыми глазами, судорожно дышал. Милов распустил ему ремень, чтобы легче дышалось, потом взглянул на добротную армейскую обувь. Милов колебался несколько секунд: мародерство было ему противно. Придется все же считать это трофеем, — схитрил он сам перед собой, — ему теперь спешить некуда, а у меня полно дел... — Он расшнуровал башмаки, надел — были они номера на два больше, однако босиком по стеклу было куда хуже. Так, — подумал он затем. — Ну, лежи, приходи в себя, да поучись, когда очнешься, вежливее обращаться с прохожими, тебя не задевающими...

Он успел сделать шагов десяты; инстинкт заставил его резко обернуться. Тот, под деревом, лежал, опираясь на локоть левой руки, правая резко, пружинно распрямилась, свистнул нож. Бросок был хорошим, острая скользнула по щеке. Милов не успел ни о чем подумать — пальцы сработали сами. Тот, в комбинезоне, дернулся, откинулся на спину.

— Ну, где он там? — пробормотала Ева. — Мог бы и вспомнить о нас.

— Странный человек, вам не кажется, доктор? Некоторые его ухватки заставляют подумать... Впрочем, не знаю.

— С ним что-то случилось, — сказала женщина. — Надо что-то делать. Идти на помощь, может быть.

— Осмелюсь предположить: ничего с ним не случилось. Просто остановил на дороге машину и пустился по своим делам. В конце концов, он не обязан...

— Перестаньте, Граве, — произнесла Ева таким тоном, что у инженера пропала охота продолжать. — Оставайтесь, если вам страшно, а я пойду.

— Лучше уж всем вместе, — услышала она сзади.

— Дан! Откуда вы взялись?!

Он подошел совершенно бесшумно — вынырнул из-за автобусной будки и остановился, чуть усмехаясь. Щеку его пересекала свежая царапина, на груди висел автомат.

— Почему так долго? — спросила Ева, и в голосе ее промелькнула капризная нотка. — Мы уже боялись за вас. Особенно Граве.

— Нет, — сказал Граве, — доктор и тут не уступала первенства.

— Стоял на перекрестке, хотел дождаться машины...

— Откуда у вас это... оружие? — строго спросила Ева.

— Нашел, — очень серьезно сказал Милов. — Оно там валялось, я и подобрал.

11231 — А оно стало сопротивляться и оцарапало вам лицо?

— В этом роде.

— Постойте. Царапину надо прижечь. У меня есть... Она выудила из сумочки флакончик. Попрыскала. Странный, горьковатый аромат расширил Милову ноздри, заставил глубоко вздохнуть воздух.

— Чистой воды «Березка», — определил он.

— Не знаю, что вы имеете в виду, Дан. Это парижские...

— Нет, это у нас такая терминология, Ева... Так вот, дорогие спутники: машина нам пока не светит. Придется все же двигаться самым примитивным способом: пешком.

Ева вздохнула.

— Если вы не побежите слишком быстро, буду вам очень благодарна.

— А знаете что? Давайте-ка, я понесу вас! — Милов вдруг понял, что ему очень хочется взять ее на руки.

— Нет, Дан, я привыкла стоять на своих ногах. Как вы думаете, эту воду можно пить? У меня пересохло горло...

Милов отрицательно покачал головой. И не только потому, что в этой же канаве, только там, подальше, лежал труп.

— Ева, вы же врач, сами понимаете, что нет. Эту воду пусть пьют наши враги.

— Где же найти другую?

Милов завел руку за спину, а когда вытянул — в ней была плоская фляжка.

— Пейте, отважный доктор. А вы, господин Граве, наверное, не отказались бы от чего-нибудь покрепче? Вот, держите.

— Как вам удалось раздобыть это, господин Милф?

— Я же говорил вам: на этой дороге можно найти все, что угодно.

— Что-то очень крепкое, — Граве вытер губы.

— Из солдатского репертуара. Ну, что же: вперед! На шею паруса сидит уже ветер!..

Теперь можно было идти смелее, но Милов тем не менее внимательно наблюдал, не отвлекаясь на разговоры. Солнце поднималось все выше, изредка налетали порывы ветра, и тогда по дороге, навстречу идущим, с шуршанием бежали клочья бумаги, сухие листья; порой ветер приносил отзвуки непонятного гула. Идти приходилось все медленнее — Ева уже явственно прихрамывала, но на новое предложение Милова — взять ее на плечи — лишь отрицательно качала головой, и Граве заметно нервничал: видимо, непонятное всегда раздражало его, беспокоило, выводило из себя. Человек регламента, — подумал о нем Милов, — таким приходится трудно, когда часы начинают показывать день рождения бабушки. Приободрить бы его немного, а то он ведь и женщину до города доставить не сможет...

— Ничего, господин Граве, — весело молвил он, — не унывайте, ничего плохого ведь, по сути, не происходит. Помните: мало ли что бывало в двадцатом веке: войны объявленные, войны необъявленные, войны внутренние... и ничего — живем!

— Может быть, в вашей стране к этому и привыкли, — нехотя ответил Граве, — у вас, действительно, чего только не бывало...

— Вот тут вы не совсем правы: на экологической почве у нас как раз до такого не доходило. Пока, во всяком случае.

— Видимо, вы все же бережнее относитесь к природе?

— Я бы этого не сказал, — усмехнулся Милов.

Природу мы душили не меньше вашего, а может быть, и больше. Беда в том, что у нас и так было слишком много запущенных болезней — и наших собственных, и ваших недугов, которые мы усваивали, добиваясь ваших успехов. Так что об этом нашем общем, всепланетном раке, — ваше сравнение, Ева, кажется мне очень

точным, — мы думали никак не больше вашего, а действовали, пожалуй, меньше — хотя поразговаривали, безусловно, вдосталь, что есть, то есть. Но ведь рак не из тех болезней, которые можно заговорить. А у нас еще и традиция сработала: ждать, пока вы начнете, чтобы на вашем опыте убедиться, что дело стоящее... Давняя привычка: во всем, кроме политических экспериментов, начинать вторым номером, за вами — чтобы было, кого догонять. Вот если бы мы с самого начала сказали себе и всему миру: не догонять то, что устремлено в тупик не по социальной своей структуре, но из-за в корне неверного отношения к обитаемой нами планете, не догонять, а — идти другим путем! Строить иную цивилизацию, а не другую общественную или государственную форму в рамках все той же, технологической, которая и по сути своей более ваша, чем наша — потому что вашим способом жизни она и порождена. Иную цивилизацию! Подите-ка решитесь! А ведь больной канцером — он, как известно, старается в него не верить: верить страшно, тогда надо начинать о душе думать!.. И мы утешаемся: ну, какой там рак, это язвочка, гастритик какой-нибудь, ну, попьем таблеток, в крайнем случае — лучевую терапию, но и это уже из чистой перестраховки, только чтобы домашних успокоить. Да и времени нет болеть, работа продохнуть не дает! И ведь верно, есть работа, есть — а новообразование разрастается, а жизнь гибнет, вся планета гибнет, а безотходная технология — это то самое лекарство от рака, хотя и не стопроцентное, которое изобрели бы — да больной раньше помрет... Но вот приходит мгновение, когда больной вдруг понимает: нет, не язва, не воспаление какое-то — это он, кого и называть страшно. И наступает сумятица, потому что глубокий, животный страх только к ней и приводит. И от смертельного ужаса, конечно, многое может возникнуть: и кровь, и погромы — бей ученых, вон до чего довели, бей инженеров — понастроили, позатопляли, поизуродовали, бей начальство — докомандовалось, довело до ручки. А уж заодно, конечно — бей инородцев, или инверцев, или жидомасонов, или там черных котов — опыт-то во всем этом есть, он едва ли уже не в генетической памяти сидит...

Милов перевел дух и почувствовал: говорить больше не хотелось; достаточно уже сказал. Да и времени не осталось.

— Однако, прекрасные мои спутники, вот мы и пришли!

— Слава Богу, — пробормотал Граве.

Они стояли на том самом перекрестке, на котором уже побывал Милов. Сейчас тут было спокойно, никто не мешал осмотреться и решить, как быть дальше.

Продолжение дороги, что вела от моста — по этой дороге они пришли сюда — уводило к лесу: левая дорога шла к Научному Центру, правый поворот — к городу. По-прежнему не видно было ни одной машины, только на правой дороге, метрах в двухстах отсюда, сбоку что-то чернело, словно бы машина сорвалась с дороги и теперь лишь багажник торчал из кювета.

— Это новое, — сказал Милов скорее самому себе; однако английский вошел уже в привычку, и сказано было по-английски, так что остальные поняли. — Когда я здесь был, ее не было.

— Значит, все-таки проезжают машины, — проговорил Граве таким голосом, словно ему было все равно: ездят они, или нет.

— Вы могли просто не заметить, Дан, — сказала Ева.

— Не заметить я не мог, — ответил он, внутренне уязвленный. Впрочем, для нее он ведь до сих пор оставался лишь туристом; турист, понятно, мог бы и не заметить. — Да ладно, не все ли равно — есть она или ее нет? — Он взглянул на часы. — Ну что же, как принято говорить в таких случаях — был рад познакомиться, сохраню о вас лучшие воспоминания.

(124) — Что это значит, Дан? — вопрос Евы прозвучал и тревожно, и высокомерно. — Вы что, собираетесь бросить нас тут?

Вы меня способны оставить — вот как следовало понимать фразу; Милов, однако, в этом был глуховат.

— Я ведь с самого начала предупредил: мне нужно быть в Центре — там меня ждут...

— Вы... — сказала Ева. — Вы...

Она не договорила — резко повернулась и, даже почти не хромая, быстро пошла прочь, чтобы, наверное, не сказать лишнего, пошла, не разбирая пути, скорее всего инстинктивно, к толстому дереву — укрыться, может быть, за его стволом и там дать волю слезам. Милов глядел ей вслед; он был несколько удивлен, не понял происходящего и поэтому спохватился не сразу.

— Ева! Пойдите, Ева!

Она, не оборачиваясь, махнула рукой, сделала еще два шага — и увидела. Как схваченная, остановилась. Поднесла ладони к щекам. Медленно повернулась. Глаза ее были широко раскрыты и неподвижны.

— Что это? Дан, что это?

Он, тяжело ступая, подошел к ней.

— Это вы его?..

Милов пожал плечами.

— Напал он. Вот и... так получилось. — Он не ощущал вины, но понял вдруг, что это был, возможно, первый убитый, увиденный ею в жизни.

— И у вас поднялась рука?

— А вам бы хотелось, чтобы тут лежал я?

Ева лишь медленно покачала головой, пошевелила губами, но не произнесла ни слова.

Граве подошел, остановился и тоже стал смотреть на убитого.

— Он напал на вас, вы сказали? Но почему?

— По-моему, ему не понравилось, что я иностранец и плохо говорю по-намурски. Может быть, он решил, что я — фром.

— Не могу верить, — сказал Граве, в голосе его слышалась неприязнь. — Вы, надо полагать, наслушались о нас всякого вздора... Вот доктор Рикс тоже иностранка — разве она когда-либо чувствовала на себе чью-то неприязнь по этой причине?

— В наше время все меняется быстро, — сказал Милов почти механически, задумавшись совсем о другом. — Вы, помнится, сказали что-то о дубовых листьях — у тех, кто напал на поселок?

— В этом нет ничего страшного, — ответил Граве. — Символ «воинов природы» — есть у нас такое движение, его возглавляет господин Раstabелл. Однако я сомневаюсь, чтобы те люди...

— Минутку, господин Граве. У них такая форма — солдатские комбинезоны?

— Ну что вы, никакой формы у них нет, да и оружия тоже, это гражданское движение, совершенно мирное. А этот... этот, мне кажется, из волонтеров.

— Также защитники природы?

— Я мало что о них знаю. Так, слышал краем уха, что возникла такая организация — из бывших солдат в основном.

— Мещерски, — сказала Ева неожиданно; до этого мгновения она, казалось, даже не прислушивалась к разговору. — Это его отряды. Лестер хорошо знаком с ним.

— Господин Лестер Рикс, — произнес Граве торжественно, словно церемониймейстер. — Муж доктора.

— Их девиз — «Чистая Намурия», — дополнила Ева.

— Ну, что же, — сказал Милов. — Это уже яснее.

— Извините, доктор, — сказал Граве, — но все это лишь досужие разговоры. Волонтеры никогда не вступали в конфликт с властями. И вас, господин Милф, я призываю не делать поспешных выводов. Лучше подумайте вот о чем: вы, вольно или невольно, убили человека, гражданина Намурии, и должны нести за это ответственность: мы живем в цивилизованном государстве. Если вы сейчас покинете нас, то это можно

будет расценить лишь как попытку укрыться от ответственности. Как лояльный гражданин моей страны, я вынужден буду помешать вам в этом!

Он даже плечи расправил и приподнялся на носках — бессознательно, наверное, и выглядеть он стал не грознее, а комичнее. Господи, — подумал Милов, — сморчок этакий грозит мне... Но он ведь прав — с точки зрения нормальных условий жизни, и уважения достойно, что так выступил — не круглый же он идиот, чтобы не понимать, что я даже со связанными за спиной руками в два счета его утихомирю. Мне надо в Центр, это верно, однако ситуация не тривиальная, да и женщина, чего доброго, подумает, что я испугался и спешу унести ноги...

— Вы убедили меня, господин Граве, — сказал он почти торжественно, краем глаза следя за Евой — сейчас она повернулась к нему лицом и на губах ее возникла улыбка, одновременно и радостная, и насмешливая: она-то, женщина, ясно видела, кто из двоих чего стоил. — Убедили, и я готов последовать за вами. — Милов почувствовал, как легко вдруг стало на душе; неужели было у него внутреннее нежелание расстаться с этой женщиной тут, на распутье, возможно ли, чтобы он... он оборвал сам себя. — Итак?

— Бросьте, — сказала Ева. — Противно слушать. Дан, вам и в самом деле нужно в Центр? В таком случае мы пойдем с вами.

— Доктор, это необычайно глупо, — сказал Граве. — Что мы будем там делать?

— Я? Да мне просто стыдно оттого, что сбежала, поддалась страху. Я врач. И там мои пациенты. Дети. Забыли?

— Но ведь вы только вечером закончили дежурство! А в городе у вас семья. Семья!

Он выговорил это слово так, словно семья была выше всего — кроме Бога одного, как сказано. Ева в ответ невесело усмехнулась.

— Ну, Лестеру-то все равно... если я не приду, он, по-моему, просто вздохнет с облегчением.

— Вы не должны говорить так, доктор, а мы — слушать... Но постойте, у меня возникла блестящая мысль! Что, если мы посмотрим ту машину? Может быть, она еще способна двигаться — тогда мы за полчаса доберемся до города, вы, Милф, дадите в полиции свои показания, а мы поручимся за вас, и вы сможете на ней же съездить в Центр. Поверьте, вы все равно выигрываете во времени.

Насчет выигрыша не знаю, — подумал Милов. — Мне надо было оказаться там еще полтора часа назад, теперь все будет сложнее. А мысль и на самом деле неплохая.

Они пошли быстро, почти побежали к торчавшей из канавы машине. Ева медленно шла вслед им, прикусив губу: ноги болели все сильнее, женщина не сводила глаз с быстро отдалявшихся спутников и то и дело спотыкалась. Двое приближались к машине; вот они достигли ее, остановились, немного постояли. Милов поглядел в сторону Евы, — она махнула ему рукой, сигнализируя о благополучии, — тогда он спрыгнул в канаву. Ева шла, ожидая, что машина вот-вот дрогнет и начнет задним ходом вылезать из канавы. Вместо этого, когда идти осталось уже совсем немного, мужчины словно бы пытались вытащить на дорогу что-то тяжелое. Вытащили. Положили. Ева подняла ладони к щекам: то был человек. Она побежала, уже не обращая внимания на боль, припадая на ногу. Милов бросился ей навстречу, подбежал, поднял на руки, хотя она и на этот раз попыталась было протестовать, и понес к машине, испытывая странное, самому ему непонятное чувство, ощущение ноши, которая не тяготит, напротив, прибавляет сил, чуть ли не в воздух поднимает. Маленькая ты, — подумал он, — легонькая...

Он бережно опустил ее наземь — посадил невдалеке от вытасченного из машины и теперь лежавшего на траве

(129) под деревом тела. Ева взглянула и невольно вскрикнула.

— Вы его знаете, Ева?

— Это же доктор Карлуски! Мой шеф по клинике... Он должен был сейчас находиться с детьми. Ничего не понимаю...

— Это точно он? — быстро, требовательно спросил Милов.

— Я работаю с ним шестой год... — Ева, встав на колени, поискала у лежавшего пульс, подняла веки. — Еще теплый... Снимите с него... или хотя бы расстегните... Рубашку тоже... По-моему, пуля, хотя я, конечно... Почти нет крови — скорее всего внутреннее кровоизлияние...

Она еще что-то говорила — Милов не слушал. Он бежал, — думал Милов. — Значит, меня все же опознали и его предупредили. Убили его случайно? Если нет — значит, они сами рвут свою цепочку. Решили зайти, переждать? Или что-то другое? Так или иначе, в Центре теперь делать нечего. Остается город. Карму гант, шесть, квартира тринадцать, ключ «Дромар»... Да. Город.

— Какой ужас! — сказал Граве, он был ошеломлен. — Теперь просто необходимо вызвать полицию сюда...

— Давайте без лишних слов займемся делом, — Милов стал влезать в кабину через левую переднюю, не помятуя дверцу. Приглушенно взвыл стартер — раз, другой. Мотор не заводился. Милов вылез, поднял капот, посмотрел.

— Тут электронное зажигание. Граве, вы в нем смыслите?

— Надо посмотреть... — ответил Граве осторожно. Он подобрался к мотору справа, — пришлось даже опуститься на колени, — с минуту смотрел. — Найдите мне кусочек фольги, здесь просто сгорел внутренний предохранитель.

— У меня есть сигареты, — сказала Ева.

Милов несколько мгновений смотрел на нее очень пристально, словно то, что у женщины оказались сигареты, было случаем из ряда вон выходящим.

— Интересно, а какие вы курите?

— «Салем», — сказала она, — при случае, по настроению... Вот вам фольга.

Минуты через две мотор взревел. Милов, сидя за рулем, включил задний. Машина, завывая и пробуксовывая, выползла на дорогу.

— Там, впереди, обычно дежурит дорожная полиция, — предупредил Граве. — Я полагаю, нужно остановиться и дать необходимые объяснения. Иначе...

— Посмотрим... — ответил Милов неопределенно.

— Прошу вас, не относитесь к этому легкомысленно. Мой гражданский долг... Видите? Вот они стоят! Тормозите, прошу вас.

— Это не полиция, — сказал Милов. — Какие-то штатские. Мы им не обязаны давать показания.

Впереди, близ щита с названием города, и в самом деле стояло трое. Один из них повелительно взмахнул рукой, приказывая остановиться.

— Шутник, — проворчал Милов сквозь зубы. Он включил правый поворот и подвернул чуть ближе к обочине, чтобы можно было подумать, что машина сейчас остановится. Но, почти поровнявшись со стоящими, резко нажал на газ. Машина рванулась, едва не сбив стоящего у самого полотна.

— Пригнитесь, Граве, — посоветовал Милов.

В зеркале заднего обзора он видел, как один из оставшихся позади поднял автомат, но как-то нерешительно — и опустил, так и не выстрелив. Однако тот, которого чуть не сбили, вытянул руку с пистолетом. Прозвучал выстрел, но машина была уже далеко.

— Разве можно стрелять! Мы же не сделали ничего такого! — возмутился Граве.

— Сукины дети, — ответил Милов.

Они въехали в город. Но не в тот, из которого Граве выехал прошлым утром, чтобы, как обычно, провести рабочее время, надзирая над многочисленными компьютерами Научного Центра. Нет, внешне многое осталось прежним: гладкий асфальт улицы с аккуратной белой разметкой, узкие дома под красной черепицей, старинные шпили церквей, а впереди — серые силуэты современных деловых и жилых башен. Уже настал для улицы час быть оживленной: обычно люди в эту пору спешили на работу, шли за покупками, совершали утреннюю — для укрепления здоровья — пробежку; собаки тоже требовали моциона. Однако сейчас тихий пригород скорее смахивал на поле недавно отгремевшего сражения.

Тротуары, прежде к этому часу уже чисто выметенные и обрызганные водой, сейчас тут и там были усеяны осколками стекла, обломками ящиков, картонными коробками, краем глаза Милов заметил валявшуюся на дороге мужскую шляпу и машинально шевельнул рулем, чтобы объехать ее.

Ставни магазинов были закрыты, на втором и третьем этажах многих домов окна смотрели пустыми глазницами, и на ветру парусили выплеснувшиеся наружу гардины.

Лежал на боку автомобиль; другой, подальше, догорал, испуская струйки сине-серого дыма, он был покрыт пятнами пены или порошка из огнетушителей. Ударило запахом сгоревшей резины.

На краю проезжей части валялся круглый обеденный стол без ножки.

Распахнулась дверь утреннего кафе, оттуда вывалилось несколько человек, пестро одетых, но все — с дубовыми листьями на груди, на рукавах, у одного — на каскетке. Они тащили, держа за руки, человека — ноги того влочились по земле; глянув в зеркало, Милов успел увидеть, как его приподняли и стали бить головой о стену дома; человек не пытался вырваться — видимо, был уже без сознания, а может, и мертв.

Проехали перекресток; на нем стоял волонтер — с карабином, с дубовыми листьями на плечах. Он скользнул по машине равнодушным взглядом. Граве схватил Милова за плечо:

— Остановитесь, пожалуйста — спросим у него...

Милов дернул плечом, сбрасывая ладонь соседа.

— Может, лучше спросите у этого?

Он кивнул влево; там, впереди, у тротуара валялось тело в черном полицейском мундире — форменная каскетка откатилась в сторону, ноги были подогнуты, словно полицейский в последний миг пытался уползти, укрыться, но не успел. Граве откинулся на спинку сиденья, тяжело задыхался.

— Куда же поедем теперь, Граве? — спросил Милов. — Будем искать полицейский участок? Или, может быть, остановимся вот тут?

Слева по движению, на двери, за которой, судя по вывеске, помещалась часовая мастерская, виднелся кусок ватмана, в пол-листа, на нем косо, корявыми буквами было написано: «Запись добровольцев». Около двери стояло несколько молодых парней. Они тоже поглядели на машину, один крикнул — разглядев, видно, через боковое стекло: «Эй, куда бабу везешь, давай сюда!», другой сделал вид, что расстегивает брюки, остальные засмеялись. Хорошо, что Ева не видит, — подумал Милов невольно. Однако, слышать-то она наверняка слышала, но промолчала, лишь закрыла глаза.

На следующем перекрестке тоже оказался волонтер, как и те, предыдущие — парень моложе тридцати, в комбинезоне и с автоматом, не современным, однако, а времен второй мировой войны. Рядом с ним топтался штатский — в руках он сжимал дробовик, на поясе висела ручная граната музейного образца. Волонтер что-то сказал штатскому, и тот бросился, размахивая ружьем, но не к машине Милова, а на противоположную сторону улицы. Там тоже показалась — выеха-

[126]

ла на следующем перекрестке — машина, на крыше ее, на верхнем багажнике, было наложено и увязано множество узлов и картонных коробок, видимо, тяжелых — машина прижималась к самой дороге: кто-то хотел выехать из города. Штатский остановился посредине проезжей части, встречная машина набрала скорость, и он отскочил в последний миг. Волонтер вскинул автомат. Милов успел увидеть, как ветровое стекло встречного рассыпалось в крошки, машина вильнула, наискось пересекла улицу и врезалась в дом.

— Интересные пироги, — сказал Милов. — Выехать, оказывается, куда труднее, чем въехать.

— Здесь направо, — с трудом, сквозь зубы, проговорил Граве.

Милов аккуратно показал правый поворот; никаких помех не было, светофоры смотрели слепыми глазами, на рельсах стоял пустой трамвай, совершенно целый, и, насколько хватало глаз, нигде не только не ехало, но даже и у тротуаров не стояло ни одной машины, все они словно испарились, растаяли. Теперь Милов со спутниками ехали по проспекту. Наверное, в нормальной жизни он был очень красив, старинные, чистые и ухоженные дома в пять и шесть этажей с балконами, эркерами, порою с гербами или латинскими изречениями над входом чередовались с домами явно современными, но той же высоты, широкооконными, то гладкими, то рустованными, со стеклянными входами, порой — с аккуратно разграфленной небольшой стоянкой для машин перед домом, арочные въезды вели во дворы. Здесь было чище и еще менеелюдно, только один-единственный дворник, в фартуке и почему-то с лопатой, медленно шел по тротуару, едва заметно покачиваясь: может быть, он был пьян. Впереди на одном из изыщно выгнутых фонарных столбов висел человек.

— Меня тошнит... — пробормотал Граве, судорожно глотая. Лишь через минуту он смог спросить: — Что вы об этом думаете?

— Думаю, что на современных фонарях вешать куда труднее, чем на старинных, — спокойно ответил Милов. — Они куда выше, да и конфигурация не располагает. Но традиции — великая вещь...

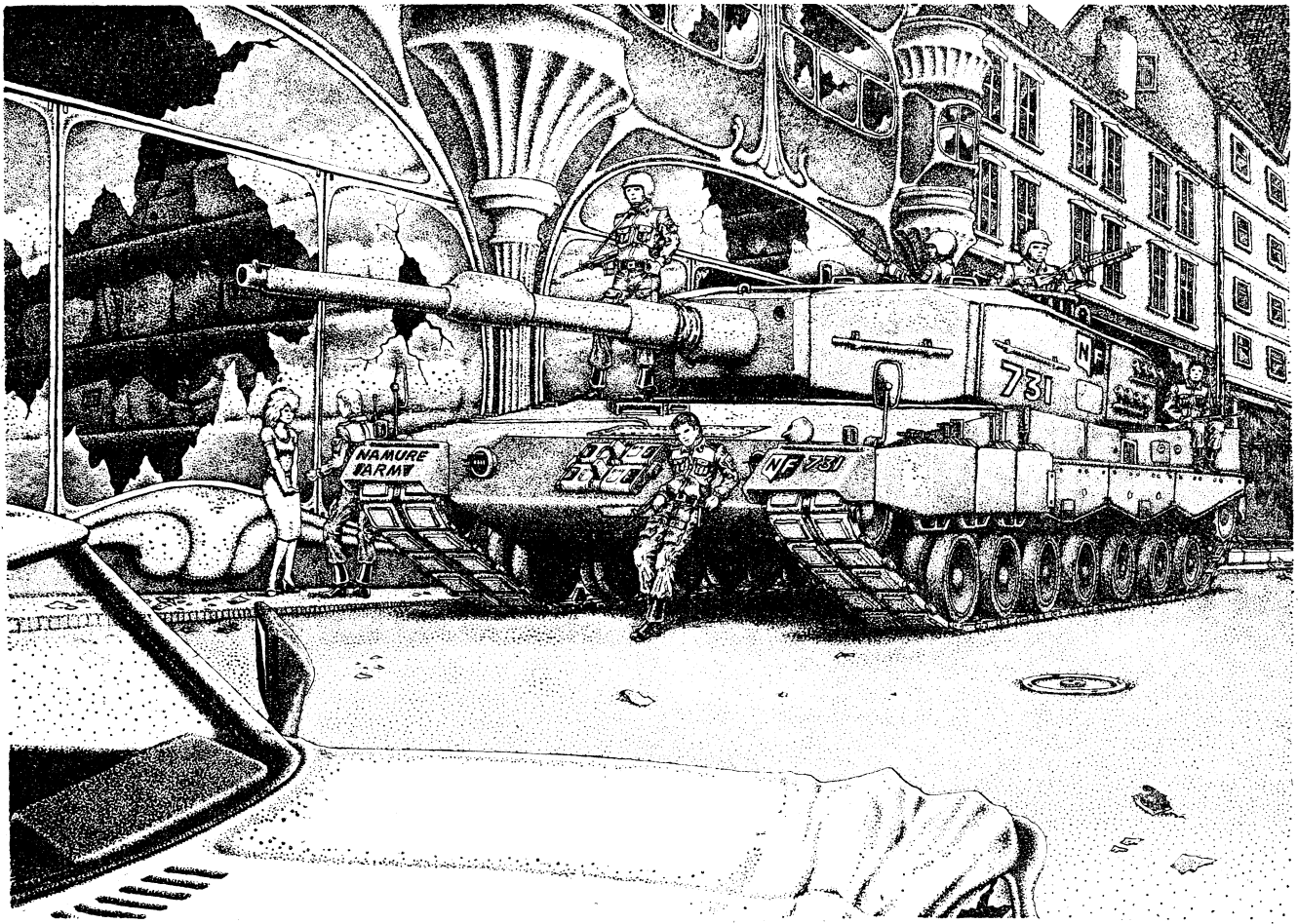
— Перестаньте! Как вы можете...

— Прикажете рвать на себе волосы? Вам трудно это понять, Граве, ваша история не располагает к пониманию таких вещей. Но согласитесь: это не очень-то похоже на благородную борьбу за спасение природы? — Замолчите!

В молчании квартал скользил мимо за кварталом, лишь едва слышно сипел мощный мотор, машина была из дорогих. Карлуски мог себе позволить, — подумал Милов мельком. — И телефон, и комп — только на мои вопросы он все равно не ответит... Было тихо и странно, как будто все, что произошло здесь — и выбитые окна, и сожженные машины, и выкаченные кое-где на улицу и опрокинутые мусорные контейнеры, и еще несколько убитых людей, попавшихся на дороге, и две мертвых собаки даже — все это было сотворено в полной тишине, в каком-то ритуальном молчании, хотя на самом деле было наверняка не так. И, если не считать того дворника, ни единой живой души, лишь из одного-другого окна чье-то лицо украдкой выглядывало — и тут же снова пряталось в неразличимости.

— Сейчас налево, — сказал Граве каким-то неживым голосом.

Машина нагнала шагающую по проспекту группу человек в пятьдесят. Судя по пестроте одежды, то были добровольцы; хотя название это означало то же самое, что волонтеры, однако разница между одними и другими была разительной; эти хотя и старались выдерживать воинский строй, и маршировали с неподвижными, каменно-серьезными лицами, незнакомство их с военным делом ощущалось сразу: не было в их строю ни равенства, ни дистанции, большая половина не была вооружена, прочие несли кое-как разнообразные устройства, стрелять из которых можно было разве что



теоретически; музей, да и только,— подумал Милов,— половина всего этого взорвется при первом же выстреле. Колонна осталась позади, но, проехав еще метров двести, они увидели и настоящих солдат. Проспект здесь расширялся, образуя как бы небольшую площадь, и сейчас посреди этой площади стоял танк, монументальный, словно памятник самому себе, живой в своей металлической мертвости, громко угрожающий в молчании, многотонный призрак, овестьественное «мemento мори»; и единством противоположности с ним были солдаты — десятка два молодых и здоровых ребят, подтянутых и вместе вольно стоявших, или сидевших на зеленой броне, или прогуливавшихся подле танка — не выходя, однако, за пределы некоего не обозначенного, но, видимо, четко ощущавшегося ими круга. Они не держали автоматы на изготовку, наоборот, улыбались дружелюбно тем немногим людям, что молча стояли на тротуарах, как бы замороженные зрением боевой машины (есть для людей невоенных нечто странно-привлекательное во всем военном, какая-то тайна чудится им за необычным обликом по-своему прекрасных в своей жестокой целесообразности машин уничтожения, и они не могут просто пройти мимо); вдруг возникли на площади две или три девушки — они всегда возникают, материализуясь из ничего, там, где появляются солдаты — наверное, сама солдатская мечта и материализует их... Милов плавно объехал площадь, повинаясь знаку «круговое движение». Ева позади тихо застонала, Милов бросил взгляд в зеркальце — глаза ее были закрыты, нога, видимо, не успокаивалась.

— Теперь уже недалеко,— сказал Граве голосом, близким к нормальному.— Тут скоро будет небольшая улочка — направо...

Милов кивнул. Однако, когда пришло время поворачивать, он резко затормозил. Там, куда надо было свернуть, шла драка, сражались две группы, с каждой стороны человек по двадцать, ни волонтеров, ни солдат среди них не было. Дрались безмолвно и жестоко, кто-то уже валялся на асфальте — трое или четверо, на них наступали ногами, о них спотыкались. Мелькали кулаки, палки, велосипедные цепи — впрочем, цепи, может быть, шли в дело и мотоциклетные.

— Это все фромы,— проворчал Граве.— Сводят счесть...

— С обеих сторон фромы? — уточнил Милов.

— Нет, я имел в виду, что напали, конечно, фромы — это их квартал. Как мы ни стараемся...

— Здесь нам вряд ли удастся проехать.

— Ничего,— сказал Граве.— Можно и по следующей улице.

В следующую они свернули беспрепятственно. Было почти безлюдно, только навстречу шли трое: один впереди, двое за ним. У переднего руки были связаны за спиной, лицо в кровоподтеках, один глаз заплыл, на груди его висел на веревочке кусок картона или фанеры, на нем что-то было написано. Двое конвоиров — добровольцы — были вооружены: один берданкой, другой обрезом, на боку второго висела старинная сабля, ножны чиркали по тротуару. Милов сбавил скорость. Ева открыла глаза, спустила ноги с заднего сиденья, стала садиться: решила, видимо, что

приехали. Арестованный, увидев машину, вдруг кинулся к ней; тот, что был вооружен обрезом, не колеблясь, выстрелил. Промаяхнувшись, но бежавший упал на колени — может быть, от страха подогнулись ноги, но вышло так, словно он на коленях умолял спасти его.

— Остановитесь! — крикнула Ева.

Милов прибавил скорость.

— Ужасно... Вы видели, что там было написано? «Я отравлял планету, а заслужил смерть!» Остановитесь же, Дан, может быть, он только ранен...

— Добьют, — выговорил Милов сквозь зубы. — Вам хочется лечь рядом с ним? Поймите, наконец: мы сейчас в другом мире, где все ваши добрые принципы не действуют.

— Перестаньте быть таким невозмутимым! — крикнула Ева. — Ненавижу...

— Да что господину Милфу, — горько сказал Граве. — Это ведь не его страна, доктор, и не его соотечественники...

— Дан, ну отчего вы так жестоки?

— Для меня люди — везде люди, — проговорил Милов, круто выворачивая влево; навстречу шли волонтеры, числом не менее роты; вооружены они были, как полагалось, у трех или четырех были даже пулеметы.

— Может быть, хоть они наведут порядок? — вслух подумал Граве.

— Возможно, — буркнул Милов, — только какой?

— Я лежала, — сказала Ева, — и мне были видны верхние этажи — с транспарантами, с надписями... «Сжечь машины», «Долой технику», «Мы хотим дышать», «К ответу ученых», «Позор правительству», «Спасем наших детей»... Но ничего не говорилось о том, что надо убивать людей.

— А это и не полагается говорить, — сказал Милов, слегка пошевеливая руль. — В наше время это делается без предварительной рекламы. Серьезная сила всегда молчалива... Нам далеко еще?

— Совсем близко. Видите улочку? Налево.

Сворачивая, Милов успел прочитать табличку на углу. Карму гант — так назывался переулочек.

— Куда вы привезли нас, Граве? — не удержался он.

— Это вы привезли меня, Милф. Домой. Я немного растерян, и... Надо решить, что делать дальше, и мне хотелось застать Лили, пока она еще не ушла. Да и вам не мешает отдохнуть, выпить хотя бы по чашке кофе... Прямо, прямо.

Улочка была застроена небольшими домами, не выше четырех этажей, но добротными, солидными — домами для зажиточных людей. Она была, наверное, зеленой и тенистой — когда деревья еще были зелеными. Но стволы их, полумертвые, окаймляли проезжую часть и сейчас.

— Вон к тому дому — серому, номер шесть.

Так, — подумал Милов, послушно снижая скорость. — Карму гант, номер шесть. Смешные совпадения бывают в жизни: совершенно случайно я оказался там, куда не только Граве, но и мне самому нужно. Однако он, похоже, к моим делам никакого отношения не имеет — мне нужен другой человек, тот, что живет в тринадцатой квартире...

Он затормозил, и Граве тут же выскочил из машины. — Слава Богу — кажется, все в порядке...

И подъезд, возле которого они остановились, и вся улочка выглядели спокойно, мирно, достойно — словно тут же неподалеку, на главных улицах, не убивали людей.

— Спасибо, мистер Милф, огромное спасибо! — Милов и не подозревал, что Граве способен быть таким оживленно-радостным. — Откровенно говоря, я и не надеялся уже — ведь происходит что-то апокалипсическое... Ева, я надеюсь, Лили немедленно сделает вам перевязку, и сразу же позвоните домой, чтобы успокоить... Милф, вас я, разумеется, тоже приглашаю!

— Принимаю, — ответил Милов, потому что ему все равно нужно было в этот дом, а куда он не знал — тут

1281

в инструктаже был пробел, код он должен был выжать из Карлуски вместе со множеством всякой другой полезной информации.

Они вошли в подъезд. В вестибюле было темно, в швейцарской — пусто.

— Странно, — сказал Граве. — У нас тут всегда освещено, да и Мартин не позволяет себе... Сюда, прошу вас, направо, к лифту.

Он нажал кнопку; но лампочка не вспыхнула, дверцы не разъехались, не послышалось и приглушенного рокота снижающейся кабины.

— Не понимаю. Похоже, что в доме нет электричества.

— Какой этаж? — спросил Милов.

— Четвертый. Мне очень жаль, но...

— Побережем время. Вы, Ева, все-таки добились своего: придется мне нести вас.

Он сказал это с улыбкой, ясно показывавшей, насколько приятно это будет — для него, во всяком случае. Не дожидаясь ответа, он поднял ее на руки. Даже Граве позволил себе улыбнуться.

— Достается вам сегодня, господин Милф, не правда ли? Похоже, мы были для вас не самой лучшей компанией. — Он обогнал поднимавшегося с ношей Милова и, когда тот появился на площадке четвертого этажа, уже вкладывал пластинку с личным кодом в щель замка.

— Не будем шуметь, друзья, — проговорил он почти шепотом, отворив дверь. Милов позволил Еве встать на ноги, поднял глаза. Квартира была номер тринадцать.

— Прошу извинить, — говорил шепотом Граве, пропуская их в прихожую, — мы редко принимаем гостей, но у нас очень уютно. Вообще, в доме живут солидные, добропорядочные люди... Вот сюда, прошу — располагайтесь, посмотрите пока на моих рыбок, у меня прекрасный аквариум... — Он машинально щелкнул выключателем. — Все еще нет тока — странно. И уборщица, кажется, сегодня не приходила — чувствуете, что пыль не вытерла. Еще раз приношу свои извинения...

Милов нагнулся и поднял с пола окурки.

— Граве, — сказал он негромко. — Ваша жена курит «Дромар»?

— Она вообще не курит, — сказал Граве, — но вы правы, такие сигареты у нее есть — иногда за рюмкой ликера, с подругами — современные женщины, понимаете ли, должны... Сейчас, я только загляну в спальню, Лили придется встать...

— Где у вас телефон? — спросила Ева.

— На столике, рядом с аквариумом, да проходите же, садитесь, прошу вас.

Он бесшумно отворил дверь спальни и шагнул; после мгновенного колебания Милов последовал за ним. «Дромар», — думал он. — «Не найдется ли у вас сигареты?» — «Только «Дромар», ничего другого я не курю». — «Слабоваты, не правда ли?» — «Зато какой аромат!» То были ключевые слова в звене цепочки, при обмене репликами пачка «Дромара» должна была появиться на свет. Если они всерьез рвут цепочку, — подумал Милов, — если с Карлуски не просто случается, то...

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



# ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ

Владимир БОРИСОВ

**Напирайте без стеснения,  
Если сила в вас клокочет.  
Но, судя мои творенья,  
Знайте: так художник хочет!**

**И.-В. ГЁТЕ**

Нам остается рассмотреть последний показатель шкалы «Фантазия-2» — художественную ценность. Ведь одна и та же идея может быть по-разному воплощена в художественных произведениях. Нужно попытаться оценить стиль писателя, его умение строить сюжет, пользоваться языком.

Наконец, любое произведение — это самовыражение автора. Как преломилась его впечатления, его мироощущение, как выплеснулись они на бумагу? Свой колорит имеет каждая строка в произведениях Александра Грина, он узнаваем в каждой фразе...

На мой взгляд, это самый сложный показатель шкалы. И все же попробуем алгоритмизировать и его.

1 балл — нет художественной ценности, в частности — нет индивидуальности, нет проявления личности автора. (Здесь следует заметить, что проявление серости или глупости автора нас не интересует).

Увы, далеко не всегда в фантастике наличествует художественная ценность. Даже у известных писателей появляются малохудожественные произведения. К таким можно отнести, например, «Лабораторию Дубльвэ» Александра Беляева или романы «Альтаир», «Последний полустанок» Владимира Немцова.

2 балла — одна художественная находка: в сюжете, стиле, настроении, языке произведения, характерах героев и т. д. В частности, проявляется особенность, присущая именно данному автору.

Рассмотрим рассказ Дэниела Киза «Цветы для Эдджернона». Записи в дневнике (язык, уровень мышления) отражают развитие и последующую деградацию героя. Не надо внешних характеристик и пояснений: изменение человека отражено в грамматике, стилистике. Аналогичный прием использовали Аркадий и Борис Стругацкие в «Улитке на склоне»: язык жителей Леса адекватно отражает уровень их развития (хотя в целом художественную ценность «Улитки на склоне» можно оценить выше).

3 балла — несколько художественных находок (в частности, все произведение целостно отражает личность автора).

Многие произведения Вадима Шефнера («Запоздалый стрелок», «Скромный гений», «Девушка у обрыва» и др.) отражают своеобразный стиль, особый, «шефнеровский» юмор, лиричность. У Шефнера свой, незаемный язык, свои приемы...

4 балла — то, что выше 3-го уровня.

«Алые паруса» Александра Грина. Попробуйте убрать или переставить слова в любой фразе этой феерии. Вы увидите, как неуловимо изменится настроение фразы...

Оценивая художественное воплощение идеи, попробуйте ответить на вопросы:

— Пусть идея не нова, но как она изложена, как воплощена в произведении? (Не следует ли эксперту перечитать «Золотую розу» Константина Паустовского? Это поможет правильной оценке...) Какова «архитектура» (композиция) произведения, и каковы «кирпичи» (язык)? У этого

автора есть и другие произведения: чувствуется ли в данном случае нечто общее с этими произведениями? Что именно? Что отличает почерк автора от почерков других авторов? Что можно отнести к художественным удачам, достижениям? А что — к неудачам, промахам, ошибкам? Не завышена ли оценка? Ведь 4 балла — самый высокий художественный уровень, классика...

**Задание шестое:** Оцените художественную ценность идеи в последнем прочитанном вами фантастическом произведении. Обоснуйте вашу оценку. Укажите удаchi и промахи автора.

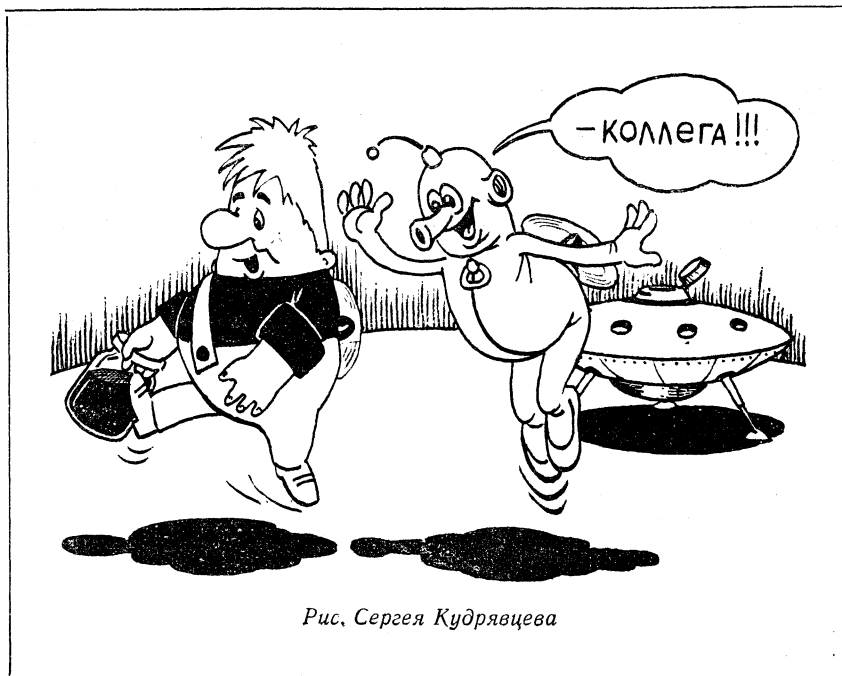


Рис. Сергея Кудрявцева

# ЛЮБОВЬ ПО-ИНОПЛАНЕТЯНСКИ...

Не так давно в киосках города Фрунзе появилась прелюбопытная книжка-брошюра. Рисунок на обложке завлекающе смел: на фоне звездной ночи — обнаженная девушка и летающая тарелка, а посередине начертано магическое слово — «Фантастика».

От первой же фразы просто захватывает дух: «По тропинке, ведущей к заброшенной банке, шла совершенно голая девушка». Таким образом акценты расставлены сразу — на голой девушке и заброшенной банке. Не улыбайся, читатель, — в дальнейшем эти два «компонента» станут едва ли не ключевыми в сюжетной канве фантастической повести «Лили». А сюжет ее поистине ошеломляющ.

Герой повести Дан восхитительно проводит время с некой Эллой в банке, где и высмотрел ее купающейся. В самый неподходящий момент туда врывается взбешенный от ревности егерь, и «ночное randevu» на этом резко прерывается. Дан безумно страдает, но ровно до той минуты, пока не увидел другую девушку, дефилирующую к той же самой банке и вдобавок не обремененную каким-либо одеянием (этому-то событию и посвящена первая строка повествования). Наш герой обнаруживает, что видеть Эллу ему уже больше не хочется, ибо «ее кривоватые ноги, раскосые глаза, грубые плечи резко контрастировали с прекрасными формами лунной красавицы». Разумеется, дальнейшее существование без прекрасной незнакомки немислимо, и вот сам случай идет ему навстречу. Знакомство состоится на следующий день на озере, где молодые люди освежались в своем, так сказать, первозданном виде. А далее... А далее события разворачиваются почти как в рассказе Аркадия Аверченко: «При свете лампочки была видна полная, волнующая грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...». Впрочем, «все заверте...» чуть позже, в уже знакомой старой банке, но это обстоятельство ничуть не умаляет пикантности «озерного» эпизода.

Ну вот, собственно, мы уже приближаемся к финалу, и самое время воскликнуть: «А где же фантастика?» И хотя прошедшие сценки назвать реалистическими тоже трудно, но вот сейчас пойдет уже сплошная фантастика.

«Лунная» девушка-то оказалась

не земной и даже не лунной, а богу знает с какой планеты: сбежала оттуда, дабы вкусить настоящей любви — не больше и не меньше. Ведь в их мире это чувство, увы, давно атрофировалось и процесс зачатия происходит в стационаре, с помощью медицинских инструментов и с единственной целью — получить плод... Но космическая полиция (по нашему, НЛО) не дремлет, а отлавливает подобных беглянок и... расщепляет их на атомы! Впрочем, на этот раз номер не проходит: в порыве страсти к прекрасной Лили герою сам расщепляет космических блюстителей нравственности и, хотя вскоре должны подоспеть основные силы, чуть легкомысленно предполагает, что времени у них достаточно... и снова — «все заверте...». В конце концов, и эти основные силы были одурочены: Дан нажимает какую-то красную кнопку в Лилиной тарелке (разумеется, летающей) — и аппарат со страшным ускорением прорывается сквозь полицейские кордоны, исчезая в бескрайней галактической дали. А чтобы окончательно стряхнуть оковы, связывающие героев с прежним миром, придумываются и новые имена — Адам и Ева.

Вот это достойный любого бестселлера финал! Выходит, все мы по воле автора являемся потомками космических Ромео и Джульетты. Действие произошло на Земле, да не на нашей!.. А я-то, признаться, и не подозревал. Уж слишком все «подомашнему» было в этой сногшибательной истории — и страдающий герой, и НЛО, и банка... Кстати, о банке так и хочется сказать особо. События, в ней происходившие, навевают воспоминания о знаменитом Григории Распутине, который, как известно, частенько проводил «богоугодные» радения в бане с особами женского пола. У «святого старца» был столь широкий и пестрый ассортимент поклонниц, что, вполне вероятно, среди них могла оказаться и инопланетянка... Чем не изысканный сюжетец для новой повести нашего автора?

Однако спустимся с небес на землю (уже на нашу) и познакомимся с более сухой, но не менее интригующей информацией.

Вышел этот литературный опус в издательстве «Мир» при помощи кооператива «Родео». Впечатляет объем книжки — 16 страниц. Но не напрасно говорят: мал золотник, да дорог... «Золотник» действительно дороговат — 98 копеек! Видимо, тут издатели преследовали весьма бла-

городную цель. Любой увидевший столь «аппетитную» обложку выложит и последний рубль. Но при этом сможет еще и позвонить домой — обратиться с призывом о финансовой подмоге.

Загадочно звучит имя автора — Вилли Конн. Нечто западноязычное, но не думаю, что, скажем, ассоциация англо-американских фантастов возьмет на себя ответственность за авторство этой повести. Подозреваю, что «Лили» — продукция отечественного производства.

И уж совсем озадачивает тираж — 500 тысяч!!! Не многие из фантастов-классиков удастались у нас подобным тиражей. В первые послереволюционные годы Евгений Замятин писал о появлении на литературной арене так называемых юрких писателей. Наше время тоже революционно, и вот налицо — юркие издатели. Хотя наверняка и те и другие существовали все эти десятилетия, прекрасно уживаясь и «гармонично» дополняя друг друга. Такого рода симбиоз очевиден и в «фантастике», с которой мы только что познакомимся.

Р. С. Поставил точку, вздохнул облегченно, но, видимо, поторопился и с тем и с другим. Шел мимо киоска, гляжу — снова Вилли Конн! На этот раз — «Террорист СПИДа»...

Купил. Повертел в руках. «Стандарты» те же — объем, цена... Вот тираж немного подкачал — «всего» 400 тысяч. Маловато... Тема-то куда «сурьезней» (или курьезней — уж и не знаю, какое тут слово больше подходит), особенно в такой интерпретации.

Не буду углубляться в сюжетные хитросплетения, скажу только по секрету, что СПИД — это плод тайной диверсии... ну конечно же, инопланетян, которые вознамерились известить весь род человеческий, а сами не прочь обосноваться на освобожденной территории. Каковы мерзавцы? Но, помнится, они-то и стали (по авторской задумке) прародителями землян, а теперь, что же, рубят под корень?! По примеру гоголевского Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью. Но уже в космических масштабах...

Впрочем, теперь меня не оставляет надежда — быть может, в следующей книжке нашего автора обнаружатся добрые Братья по Разуму и выручат землян из беды?

С. ШАБАНОВ,  
г. Кант Киргизской ССР



# ЭКСПЕДИЦИЯ В СТАРУЮ КРЕПОСТЬ



Вячеслав ПРЫТКОВ

Лет пять назад по городу пошли слухи об экспедиции в Каунасскую крепость, говорили об исчезновении людей в затопленных колодцах фортов, о подземных ходах... Я заинтересовался крепостью. Оказалось, что тогда первую разведку провела группа москвичей, объединившихся на базе туристского клуба в Сокольниках под руководством старшего инженера Всесоюзного научно-исследовательского института «Биотехника» Андрея Костюкова. Но сначала о самой крепости.

Решение создать крупный оборонительный рубеж вокруг Ковно (ныне г. Каунас) возникло в 1873 году на особом совещании, возглавляемом самим Александром II. Исследования и инженерные расчеты ведут представитель Российского Генерального штаба генерал Обручев и два военных инженера Главного инженерного управления Зверев и Вольберг. По их плану намечалось построить центральный редут с различными укреплениями полевого типа, 7 фортов и 9 батарей. Кольцо фортов должно было охватить город, раскинувшийся у слияния Немана и Нерис. До 1886 года строительством руководил военный инженер полковник П. Берггольд, затем его сменил тоже полковник В. Неплюев. К 1887 году завершается строительство основных укреплений крепости и формирование ее гарнизона и штаба. Дистраиваются форты, укрепления батарей, прокладываются крепостная железная дорога протяженностью свыше 18 км. Интересно, что ни одна крепость России того времени, кроме Ковенской, не имела своей собственной железной дороги.

К концу XIX века Ковенская крепость была одним из лучших фортификационных сооружений России, занимала площадь 25 кв. км и принадлежала к категории I класса. В Российской империи только крепости Варшавы, Новогеоргиевска и Брест-Литовска были первоклассными.

С началом первой мировой войны крепость переходит на военное положение. В составе ее гарнизона

28 пеших дивизий, 28 артбригад, 3-й Новороссийский и 6-й Донецкий полки, рота минеров, авиаотряд, артиллерийские службы. Однако с началом военных действий основная часть сил переброшена на усиление 1-й армии. В крепость пришли запасники, не имевшие хорошей подготовки. Солдаты вооружались японскими винтовками, одному бойцу полагалось 315 патронов. Запасов не было.

С 25 июля (7-го августа по новому стилю) 1915 года начались бои на подступах к крепости. Гарнизон упорно сопротивлялся, неся большие потери. 3 августа вечером противник перехватил радиосообщение коменданта крепости, в котором говорилось о весьма трудном положении гарнизона. Узнав об этом, немцы усилили наступление. Артиллерия фортов и батарей, расстреляв весь свой боезапас, замолкла, защитники оставляли свои позиции. 4 августа последнее подразделение покинуло форты. Немцы заняли крепость, 20 тысяч русских солдат попали в плен, врагу достались тысячи орудий.

Так, после 11 суток ожесточенных боев, пала одна из сильнейших сухопутных крепостей Российской империи. Почти до 1940 года крепость была забыта. В буржуазное время литовское правительство приспособило некоторые ее форты под тюрьмы. В том же качестве использовали их и фашистские захватчики во время второй мировой войны. Форты превратились в концлагерь, где расстреливали как гражданское население, так и военнопленных. Участники экспедиции, работая в архивах, установили, что Каунасская крепость по числу жертв была третьим концлагерем в мире после Майданека и Освенцима. Здесь уничтожено свыше 141 тысячи человек. Отступая, немцы затопили многие помещения фортов. В этом состоянии они и дождались наших дней. Ныне форты брошены и захлаплены. Представляют опасность для населения и особенно для детей многочисленные колодцы и вентиляционные шахты, утратившие свое былое назначение.

Экспедиции предстояло исследовать подземную и подводную части фортов, собрать экспонаты, проливающие свет на историю крепости; составить план дренажной системы фортов для их ремонта; попытаться найти подземные ходы, соединявшие форты друг с другом и т. д. Экспедиции оказали помощь ЦК ЛКСМ Литвы, военные организации Каунаса, горисполком, сотрудники Каунасского государственного исторического музея.

В 1985 году в экспедиции работала в основном молодежь — спелеологи, водолазы, топографы, саперы, инженеры. Работа была связана с ежедневным риском, ведь все колодцы и шахты фортов, как выяснилось, скрывали среди мусора снаряды, мины, гильзы и патроны, оставшиеся от двух мировых войн. Химический анализ проб воды из затопленных колодцев и помещений фортов постоянно выявлял компоненты разложения органических тканей. Участники экспедиции обнаружили следы паровой машины и генераторов, часть дренажа рва, росписи на стенах, сделанные, очевидно, в царские времена, шахту, соединяющую два этажа, а также много немецких надписей. В одном из колодцев VI форта при его расчистке пробрили пробку, открыв выход газу с резкой сменой концентрации. Газ не фильтровался даже противогАЗами, и установить его состав не удалось.

Урожайным был сезон 1988 года: ежедневно набирали по паре ведер патронов, а также снаряды и мины. Андрей Костюков показал необычную находку — ржавое оружие довольно странной формы: короткоствольные автоматы на треноге. Как выяснили впоследствии специалисты Центрального музея Великой Отечественной войны, это были учебные макеты автоматического оружия конца второй мировой войны.

В 1989 году полевой сезон продолжался почти месяц. К этому времени коллектив исследователей создал свой кооператив «Форт» при МГК ВЛКСМ для финансирования

поисковой и экспедиционной деятельности.

Основной лагерь был разбит в VI форту. Время от времени объектом исследований становился и форт I, где работала группа, руководимая сотрудником Каунасского государственного исторического музея А. Поцюнасом.

В VI форту в годы гитлеровской оккупации размещался «лагерь смерти» № 336. Здесь в страшных условиях содержались советские военнопленные. Многие пребывали под открытым небом, во рвах, поскольку казематы были переполнены. 35 тысяч человек уничтожили гитлеровцы в «лагере смерти» VI форта.

Из колодца извлечено 58 гранат, 10 тысяч патронов, несколько снарядов разного калибра и мин. Дойти до дна опускаемых колодцев пока не удалось ввиду значительных глубин (свыше 20 м) и сильной загрязненности. В этой связи представляет интерес гипотеза, выдвинутая исследователями. Поскольку глубина опускаемых колодцев соизмеряется с глубинами рельефа города, то возможно, что колодцы уходят к какой-то системе сообщений, находящейся под всеми фортами крепости. Установить достоверность предположения поможет дальнейшая работа.

Магнитные исследования позволили выявить интересные странности: так, например, все 32 трубы на казармах VI форта намагничены строго в одном направлении. В земле обнаружены магнитные аномалии, указывающие на значительные массы металла.

Сооружения I форта во время осады крепости в период первой мировой войны противостояли огневой мощи немецких тяжелых орудий. Один из снарядов угодил в бетонный капонир, где располагались крепостное орудие и расчет, похоронив все это под развалинами. Исследователи решили взрывным методом расчистить бетонное нагромождение. Используя 70 кг тротила, развалили глыбы бетона, но до конца шурфа не дошли, помешала вода. Много прояснится, если пожарники помогут откачать воду. В затопленных помещениях капонира, как предполагают, был оперативный склад боеприпасов.

Экспедиция прервала свою работу, но есть вероятность продолжения поисков — в случае подписания договоров с организациями города, заинтересованными в расчистке и реставрации фортов.



**Александр  
РЕЗНИЧЕНКО,  
краевед**

## **КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ**

100 лет назад ушел из жизни еще совсем молодой ученый — Александр Петрович Орлов. Долгие годы он был в России единственным сейсмологом.

В книге Г. П. Горшкова «Землетрясения и их происхождение» в числе имен известных геологов: И. В. Мушкетова, В. Н. Вебера, К. И. Богдановича первым стоит имя А. П. Орлова. Кто же этот человек?

Лет 15 назад в «Уральском следопыте» была сделана попытка рассказать о нем, правда, в большой статье о землетрясениях Орлову отводилось совсем немного места.

Первым делом обратимся к словарю Брокгауза и Ефрона. Однако здесь подстерегает разочарование. Единственная зацепка — это то, что он учился в Казанском университете. Начнем поиски в «Памятных книжках» соседних губерний. Саратовская? Нет. Симбирская? Нет. Пензенская? Есть! Вот он, Александр Петрович Орлов...

Родился будущий ученый в 1840 году в уездном городке Инсаре Пензенской губернии, в семье чиновника. Из детских воспоминаний Саши остались каменная церковь с куполами, засиженными птицами, грязные улочки, тусклый свет в окнах домов, покосившиеся заборы да одинокие фанари. Провинция... провинция. До десяти лет мальчик постигал науки дома.

В 1848 году его отца перевели в город Челябинск Оренбургской губернии. Примечательна формулировка приказа о переводе отца: его назначили «на место комиссара (слово-то какое) по пресечению конокрадства». Именно тогда Сашу Орлова отдали в обучение в Курганское училище, где он прозанимался всего один год. Отца вновь переводят, теперь в Уфу. Там мальчик поступил в Уфимскую гимназию. В 1857 году он успешно окончил ее, и следующей вехой в его жизни стал Казанский университет, физико-математический факультет.

Из стен университета Александр Орлов вышел с золотой медалью и получил назначение на должность учителя математики Пермской гимназии. Семь лет трудился на Урале А. П. Орлов.

Современник Орлова, пензенский биограф-краевед А. Ф. Селиванов, автор первых биографий братьев Бекетовых, Буслаева, Лермонтова, Ключевского, так писал об Орлове: «В бытность учителем Пермской гимназии он (Орлов.— А. Р.) занимался сверх служебных обязанностей изучением соляных промыслов и собиранием археологических материалов для истории Пермского края». Здесь же, чуть ниже, Селиванов добавлял: «Когда (Орлов) служил в Иркутске... получил золотую медаль за разработку вопроса о местных землетрясениях». Он, очевидно, имеет в виду награждение Орлова медалью Русского Географического общества.

Итак, Селиванов упоминает землетрясение рядом с названием Иркутска. В этом городе Орлов служил с 1868 по 1871 год. Очевидно, природные стихийные явления, связанные с тектоническими процессами на Урале и в Сибири, «которых ему пришлось быть очевидцем», подтолкнули его к научным занятиям. Долгие годы он был единственным специалистом в этой области.

В середине 70-х годов Орлов переехал в Казань, где занял должность директора реального училища. В течение 20 лет он тщательно собирал сведения о сейсмических явлениях в России, в частности, на Урале и в Сибири. В «Трудах Казанского общества естествознания» он опубликовал ряд научных трудов, из которых важнейшие: «О землетрясениях вообще и землетрясениях Южной Сибири и Туркестанской области в особенности» (1873 год), «О землетрясениях в Приуральских странах» (1876 год).

Умер ученый в 1889 году, почти завершив свой капитальный труд «Каталог землетрясений Российской империи с 596 года до н. э. по 1888 год». Этот труд после его смерти был подготовлен к печати, дополнен и издан в 1893 году профессором И. В. Мушкетовым в «Записках Русского Географического общества».

*г. Пенза*

## **ПАЛАЧ ДЕКАБРИСТОВ НА УРАЛЕ**

**Владимир ШКЕРИН,  
учитель истории**

14 декабря 1825 года невольный вестер гнал по площади поземку. Зимний день короток, а одна сторона все не решалась взять власть, другая — ее отстоять. Наконец после семичасового противостояния к новоиспеченному

монарху подошел граф Ф. К. Толь и, глядя ему прямо в глаза, сказал с легкой усмешкой:

— Государь, прикажите очистить площадь картечью или откажитесь от престола!

Говорят, где-то били копытами кони и была уже готова карета для бегства. Победа над декабристами — менее заслуга Николая I, чем вина самих декабристов. Будучи в большинстве своем людьми военными, они не могли не понимать, что каре на площади — прекрасная мишень. Чтобы ее расстрелять, не нужен военный, нужен палач. И он нашелся — генерал Иван Онуфриевич Сухозанет.

М. А. Бестужев рассказывал: «К нам подсказал Сухозанет и передал нам последнюю волю царя: чтобы мы положили оружие, или в нас будут стрелять.

— Отправляйтесь назад, — вскрикнули мы, а Пушкин прибавил: — И пришлите кого-нибудь почисте вас.

На возвратном скаку к батарее он вынул из шляпы султан, что было условлено как сигнал к пальбе, и выстрел грянул».

Давайте остановим взгляд на этой мрачной фигуре. Она весьма типична для периода разложения крепостничества в России. Из «Русского биографического словаря» узнаем, что отец Сухозанета — выходец из Польши — в царствование Екатерины II поступил на русскую службу. Сам Сухозанет родился уже дворянином Витебской губернии. Закончив инженерный кадетский корпус, был переведен в артиллерию. Участвовал в войнах с Наполеоном. Но фортуна улыбнулась ему после 15 декабря 1825 года. Сухозанету был пожалован чин генерал-адъютанта, и с тех пор он пользовался неограниченным расположением императора. При подавлении польского восстания 1830 года он должен был командовать артиллерией, но в самом начале похода ему оторвало ядром ногу, и генерал подал в отставку.

После лечения Сухозанет был заведен почетными должностями. Одну из них — директора военной академии — он занимал более двадцати лет, основательно развалив за это время вверенное ему учебное заведение.

Нам интересно одно обстоятельство, не отмеченное «Биографическим словарем». Жена Сухозанета происходила из рода крупных уральских заводчиков Белосельских-Белозерских. Приданым невесте послужил Юрюзань-Ивановский завод. Так судьба связала палача декабристов с горнозаводским Уралом.

Хозяин из него получился «заботливый». Не было года, чтобы он, не доверяя исправникам, лично не посетил завод.

В 1845 году генерал пробыл на Урале чуть больше месяца. Одним из приказов этого времени Сухозанет по-

велел «заковать в ножные кандалы и употреблять в заводские работы» восьмерых крепостных и среди них одну женщину. Отменить приказ он обещал письмом из Петербурга. (Документ хранится в Государственном архиве Свердловской области.)

Но время шло. Генерал, видимо, забыл о своем обещании. Только 5 октября (более чем через два месяца) заводской исправник Лихарев наконец решил обратиться по этому делу к главному начальнику горных заводов Урала генерал-лейтенанту В. А. Глинке.

Получив докладную, тот приказал оковы с людей немедленно снять, а заодно задал исправнику такую «распечку», что тот посчитал за лучшее скрыться от гнева горного начальника. Крутой нрав «горного царя» был известен всему Уралу.

Одновременно с приказом Лихареву Глинка послал письмо Сухозанету. Но одно дело распекать нижестоящего чиновника, совсем другое — обращаться к царскому любимцу. Письмо настолько любопытно, что мы приведем его почти полностью:

«Не доверяя Конторе в справедливости ее показаний и полагая, что она никогда такого приказа не получала, а ссылкой на него желает только скрыть собственную вину, — я предписал Исправнику закованных людей немедленно освободить, потому что 87 ст. 14 тома Св. Зак. (Изд. 1842 г.) запрещает налагать оковы даже на подсудимых — вплоть до окончательного утверждения о них приговора». И далее: «Доводя до Вашего Высокопревосходительства случай сей, я уверен, что распоряжение мое согласно с Вашим собственным желанием, тем более, что подобного рода дела, получив гласность какими-нибудь другими путями, могли бы наделать шуму и неудовольствий и Вам и мне».

Можно предположить, что это было не просто столкновение двух николаевских чиновников по частному вопросу, но и проявление борьбы двух общественных лагерей. Следует вспомнить, что «странный генерал» Глинка состоял в свое время в Союзе Благоденствия, был коротко знаком с многими декабристами, а Сухозанет — стрелял по ним. Конечно, Глинку нельзя отнести к революционерам. Но членство в тайном обществе не прошло для него бесследно. Он из тех, что положили начало либеральному движению в России.

Пересмотрел ли Сухозанет после столкновения с Глинкой свое отношение к крепостным? Конечно, нет. Вот как он настаивал своего нового исправника В. И. Лепарского в письме от 31 мая 1858 года: «Впрочем, и это знайте, что юрюзанцев надобно держать в руках. Этот народ в старину соединялся с Пугачевым, да и потом был общий бунт в Юрюзани довольно серьезный».

Если результатом работы Сухозанета на посту директора академии был ее развал, то итогом его управления заводом стали волнения 1859 года. Они обратили на себя внимание одного из первых советских историков Урала А. А. Савича, а позже были опубликованы и документы, к ним относящиеся. Волнения не были неожиданностью. Даже такие высокопоставленные чиновники, как оренбургский губернатор Е. И. Барановский, оренбургский и самарский генерал-губернатор А. А. Катенин, главный начальник уральских заводов Ф. И. Фелькнер, не раз отмечали, что положение рабочих на заводе Сухозанета значительно хуже, чем у любого другого хозяина.

И без того маленькая заработная плата рабочих постоянно урезалась бесчисленными штрафами. Случалось, что рабочие вообще ничего не получали. А работы на заводе не прекращались в выходные и праздничные дни, что в России было явлением из ряда вон выходящим. Даже в холода на работы были вынуждены ходить все, вплоть до беременных женщин и матерей с грудными детьми. Держать на заводе врача Сухозанет не считал нужным. Два раза в месяц сюда приезжал медик из Саткинского завода. Никаких пособий инвалидам и престарелым установлено не было.

В 1859 году министр финансов А. М. Княжевич послал Сухозанету официальное письмо, предупреждая о необходимости несколько улучшить положение рабочих для предотвращения волнений. Сухозанет ничего на заводе не изменил, и в августе этого же года одновременно восемьдесят рабочих разбегалось по различным селениям. Тут же генерал сам обратился к властям с просьбой... судить рабочих военным судом.

Но оснований для этого не было. Более того, в 1860 году завод посетил Ф. И. Фелькнер. Выслушав жалобы более ста рабочих, он дал указание увеличить заработную плату и снизить цену на хлеб. Но прибавка к жалованию была сделана ничтожная, а цены на хлеб продолжали оставаться самыми высокими на частных заводах Южного Урала. Не принес полного освобождения юрюзанским рабочим и 1861 год. Впрочем, для них он был не только годом отмены крепостного права. В этом году умер И. О. Сухозанет. Понимаю, что это простое совпадение, но символичное, ибо вся его жизнь была пронизана слепой верой в незыблемость давно изжившего себя института и посвящена охране его. Там, на декабрьской площади, выдергивая султан из шляпы, он защищал свое право угнетать юрюзанских крепостных и, отстояв это право, воспользовался им в полной мере.

г. Свердловск



# Люди Кольмы

Александр АРТЕМОВ, искусствовед

В 1952 году пароходом «Феликс Дзержинский» молодой солдат Петр Попов прибыл для прохождения срочной службы в город Магадан и на всю жизнь связал свою судьбу с судьбой далекого города и края.

Первое впечатление от встречи с Севером, Кольмой ярко и глубоко врезалось в память юноши.

Петр не имел специального художественного образования. Во время армейской службы ему помог на первых порах сослуживец Константин Королев, великодушный рисовальщик, скульптор по образованию, но подлинной школой профессионального мастерства стала художественная студия, руководимая талантливым живописцем, выпускником ВХУТЕМАСа Валентином Осиповичем Антощенко-Оленевым. Ее посещали известные впоследствии художники Дмитрий Брюханов и Леонид Вегенер.

Молодой Петр Попов много рисует и пишет с натуры, у него зарождается интерес к портретному жанру, который в будущем станет определяющим для всего творчества художника.

В 1956 году в фойе кинотеатра «Горняк» по инициативе В. О. Антощенко-Оленева (сейчас он заслуженный художник Казахской ССР) была организована первая персональная художественная выставка Петра Попова, тогда еще как любителя. А впереди были долгие годы упорного и кропотливого труда, прежде чем он стал выставленным на крупных профессиональных смотрах изобразительного искусства. Участник всех двенадцати областных выставок, начиная с 60-х годов, живописец вместе с другими магаданцами постоянно принимает участие в зональных и республиканских художественных выставках.

Тема человека Севера, труженика и созидателя, постепенно становится главной в творчестве художника. Уже в первых серьезных полотнах «ДРУЗЬЯ» и «ПАСТУХ» видны незаурядные живописные качества автора. Но 1967 год становится важным, переломным этапом в жизни художника. На Второй зональной выставке во Владивостоке экспонировался его триптих «Чукотка». Полотна объединены смысловым понятием «ЛЮДИ ЧУКОТКИ».

Центром трехчастной композиции является холст «Охотник». Изобразительные средства в нем яркие и мажорны. Боковые части триптиха — лирические раздумья о жизни чукотской женщины. Холст «Весна» отличается мягким лирическим светом, художественный язык сдержан и скуп, наполнен ожиданием весны. Гармоничен пейзаж, пронизанный величавым спокойствием свершающегося таинства в природе, которая служит не только фоном для героев, а и основой внутреннего настроения картины.

Другая часть триптиха — «МАТЬ» — по общему замыслу близка предыдущей работе стремлением автора к ясности и простоте. Условно и лаконично письмо, четок силуэт, изысканно-сдержана цветовая гамма. Картина превращается в обобщенный символ материнства.

По результатам Второй зональной выставки «Советский Дальний Восток» Петр Попов был принят в члены Союза художников СССР.

Открытый успехом, Петр Попов возвращается на Чукотку. Он едет в тундру, к оленеводам. Делает множество зарисовок и этюдов с натуры, собирает изобразительный материал, копит впечатления и практический опыт общения с тундрой и ее тружениками.

Сюжет первой картины цикла «ОЛЕНЕВОДЫ» (1973) незамысловат. Перед нами молодой пастух с чааотом в руках, рядом — старый опытный товарищ и оленегонная лайка, незаменимый друг и помощник пастухов. Цвет летней тундры стал основой колористического строя картины.

Другая работа этого цикла — «ЧУКОТСКИЕ ОЛЕНЕВОДЫ» 1975 года решена по-иному. Автор здесь заострил свое внимание на характерах людей, внешний сюжет действия отсутствует. Это своеобразный групповой портрет, герои произведения словно специально позируют живописцу. Необычная композиция холста — все изображение сдвинуто вправо, герои приближены к зрителю — способствует более емкому и цельному восприятию всех изобразительных средств картины. Здесь портретность героев, которая становится одной из основных черт творческого метода живописца, лежит в основе всего художественного строя произведения. Автора интересует не человек вообще, а конкретный, со свойственными ему индивидуальными качествами характера.

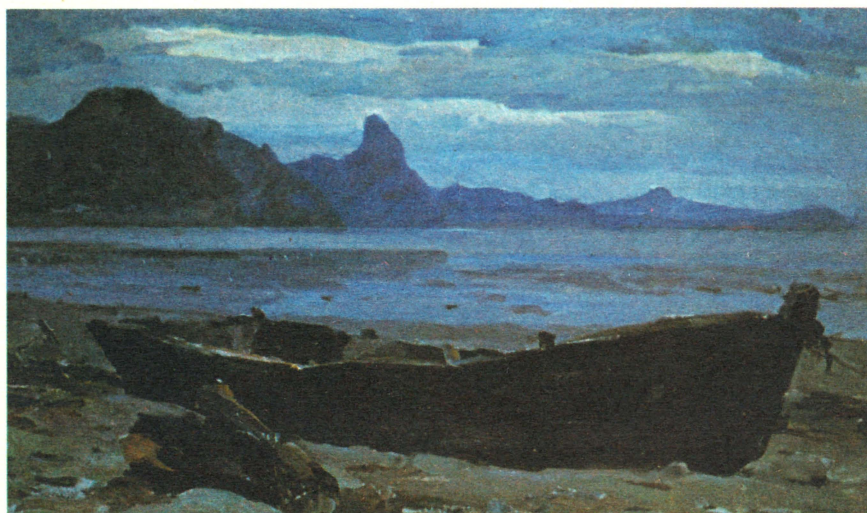
Традиционен сюжет следующей картины из этого цикла: «Весна в тундре» 1978 года. Влажная, пропитанная водой земля, талый снег. Пастухи собрались вместе на отдых, перекур. Полотно отличается звучностью цветового решения, сочностью живописной манеры. Налицо интерес художника к поиску своего типажа тундровика.

К «ОЛЕНЕВОДАМ» примыкает одно из последних произведений — «ПОРТРЕТ МОРСКОГО ОХОТНИКА», написанный в 1984 году. Необозримы просторы северного моря и серого сурового неба. Да и сам охотник, кажется, вылеплен этой природой, трудом и морем. Он уверен в себе, целеустремлен и целен.

Новый этап творчества живописца — полотна, посвященные «золотому цеху» страны — Кольме. Как и раньше в тундру, Попов совершает частые поездки на прииски. В результате появляется холст «ШАХТЕРЫ ШАХТЫ 20-бис», программное произведение 1984 года. Ведя внутреннюю полемику с работами других магаданских живописцев, где часто подробно дается большое количество героев, автор твердо отстаивает фрагментарный принцип композиции. Фигуры рабочих, взятые крупным планом, монументальны.

Приоткрывая творческую лабораторию живописца, можно познакомиться с тем, что обычно не знакомо широкому кругу зрителей. Выработывая профессиональные навыки, оттачивая мастерство, художник постоянно пишет небольшие этюды-портреты. Часто это близкие ему люди — «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ» 1967 года, «ПОРТРЕТ ДОЧЕРИ» 1968 года, «АВТОПОРТРЕТ В ЧУКОТСКОЙ ШАПКЕ» 1970 года, «ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ С РОЗОВЫМ БАНТОМ», написанный в 1973 году, и многие другие. Несмотря на малые размеры, мастер добивается в них большой выразительности и свежести.

Много внимания Петр Попов уделяет замечательному северному пейзажу. Наряду с созданием самостоятельных произведений мастер часто использует его в своих жанровых картинах. В любом случае пейзаж всегда заключает в себе поиск настроения, ключ к эмоционально-чувственному раскрытию содержания произведения.



ра. Один из гостей города записал: «ПОСМОТРЕВ ЭТУ ВЫСТАВКУ, ИСПЫТЫВАЕШЬ ЧУВСТВО ВЕЛИЧИЯ И КРАСОТЫ ЭТОГО КРАЯ, ДАЛЕКОГО И БОГАТОГО, ЕГО ЛЮДЕЙ, ТАКИХ РАЗНЫХ, НО ДЕЛАЮЩИХ ОДНО ВАЖНОЕ ДЕЛО, ХОРОШИХ И КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ...»

Это ли не истинное признание многолетнего вдохновенного труда художника!

**ЧЕРНЫЙ КУНГАС**

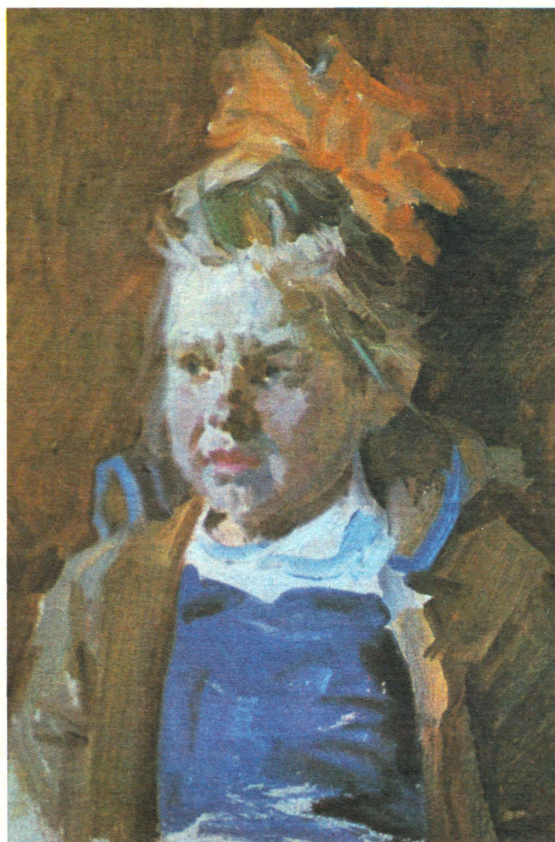
**ОЛЕНЕВОДЫ ЧУКОТКИ**

**БЕЛАЗЫ**

Пейзажи «ОСЕНЬ НАСТУПАЕТ» (1968), «ВЕСНА В БУХТЕ НАГАЕВА» (1970), «ЧЕРНЫЙ КЛЮЧ» (1971), «ПРИБЛИЖЕНИЕ ЗИМЫ» (1972), небольшие этюды «БУРНЫЙ ВЕТЕР» (1979), «ОСЕННЕЕ НЕБО» (1980) и многие другие — результат частых походов живописца с этюдником по окрестностям Магадана. Это его внутренняя потребность, непереносимое условие развития и творческого роста.

В июле-ноябре 1986 года в Магаданском областном краеведческом музее была развернута персональная выставка живописца «30 лет творческой деятельности». На ней побывали школьники и студенты, рабочие, моряки, инженеры, геологи, работники творческих союзов. Книга отзывов переполнилась благодарными пожеланиями в адрес Петра Степановича Попова — живописных дел масте-





ПОРТРЕТ ДОЧЕРИ

ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ

МАТЬ



**Эдгар  
БЕРРОУЗ**

*Рисунки  
Елены Пьянковой  
и Николая Мооса*

## Охота на вершинах деревьев

На следующее утро после Дум-Дум обезьяны медленно двинулись через лес к побережью. Мертвый Тублат остался на месте, потому что племя Керчака не ест сородичей. Кочуя, антропиды занимались поисками пищи. Капустные пальмы, серые сливы, низанг и сентамин встречались в изобилии; попадались также дикие ананасы, иногда обезьянам удавалось найти мелких млекопитающих, птиц, гадов и насекомых. Орехи обезьяны раскалывали своими могучими челюстями, и только когда те оказывались слишком твердыми, разбивали их камнями.

Однажды они увидели старую Сабор. Встреча с львицей заставила обезьян поспешно искать убежища на высоких ветвях. Правда, Сабор от-

носилась с уважением к их численности и острым клыкам, но и обезьяны со своей стороны проявляли почтительность к ее силе и свирепости.

Тарзан сидел на низко склонившейся ветке. Львица, пробираясь через густые заросли, оказалась под ним. Он швырнул в искомого врага бывший у него под рукою ананас. Величественное животное остановилось и, обернувшись, окинуло взглядом дразнившего ее человека. Сердито вильнув хвостом, Сабор обнажила свои желтые клыки и сморщила, огрызаясь, щетинистую морду. Злобные глаза ее превратились в две узкие щелки, в которых горели бешенство и ненависть. Прижав уши, львица посмотрела прямо в глаза Тарзану и грозно зарычала. Человек-обезьяна ответил ей страшным криком своего племени. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. А затем, не выдержав взгляда человека, громадная кошка прыгнула в сторону, и лесная чаща скрыла ее, как океан поглощает брошенный камень.

У Тарзана зародился серьезный план... Он убил свирепого Тублата, значит, он стал могучим бойцом? Теперь он выследит хитрую Сабор и убьет ее тоже. Тогда он станет великим охотником.

С некоторых пор в нем тайлось сильное желание прикрыть свою наготу. Из книжек с картинками он узнал, что все люди носят одежду, тогда как марышки и человекообразные обезьяны ходят голые. Одежда — знак силы, отличительный признак превосходства человека над всеми созданиями. Не могло, конечно, быть другой причины для того, чтобы носить такие отвратительные вещи.

Много лун тому назад, будучи гораздо моложе, Тарзан очень хотел добыть шкуру львицы Сабор, льва Нумы или пантеры Шиты для прикрытия своего безволосого тела. Тогда, по крайней мере, он перестал бы походить на отвратительную змею Хисту. Но нынче Тарзан гордился своею гладкой кожей, ибо она была признаком его происхождения от могучего племени. В нем боролись два противоположных желания — ходить, не стесняя себя, голым по примеру племени Керчака или же, сообразуясь с обычаями своей породы, носить неудобную одежду. И оба эти желания попеременно одерживали в нем верх.

После бегства Сабор племя продолжало свой медленный переход через джунгли. Голова Тарзана была полна широкими планами выслеживания и убийства львицы. Много дней прошло, а он только об этом и думал. От этих постоянных мыслей его отвлекло страшное событие. Внезапно среди белого дня темнота спустилась на джунгли, все звуки стихли. Деревья стояли неподвижно, словно парализованные ожиданием надвигающейся катастрофы. Но вот издали доносилось какое-то тихое, печальное стенание. Ближе и ближе звучало оно, перерастая в оглушительный рев. Большие деревья разом погнулись, словно их прижала к земле чья-то могучая рука. Они склонялись все ниже и ниже, готовые сломаться от напора. И вдруг великаны джунглей выпрямились и закачали могучими вершинами, как бы выражая этим свой гневный протест. Из несущихся вихрем черных туч сверкнул яркий, ослепительный огонь. Раскаты грома потрясли воздух, как канонада. Тотчас хлынул поток, и джунгли превратились в настоящий ад.

Продолжение. Начало в № 4—5.



Обезьяны, дрожа от холодного ливня, сбились в кучу и жались к стволам деревьев. При свете молний, пронизывающих тьму, видны были дико качавшиеся ветви в сплошной завесе льющих потоков воды.

Время от времени один из древних лесных патриархов, пораженный ударом молнии, с треском ломался на тысячи кусков и рушился, повергая за собой бесчисленные ветки окружающих его деревьев и множество мелких тварей. Большие и малые сучья, оторванные свирепым вихрем, кружились и летели в неистовой пляске на землю, неся гибель несчастным тварям подлесья.

Долго бесновался ураган, и обезьяны в смятении жались друг к другу, подвергаясь постоянной опасности от падающих стволов и ветвей, парализованные яркими вспышками молний и раскатами грома.

Ураган кончился так же внезапно, как и начался. Ветер утих мгновенно, выглянуло солнце, и природа снова улыбнулась. Мокрые листья и влажные лепестки чудесных цветов засияли в лучах солнца. Стихия смилостивилась, и все живое простило ей причиненное зло и занялось своими обычными делами. Хлопотливая жизнь опять потекла своей чередой.

Но для Тарзана забрезжил свет неожиданного откровения: он постиг тайну одежды. Как ему было бы тепло и уютно во время дождя под тяжелой шкурой Сабор! И эта мысль была еще одной убедительной причиной выполнить затеянное.

В продолжении нескольких месяцев племя бродило близ отлогого берега, где находилась хижина Тарзана, и он посвящал большую часть времени учению. Но когда он скитался по джунглям, то постоянно держал наготове веревку, и немало мелких животных попало ему в петлю.

Однажды аркан обвил короткую шею кабана Хорта. Вепрь бешено прыгнул в попытке сбросить его и стащил Тарзана с ветки, с которой тот охотился. Зверь услышал шум, обернулся и, увидев легкую добычу — молодую обезьяну, нагнул голову и кинулся на захваченного врасплох юношу. Но Тарзан, к счастью, не пострадал, он по-кошачьи упал на четвереньки, широко расставив ноги. Он мгновенно вскочил и прыгнул с обезьяньей ловкостью на дерево. И вовремя, ибо разъяренный Хорт тяжело промчался под ним.

Так Тарзан приобретал необходимый опыт. Он лишился своей длинной веревки, но зато понял, что если бы с ветки стащила его Сабор, то он несомненно был бы убит.

Ему потребовалось довольно много времени, чтобы сплести новый аркан. Когда он был, наконец, готов, Тарзан отправился на задуманную охоту и залег среди густой листвы над звериной тропой к водою. Много мелких зверей прошло под ним, но такая добыча не интересовала Тарзана.

И вот появилась та, которую он ждал. Перебивая мышцы под бархатно-блестящей шкурой, шла львица Сабор. Ее большие лапы неслышно ступали по узкой тропе. Она шла с высоко поднятой головой, чутко следя за каждым движением и шорохом, медлительными и красивыми движениями извивался ее длинный хвост. Ближе и ближе подходила львица к месту, где Тарзан подстере-



гал ее, уже держа наготове сложенный кольцами длинный аркан. Тарзан был неподвижен, как бронзовый идол, и непреклонен, как смерть. Сбор прошла под ним. Она сделала шаг, другой, третий — и длинная веревка взвилась над ней. Широкая петля со свистом охватила ее голову. И когда Сбор, встревоженная шумом, подняла голову, петля уже обвилась вокруг ее горла! Тарзан крепко затянул аркан на глянцевитой шее, захлестнул веревку за крепкий сук и отпустил ее. Сбор была поймана.

Испуганный зверь бешено метнулся в джунгли. Но тут же почувствовал, что веревка затягивает ему шею. Сбор перевернулась в воздухе и тяжело рухнула на землю. Но когда Тарзан схватился за веревку, упираясь в разветвление двух могучих сучков, то понял, как трудно будет подтащить к дереву и подвесить тело мощного зверя, оказывающего яростное сопротивление. Пожалуй, только слон Тантор мог бы стащить Сбор с места.

Львица, пытаясь избавиться от аркана, все же разглядела виновника нанесенной ей обиды. Воя от бешенства, она внезапно высоко подпрыгнула, надеясь достать Тарзана. Но ее обидчик не зевал. Он успел перебраться на более тонкую ветку, футов на двадцать выше, и разъяренная пленница опять оказалась ни с чем. Одно мгновение Сбор висела, вцепившись когтями в дерево, а Тарзан издевался над ней и бросал сучья и ветки в ее ничем не защищенную морду.

Затем животное снова соскочило на землю, и Тарзан быстро натянул веревку, но Сбор догадалась уже, что ее держало, и перегрызла аркан, прежде чем он успел снова затянуть петлю. Тарзан был очень огорчен: так хорошо задуманный план пропал. Он сидел на ветке, бранился и визжал на рычавшее животное и, издеваясь над львицей, строил ей гримасы. Сбор целых три часа расхаживала взад и вперед под деревом. Четыре раза приседала она и прыгала на кривлявшегося оскорбителя. Но это было столь же бесцельно, как гоняться за ветром, который шелестел в верхушках деревьев.

Наконец мальчику приелась эта забава. Он ловко запустил в львицу спелым плодом, который густо и клейко размазался на ее огрызающейся морде. Затем Тарзан быстро помчался по деревьям на высоте ста футов и вскоре оказался среди своих соплеменников. Он рассказал им о своем приключении. Грудь его вздымалась от гордости, и он так фанфаронил и хвастался, что произвел впечатление даже на своих самых заядлых врагов, а Кала простодушно плясала от гордости за сына.

## Человек и человек

Жизнь Тарзана в джунглях, как ему казалось, еще несколько лет текла почти без перемен. Но он становился сильнее и умнее и многое узнал из своих книг о диковинных краях, находящихся где-то за пределами его страны. Жизнь ему никогда не казалась ни однообразной, ни бесцветной. У него всегда находилось занятие. Можно было вволю охотиться, искать плоды, ловить в многочисленных ручейках и озерах рыбу Низу. Кроме того,



приходилось постоянно остерегаться Сабор и ее свирепых сородичей. Постоянная опасность придавала остроту и вкус каждой прожитой минуте.

Часто звери охотились за ним, а еще чаще он охотился за зверями. И хотя их острые когти еще ни разу не коснулись его, однако бывали жуткие мгновения, когда расстояние было так мало, что вряд ли лист картона прошел между их когтями и его гладкой кожей.

Быстра была львица Сабор, быстры Нума и Шита, но Тарзан был настоящей молнией.

Он сдружился со слоном Тантором. Как? Об этом никто не знал. Но обитатели джунглей видели, что в лунные ночи Тарзан и слон Тантор подолгу гуляли вместе. И там, где позволяли заросли, Тарзан ехал, сидя высоко на могучей спине Тантора.

За эти годы Тарзан много дней провел в хижине своего отца, где все еще лежали кости его родителей и маленький скелет детеныша Калы. Восемнадцатилетний Тарзан уже свободно читал и понимал почти все в разнообразных книгах, хранившихся на полках в хижине. Он научился писать, и писал отчетливо и быстро, но печатными буквами. Рукописных букв он почти не усвоил, потому что, хотя среди его сокровищ и было много тетрадей, он считал лишним затруднять себя этой формой письма. Позже, впрочем, он с большим трудом научился разбирать рукописный текст.

Итак, восемнадцатилетний молодой английский лорд не мог говорить по-английски, но, тем не менее, умел читать и писать на родном языке. Никогда не видел он другого человеческого существа, потому что на сравнительно небольшой территории, по которой кочевало его племя, не протекало ни одной глубокой реки и сюда не могли спуститься даже дикие туземцы из глубины страны. Высокие горы защищали ее с трех сторон, и океан — с четвертой. Она была населена лишь львами, леопардами, ядовитыми змеями. Девственные леса джунглей еще не видели ни одного существа из породы тех зверей, которые зовутся людьми.

Но однажды, когда Тарзан-обезьяна сидел в хижине отца, погруженный в тайны книг, произошло событие, навсегда нарушившее прежние безлюдие джунглей.

Случайно глянув в окно, он увидел вдали странное шествие. Оно двигалось гуськом по гребню невысокого холма. Впереди шли пятьдесят черных воинов, вооруженных длинными копьями с железными остриями. Каждый нес большой лук с отравленными стрелами. На спинах висели овальные щиты, в носках были продеты большие кольца, а на сбитых, как шерсть, волосах красовались пучки ярких перьев. Лбы их были татуированы тремя параллельными цветными полосками, а грудь — тремя концентрическими кругами. Их желтые зубы были отточены, как клыки хищников, а большие и отвислые губы придавали им еще более зверский вид.

Следом плелось несколько сотен детей и женщин. Женщины несли на головах всевозможный груз: кухонную посуду, домашнюю утварь и связки слоновой кости. В арьергарде шла сотня воинов, вооруженных как и передовой отряд. Они, по-видимому, больше опасались погоня, чем встреч-

ных врагов. Об этом свидетельствовало построение колонны. Так оно и было. Чернокожие спасались бегством от солдат белого человека, который так грабил и притеснял их, отнимая слоновую кость и каучук, что в один прекрасный день они восстали против насильников, перебили белого офицера и весь его маленький отряд чернокожих. После победы они несколько дней поедали их трупы, но однажды в сумерках другой, более сильный, отряд солдат напал на их поселок, чтобы отомстить за смерть своих товарищей.

В ту зловещую ночь черные солдаты белого человека в свой черед устроили пир, а жалкий остаток когда-то могущественного племени скрылся в мрачных джунглях.

Три дня отряд медленно продирался сквозь непроходимые дебри. На четвертый — рано утром — туземцы добрались до небольшого участка близ речки, который оказался менее густо заросшим и подходил для стойбища.

Чернокожие пришельцы занялись постройкой жилищ. Через месяц они расчистили большую площадку, выстроили хижины, вокруг поселка вырос крепкий часток; было посеяно просо, ямс и манс, и дикари зажили прежней жизнью на новом месте. Здесь не было ни белых людей, ни черных войск; никто не отнимал слоновую кость, каучук для жестоких и корыстных хозяев.

Прошло много месяцев, прежде чем черные отважились заходить подальше в леса, окружавшие их новый поселок. Многие из них уже пали жертвами старой Сабор. Джунгли были полны свирепыми и кровожадными кошками, львами и леопардами, и черные воины опасались уходить далеко от своих надежных палисадов.

Но однажды Кулонга, сын старого вождя Мбонги, зашел далеко к западу. Он осторожно крался в густых зарослях, держа копье наготове и крепко прижимая левой рукой к стройному черному телу длинный овальный щит. За спиной у него висел лук, а колчан был наполнен прямыми стрелами, старательно смазанными темным смолистым веществом, благодаря которому даже легкий укол становится смертельным.

Ночь застала Кулонгу далеко от поселка. Он влез на развилку большого дерева и устроил площадку, на которой и улегся спать.

В трех милях к западу от него кочевало племя Керчака.

На заре обезьяны проснулись и разбрелись по джунглям в поисках пищи. Тарзан по своему обыкновению пошел к хижине. Он хотел по дороге найти какую-нибудь дичь и насытиться раньше, чем доберется до берега.

Обезьяны разошлись в одиночку, по двое и по трое по всем направлениям, но старались держаться поближе друг к другу, чтобы в случае опасности можно было крикнуть и быть услышанным.

Кала медленно брела по слоновой тропе и была поглощена переворачиванием гнилых веток в поисках грибов и съедобных насекомых. Вдруг какой-то странный шум привлек ее внимание. Впереди в лиственном туннеле она увидела подкрадывающуюся фигуру страшного, невиданного существа.



Это был Кулонга.

Кала не стала терять времени на его разглядывание, она повернулась и помчалась назад по тропе. С ее стороны это вовсе не было бегством. По обыкновению своих соплеменников, которые благоразумно уклоняются от нежелательных столкновений, пока в них не заговорит страсть, она стремилась не убежать от опасности, а избежать ее.

Но Кулонга не отставал... Он почуял добычу... Он мог убить ее и отлично поест в этот день. И он бежал за Калой с копьем, уже занесенным для удара.

На повороте тропы Кале удалось было скрыться, но Кулонга опять заметил ее на прямом участке. Рука, держащая копье, откинулась далеко назад, и мускулы в одно мгновение напряглись под гладкой кожей. Затем рука выпрямилась, и копье полетело в Калу. Но бросок был плохо рассчитан. Копье только оцарапало ей бок.

С криком ярости и боли бросилась обезьяна на своего врага. И в то же время деревья затрепещали под тяжестью ее товарищей. Племя уже спешило, прыгая с ветки на ветку, на помощь Кале.

Кулонга с невероятной быстротой выхватил лук из-за плеч и вложил в него стрелу. Далеко оттянув тетиву, он послал отравленный снаряд прямо в сердце огромного человекоподобного зверя. И Кала с ужасающим воплем упала ничком на глазах всех изумленных членов своего племени.

С ревом и воем кинулись обезьяны на Кулонгу, но осторожный дикарь помчался вниз по тропе, словно испуганная антилопа. Он хорошо знал свирепость этих диких волосатых людей, и его

единственным желанием было как можно дальше убежать. Обезьяны преследовали его довольно долго, стремительно прыгая по деревьям, но вскоре одна за другой бросили погоню и вернулись к месту трагедии. Никто до сих пор из них не видел чернокожего человека, и поэтому все смутно удивлялись, что это за странное существо появилось в их джунглях.

Издалека Тарзан услышал слабые отзвуки стычки. И догадавшись, что случилось нечто серьезное, поспешил туда. Когда он добежал до места происшествия, то застал здесь все племя. Обезьяны в большом волнении кричали и суетились вокруг тела его убитой матери.

Горе и злоба Тарзана были безграничны. Он несколько раз проревел свой страшный боевой клич и стал бить себя в грудь сжатыми кулаками, а потом бросился на труп Калы и горько рыдал над ней, изливая скорбь своего одинокого сердца.

Утрата единственного близкого существа, питавшего к нему дружбу и нежность, была действительно великим несчастьем для него. Что из того, что Кала была свирепым и страшным зверем! Для Тарзана она была матерью — нежной, близкой, а потому и прекрасной. Не сознавая того сам, он отдавал ей все уважение и любовь, которые человек питает к своей родной матери. Тарзан никогда не знал иной и безмолвно отдал Кале все, что принадлежало бы прекрасной леди Элис, будь она жива.

После первого взрыва отчаяния Тарзан опомнился и взял себя в руки. Расспросив соплеменников, ставших свидетелями убийства Калы, он узнал все, что их бедный лексикон позволял пере-

дать ему. Однако и этого было вполне достаточно. Он узнал, что странная безволосая черная обезьяна с перьями, растущими из головы, бросила в Калу смерть из гибкой палки и затем бежала с быстротой оленя Бары по направлению к восходу.

Тарзан вскочил и, забравшись на ветви, быстро понесся по джунглям. Он хорошо знал изгибы слоновой тропы, по которой бежал убийца, и шел напрямик, чтобы пересечь дорогу черному воину, который мог идти только по тропе. На бедре Тарзана висел нож, унаследованный им от отца, а на плече — длинная веревка, свитая в круги. Через час человек-обезьяна снова спустился на тропу и стал внимательно осматривать землю.

В тонкой грязи на берегу крошечного ручейка он нашел следы ног, похожие на собственные, но они были гораздо крупнее его следов. Сердце Тарзана сильно забилося. Неужели он преследует человека, представителя своей породы?

Две одинаковых дорожки следов шли в противоположных направлениях. Жертва, которую он преследовал, прошла здесь и вернулась той же тропой. Вглядевшись в более свежий след, Тарзан заметил, что песчинки еще осыпаются с края в оставленный отпечаток. Это означало, что след был совсем свежий и что таинственное существо, за которым гнался Тарзан, прошло здесь только что.

Тарзан снова забрался на дерево и быстро, но почти бесшумно продолжал преследование. Вскоре он действительно увидел черного воина. Тот стоял на открытой поляне. В руках у него был его гибкий лук с натянутой тетивой. Против воина стоял готовый к нападению вепрь Хорта, с опущенной головой и с покрытыми пеной клыками.

Тарзан с удивлением смотрел на странное чернокожее существо. Оно так было похоже на него и все же отличалось чертами лица и цветом кожи. Правда, в книжках своих он встречал рисунки, изображавшие негра, дикаря, но как сильно отличались те мертвенные отпечатки от этого лоснящегося, черного, ужасного существа, дышавшего жизнью! К тому же этот человек с туго натянутым луком напомнил Тарзану не столько «негра», сколько «стрелка» из его иллюстрированного букваря.

## **С «С» начинается стрелок**

Как все это было удивительно! Тарзан пришел в такое возбуждение, что чуть было не выдал своего присутствия. Но на поляне перед его глазами происходило нечто совсем новое и невиданное.

Вепрь бросился вперед, и тогда черный человек спустил маленькую отравленную стрелу. И Тарзан увидел, как она полетела с быстротой молнии и вонзилась в щетинистую шею вепря. Едва стрела была спущена с тетивы, как Кулонга положил на нее вторую, но выстрелить не успел, ибо вепрь стремительно бросился на него. Тогда чернокожий перескочил через зверя одним прыжком, с невероятной быстротой всадил в спину Хорте вторую стрелу и почти мгновенно забрался на дерево.

Хорта повернулся, чтобы вновь обрушиться на врага, сделал несколько неуверенных шагов, словно удивившись чему-то, покачнулся и упал на бок. Нескоролько мгновений мышцы его еще судорожно сокращались, но вскоре он затих.

Кулонга слез с дерева. Ножом, висевшим у него на боку, он вырезал из тела вепря несколько больших кусков. Он ловко и быстро развел огонь посреди тропы и стал жарить и есть это мясо. Остальную часть вепря он оставил там, где она лежала.

Тарзан очень заинтересовался всем виденным. Желание убить яростно пылало в его груди, но желание научиться кое-чему новому было еще сильнее. Он решил выследить это дикое существо и узнать, откуда оно явилось. Убить же его он решил когда-нибудь потом, когда лук и смертоносные стрелы будут отложены в сторону.

Закончив свою еду, Кулонга исчез за ближайшим поворотом тропы, а Тарзан спокойно спустился на землю. Своим ножом он тоже отрезал несколько кусков мяса от туши Хорта, но не стал их жарить. Тарзан видал огонь и прежде, когда Ара, т. е. молния, сжигала какое-нибудь большое дерево. И все же для него было непостижимо, чтобы житель джунглей мог сам добывать красно-желтые острые клыки, пожирающие деревья и ничего не оставляющие после себя, кроме тонкой пыли. А для чего черный воин испортил свое восхитительное кушанье, отдав его в зубы огню, — было уже совершенно непонятно Тарзану. Быть может, Ара была союзницей стрелка, и он делил с нею пищу? Уж конечно он, Тарзан, никогда не испортит так глупо хорошее мясо. Поэтому он поел попросту и без затей сырого кабана. Оставшуюся же часть туши зарыл близ тропы так, чтобы можно было ее найти после своего возвращения.

Вдоволь наевшись, лорд Грэйсток вытер жирные пальцы о бедра и снова отправился по следам Кулонги, сына вождя Мбонги. В это же самое время в далеком Лондоне другой лорд Грэйсток, младший брат Тарзана, отослал обратно клубному повару поданные ему котлеты, заявив, что они недожарены. А потом, окончив обед, окунул пальцы в серебряный сосуд, наполненный душистой водой, и вытер их куском белоснежного камчатного полотна.

Весь день выслеживал Тарзан Кулонгу, летая над ним по веткам, словно злой дух лесов. Еще два раза видел он, как Кулонга метал стрелы: один раз в Данго, гиену, а другой раз в мартышку Ману. В обоих случаях животное умирало почти мгновенно. Яд Кулонги, очевидно, был свеж и очень силен. Тарзан много думал об этом удивительном способе убийства и был очень осторожен, следуя за чернокожим воином в безопасном расстоянии. Он понимал, что маленький укол стрелы не мог сам по себе так быстро убивать. Лесные звери выходили из сражений со своими врагами истерзанными, изгрызенными в кровь самым страшным образом — и, тем не менее, часто выживали. Нет, в этих маленьких деревянных щепочках крылось что-то таинственное. Недаром же одной царапиной они могли причинить смерть. Тарзан должен узнать, в чем тут дело.

В ту ночь Кулонга опять спал в разветвлении

большого дерева. А высоко над ним притаился Тарзан.

Когда Кулонга проснулся, то увидел, что его лук и стрелы исчезли. Черный воин был взбешен и испуган. Пожалуй, все-таки больше испуган. Он обыскал землю под деревом, осмотрел все ветки, но нигде не нашел и следа ни лука, ни стрел, ни таинственного ночного грабителя.

Панический страх охватил Кулонгу. Он был безоружен! Ведь он оставил свое копье в теле Калы. А теперь, когда лук и стрелы пропали, он был совсем беззащитен. У него оставался лишь нож. Его единственная надежда на спасение — как можно скорее добраться до селения Мбонги. Он был уверен, что поселок недалеко, и побежал по дороге.

Из густой непроницаемой листвы на расстоянии нескольких ярдов от него показался Тарзан и спокойно понесся по ветвям следом.

Лук и стрелы Кулонги были надежно привязаны им к вершине гигантского дерева. У его подножия Тарзан срезал острым ножом полосу коры, а повыше надломил ветку. Это были отметки, которыми он обозначал те места, где у него хранились какие-либо запасы.

Кулонга продолжал свое путешествие, а Тарзан все ближе и ближе подбирался к нему, пока не оказался почти над головой чернокожего. Он держал наготове в правой руке сложенную кольцом веревку. Тарзан только потому откладывал этот момент, что ему очень хотелось выследить, куда направляется черный воин, и вскоре он был вознагражден за терпение: перед ним внезапно открылась большая поляна, на которой виднелось множество странных логовищ. Лес кончился, и между джунглями и поселком тянулись около двухсот ярдов обработанного поля. Теперь пришла пора действовать быстро, иначе добыча могла ускользнуть.

И когда Кулонга вышел на простор из лесной чащи к самой кромке полей Мбонги, тонкие извилистые круги веревки полетели на него с нижней ветки могучего дерева. И прежде, чем сын вождя успел сделать несколько шагов, петля стянула ему шею. Тарзан так сильно дернул аркан, что крики испуга были мгновенно задушены в горле Кулонги. Быстро перебирая руками веревку, Тарзан подтащил отчаянно упиравшегося чернокожего и подвесил на сук. Затем он взобрался повыше и втащил все еще бившуюся жертву в густой шатер листвы. Он крепко привязал веревку, спустился и всадил свой охотничий нож в сердце Кулонги. Кала была отомщена.

Тарзан тщательно осмотрел чернокожего. Никогда еще не видел он человеческого существа. Нож с ножнами и поясом немедленно привлекли его внимание, и Тарзан забрал их себе. Медный обруч тоже понравился ему, и он надел его себе на ногу. Затем он пришел в восхищение от татуировки на груди и на лбу дикаря, полюбовался на остро отточенные зубы, осмотрел и присвоил себе головной убор из перьев. Затем Тарзан решил пообедать, так как он был голоден, а здесь имелось мясо — мясо убитой им жертвы. Этика джунглей позволила ему есть это мясо.

Можем ли мы судить его? И какое мерило могли бы мы приложить к этому человеку-обезья-

не с наружностью и мозгом английского джентльмена и с воспитанием дикого зверя?

У него даже не мелькнула мысль — съесть Тублата, которого он ненавидел и убил в честном бою. Это было для него так же возмутительно, как людоедство для нас. Но кто был ему Кулонга? Почему его нельзя было съесть так же спокойно, как вепря Хорту или оленя Бару? В глазах Тарзана он был просто одним из тех бесчисленных диких существ, которые нападали друг на друга для удовлетворения голода.

Но какое-то странное сомнение внезапно остановило Тарзана. Может быть, благодаря своим книгам он понял, что перед ним человек? Может быть, он догадался, что «стрелок» тоже человек? Едят ли люди людей? Этого он не знал. Чем же объяснялось его колебание? Он сделал усилие над собой, желая отрезать мясо Кулонги, но им овладел внезапный приступ тошноты. Тарзан не понимал, что с ним. Он знал только, что он не в состоянии попробовать мяса черного человека. Наследственный инстинкт, воспитанный веками, овладел его нетронутым умом и уберек Тарзана от нарушения того всемирного закона, о самом существовании которого он не знал ничего.

Он быстро спустил тело Кулонги на землю, снял с него петлю и вновь взобрался на дерево.

## Тени страха

Усевшись на высокой ветке, Тарзан рассматривал селение, состоявшее из тростниковых хижин. За ними тянулись возделанные поля. В одном месте джунгли подступали к самому поселку. Заметив это, Тарзан направился туда, захваченный каким-то лихорадочным любопытством. Ему так хотелось посмотреть животных своей породы, узнать, как они живут, и взглянуть поближе на странные логовища, в которых они обитают. Жизнь среди свирепых тварей леса невольно заставляла его видеть врагов в этих чернокожих существах. Хотя они и походили на него своим внешним видом, Тарзан нисколько не заблуждался относительно того, как встретят его эти первые виденные им люди, если откроют его.

Приемыш обезьяны отнюдь не страдал сентиментальностью. Он ничего не знал о братстве людей. Все, не принадлежащее к его племени, были его исконными врагами за исключением, быть может, слона Тантора. Он сознавал все это без злобы и ненависти. Умерщвление — закон дикого мира, в котором он жил. Удовольствий в его первобытной жизни было мало, и самыми большими из них были охота и убийство. Но Тарзан и за другими признавал право иметь такие же удовольствия и желания, даже в том случае, если сам становился предметом их посягательств.

Странная жизнь не сделала его ни угрюмым, ни кровожадным. То обстоятельство, что он убивал с радостным смехом, вовсе не доказывало его природенной жестокости. Чаще всего он убивал, чтобы добыть пищу. Правда, будучи человеком, он убивал иногда и для своего удовольствия, чего не делает никакое другое животное. Ведь из всех созданий в мире одному лишь человеку дано

убивать бессмысленно, с наслаждением, только ради удовольствия причинять страдания и смерть. Когда Тарзану приходилось убивать из мести или для самозащиты, он это делал спокойно, без угрызений совести. Это был простой деловой акт, отнюдь не допускавший легкомыслия.

И потому теперь, когда он осторожно приближался к поселку Мбонги, он просто и естественно приготовился к тому, чтобы убивать или быть убитым, если его заметят. Он крался очень осторожно, так как Кулонга внушил ему глубокое уважение к маленьким острым деревянным палочкам, так верно и быстро приносившим смерть. Тарзан добрался до большого, необычайно густолиственного дерева, с ветвей которого свисали тяжелые гирлянды гигантских ползущих растений. Он притаился в этом непроницаемом убежище, подождав почти к самой деревне, и стал созерцать все происходившее внизу, изумляясь каждой подробностью этой новой для него и диковинной жизни.

Голые ребятишки резвились на деревенской улице. Женщины толкли сушеное просо в грубых каменных ступах или пекли из муки лепешки. Вдали на полях другие женщины копали землю мотыгами, пололи и жали. Какие-то странные, торчащие подушки из сушеной травы закрывали их бедра, и у многих были медные и латунные браслеты на запястьях. На черных шеях висели забавно свитые куги проволоки. Вдобавок у многих в носы были вдеты громадные кольца.

Приемыш обезьяны смотрел с возрастающим изумлением на эти странные создания. Он увидел также и мужчин, которые дремали в тени. А на самом краю открытой поляны Тарзан заметил вооруженных воинов. Они, очевидно, охраняли поселок от неожиданного нападения врага. Ему бросилось в глаза, что трудились одни женщины. Никто из мужчин не работал ни в поселке, ни на полях.

Наконец глаза Тарзана остановились на старухе, сидевшей внизу под ним. Перед нею на маленьком костре был прилажен небольшой котелок, и в нем кипела густая, красноватая смолистая масса. Рядом лежала груда отточенных деревянных стрел. Женщина брала их одну за другой, обмакивала в дымящуюся массу их острия и складывала на узкие козлы из веток, стоявшие по другой сторону костра.

Тарзан пришел в большое волнение. Перед ним раскрывалась тайна разрушительной силы маленьких метательных снарядов Стрелка. Он заметил, что женщина очень старается не коснуться руками кипящего в котле вещества, и один раз, когда крошечная капля брызнула ей на палец, она немедленно окунула его в сосуд с водой и быстро стерла маленькое пятнышко пучком листьев. Тарзан не имел никакого понятия о ядах, но его острое воображение подсказало ему, что убивает именно это смертельное вещество, а не маленькая стрела, которая только несет страшный состав в тело жертвы.

Ему страстно захотелось получить побольше этих маленьких смертоносных лучинок. Если бы женщина хоть на минуту оставила свою работу, он бы сейчас же спустился на землю и сумел захватить пучок стрел и снова вернуться на дерево прежде, чем она успела бы вздохнуть. Он уже

обдумывал, как отвлечь ее внимание, как вдруг дикий крик донесся с конца открытой поляны. Тарзан взглянул туда. Под деревом, на том самом месте, где час тому назад был умерщвлен убийца Калы, стоял черный воин. Он кричал и размахивал над головой копьем, по временам указывая на что-то, лежащее у его ног.

Поднялся переполох. Вооруженные люди выбегали из хижин и мчались сломя голову через поля к возбужденному воину. За ними побрели старики, побежали женщины и дети, и в мгновение селение опустело.

Тарзан понял, что найден труп его жертвы, но это не интересовало его сейчас. В деревне не осталось никого, кто мог бы помешать ему забрать запас стрел. Быстро и бесшумно спустился он к котлу с ядом. С минуту он стоял неподвижно, с интересом рассматривая селение живыми, блестящими глазами. Не было видно никого. Взгляд его остановился на открытой двери ближайшей хижины. Тарзану захотелось заглянуть в нее, и он осторожно подошел к строению с низкой крышей.

Сперва он постоял у входа, чутко прислушиваясь. Ни звука! Тогда он скользнул в полумрак хижины. По стенам висело оружие — длинные копья, странного вида ножи и два узких щита. В середине хижины стоял котел, а у дальней стены — подстилка из сухих трав, покрытая плетеными циновками, очевидно, служившая владельцам постелью и одеялом. На полу лежало несколько человеческих черепов.

Тарзан не только ошупал каждый предмет, но и перенюхал их, потому что он «видел» главным образом своими высокоразвитыми ноздрями. Он решил было взять одно из длинных острых копий, но не мог захватить его из-за стрел, которые непременно хотел унести. Он снимал со стены одну вещь за другой и складывал в груду посредине комнаты. Поверх всего он поставил перевернутый котелок, а на котелке водрузил один из ухмыляющихся черепов и надел на него головной убор убитого им Кулонги. Затем он отошел в сторону, чтобы полюбоваться на свое произведение, и усмехнулся. Приемыш обезьян любил шутить.

В это мгновение он услышал снаружи множество голосов, раздавался долгий жалобный вой и громкие причитания. Тарзан встревожился. Но слишком ли долго пробыл он здесь? Быстро выскочив из дверей, он взглянул вдоль улицы по направлению к воротам. Туземцев еще не было видно, хотя он ясно слышал, что они приближаются. Голоса раздавались совсем близко.

Как молния, прыгнул он к груде стрел. Ухватив все, что можно было унести одной рукой, он опрокинул ногой кипящий котел и исчез в листве дерева как раз в тот момент, когда первый дикарь уже входил в ворота на другом конце поселка. Качаясь на ветке, как дикая птица, готовая слететь при первой опасности, Тарзан стал наблюдать за тем, что теперь происходит в деревне.

Улица была запружена народом. Четверо туземцев несли тело Кулонги. За ними шли женщины, испускавшие страшные вопли и громко рыдавшие. Шествие остановилось у дверей хижины Кулонги — той самой, на которую Тарзан произвел набег. Носильщики вошли в хижину, но почти тотчас же

в диком смятении выскочили наружу, возбужденно тараторя. Все яростно жестикулировали и говорили, указывая на хижину, пока несколько воинов не подошли и не заглянули туда. Один из них вошел в хижину. Это был старик, обвешанный металлическими украшениями, с ожерельем из сухих человеческих рук, ниспадавшим на грудь — сам Мбонга, король, отец убитого Кулонги. В течение нескольких минут все молчали. Вскоре Мбонга вышел из хижины с выражением гнева и суеверного страха, сквозившим на его страшном лице. Он что-то сказал воинам, и те в одно мгновение бросились обыскивать каждую хижину и каждый уголок поселка.

Сразу же был замечен опрокинутый котелок, а заодно и обнаружена пропажа отравленных стрел.

Мбонга никак не мог объяснить этот ряд страшных и таинственных происшествий. находка на самой границе их полей еще теплого трупа его сына, зарезанного и обобранного чуть ли не на пороге отцовского дома, была сама по себе достаточно загадочна, но страшные открытия в самом поселке и в хижине мертвого Кулонги наполняли сердца дикарей невыразимым смятением и поставили их в тупик. Столпившись кучками, они говорили вполголоса, испуганно вращали по сторонам белками своих вытаращенных глаз.

Тарзан все время наблюдал за ними со своего убежища. Многое в их поведении было для него непонятно, так как он не знал суеверий, а о страхе имел лишь очень смутное представление.

Солнце высоко стояло в небе. Тарзан сильно проголодался, а до того места, где была им зарыта початая поутру туша вепря, было еще много миль. И потому он прекратил наблюдение и углубился в густолиственную чащу джунглей.

## Обезьяний царь

Тарзан еще засветло добрался до своего племени, хотя и останавливался по дороге, чтобы съесть остатки закопанного дикого вепря и снять лук и стрелы Кулонги с вершины, на которой он их запрятал. Тяжело нагруженный, спрыгнул он с дерева посреди племени Керчака. Гордо выпятив грудь, принялся он за рассказ о славных своих приключениях и долго хвастался своею добычей.

Керчак, ворча, отвернулся: он завидовал этому странному члену племени. Его маленький злой мозг давно искал какой-нибудь предлог, чтобы излить на Тарзана свою ненависть.

На следующее утро при первых лучах зари Тарзан принялся упражняться в стрельбе из лука. Сначала он давал почти сплошные промахи, но постепенно научился направлять маленькие стрелы как следует. Не прошло и месяца, как он уже метко стрелял. Но успехи обошлись ему дорого: он извел почти весь запас стрел.

Племя Керчака продолжало кочевать вдоль берега моря, так как охота здесь была хороша, и Тарзан чередовал свои упражнения в стрельбе с чтением имевшихся в отцовской хижине книг.

Однажды молодой английский лорд нашел в

хижине запрятанную в глубине одного из ящиков металлическую шкатулку. Ключ был в замке, и после недолгого обследования Тарзану удалось успешно раскрыть это хранилище. В нем он нашел поблекшую фотографию гладко выбритого молодого человека, осыпанный бриллиантами золотой медальон на короткой золотой цепочке, несколько писем и маленькую книжку. Тарзан рассмотрел все это очень внимательно.

Ему больше всего понравилась фотография, потому что глаза молодого человека улыбались, а лицо было открытое и приятное. Ему, конечно, и в голову не приходило, что это его отец.

Медальон тоже понравился ему. Тарзан медленно повесил его себе на шею, в подражание украшениям, которые он видел у черных людей. Сверкающие камни странно блестели на его гладкой смуглой коже.

Содержания писем он так и не смог разобрать, потому что почти не знал рукописных букв. Он положил их назад в шкатулку вместе с фотографией и обратил свое внимание на книжку.

Она была сплошь исписана тонким почерком, и хотя маленькие букашки были ему знакомы, их сочетания казались ему странными и совершенно непонятными. Тарзан давно уже научился пользоваться словарем и хотел применить его, но, к его огорчению, словарь оказался тут бесполезным. Во всей книге он не нашел ни одного понятного ему слова и спрятал ее обратно в металлический ларец, отложив разгадку тайны.

Бедный обезьяний приемыш! Если бы только он знал, что маленькая книжечка заключала в своем крепком переплете из тюленьей кожи ключ к его происхождению и ответ на всю загадку его странной жизни! Это был дневник Джона Клейтона, лорда Грэйстока, написанный по-французски.

Тарзан поставил шкатулку в шкаф, но с той поры уже не забывал милого и мужественного лица своего отца и затаил в памяти твердое решение разгадать тайну странных слов, начертанных в маленькой черной книжке.

Сейчас же перед ним стояла важная и неотложная задача. Весь запас стрел кончился, и предстояло возобновить его, сделав набег на поселок черных людей.

На следующий день рано утром он отправился в путь и еще до полудня очутился у деревни чернокожих. Как в прошлый раз, он влез на то же большое дерево и увидел женщин, работавших на полях и перед хижинами; и опять, как тогда, прямо под ним на костре бурлил котелок с ядом.

Несколько часов пролежал на ветке Тарзан, выжидая удобный момент, чтобы захватить стрелы. Улица была все время полна народу. День уже угасал, а Тарзан все еще лежал, притаившись над головою ничего не подозревавшей женщины, которая хлопотала у котла.

С полей вернулись работницы. Охотники потянулись из леса, и, когда все вошли в палисад, ворота были накрепко заперты. По всей деревне зажгли костры и забурлили котелки. Перед каждой хижинной женщины варили похлебку, и у всех в руках были видны лепешки из маниоки и проса.

Неожиданно с лесной опушки послышался окрик, Тарзан взгляделся. Возвращался отряд заповдавших охотников. Они тащили за собой какое-



то сопротивлявшееся животное. Ворота распахнулись, чтобы впустить их. Рассмотрев жертву охоты, чернокожий народ Мбонги испустил неистовый крик радости: это был человек.

Когда пленника, все еще сопротивляющегося, потащили по улице, женщины и дети набросились на него с палками и камнями. И Тарзан, молодой дикий зверь джунглей, удивился жестокости животных своей породы. Из всех обитателей джунглей один только леопард Шита мучил свою добычу. Этика всех других тварей предписывала быструю и милосердную смерть.

Тарзан из своих книг извлек лишь отрывочные и скудные сведения об образе жизни человеческих существ. Когда он гнался в лесу за Кулонгой, то думал, что его след приведет или к городу странных домов на колесах — домов, пускавших клубы черного дыма из большого дерева, воткнутого в крышу одного из них, или к морю, покрытому большими плавучими зданиями, которые, как он знал, назывались различно: судами, парусниками, пароходами и барками. Поэтому он был очень разочарован жалким тростниковым поселком, уютным в его родных джунглях, в котором не видно было ни одного дома даже такой величины, как его собственная хижина на далеком берегу. Тарзан убедился, что народ этот еще более злой, чем его обезьяны, и жестокий, как сама Сабор, и он перестал относиться с прежним уважением к своей породе.

Между тем чернокожие привязали пойманную жертву к большому столбу, напротив хижины Мбонги, и воины, потрясая копьями и ножами, образовали вокруг пляшущий и поющий хоровод. Вокруг танцующих воинов уселись женщины, они били в барабаны и выли. Это сразу напомнило Тарзану Дум-Дум, и теперь он уже знал, что следует дальше. Но все же сомнение закралось в него: не кинутся ли чернокожие на мясо еще живой жертвы? Обезьяны никогда не делали этого.

Кольцо вокруг пленника все сужалось и сужалось, умопомрачительный грохот барабанов становился все громче. Вдруг мелькнуло копье и укололо жертву. Это послужило сигналом для пятидесяти других копий. Глаза, уши, ноги и руки пленника были проколоты, каждый дюйм его трепещущего тела стал мишенью жестоких ударов. Дети и женщины визжали от восторга. Воины облизывали толстые губы в предвкушении ожидавшего их угощения и соперничали друг перед другом в гнусности омерзительных жестокостей, которые они изобретали, пытая несчастного, все еще не потерявшего сознания.

Тогда Тарзан решил, что удобное время настало. Внимание всех было поглощено жутким зрелищем у столба. Дневной свет сменился тьмою безлунной ночи, и только горящие костры бросали тревожные блики на дикую сцену.

Человек-обезьяна пружинно спрыгнул на мягкую землю. Он быстро собрал стрелы — на этот раз все, так как принес с собой длинные тонкие лианы, чтобы связать их в пучок. Тарзан связал их накрепко, не спеша, и уже собирался уйти, как вдруг словно какой-то озорной бесенок заставил его остановиться. Ему захотелось сыграть какую-нибудь ловкую шутку над этими уродливыми со-



зданиями, чтобы они снова почувствовали его присутствие в деревне.

Положив связку стрел у подножья дерева, Тарзан стал пробираться по затененной стороне улицы, пока не дошел до самой хижины, в которой он уже побывал однажды. Внутри была полная тьма, но, пошарив, он нашел предмет, который искал, и немедленно повернулся к дверям. Но выйти он не успел. Его чуткие уши уловили где-то совсем близко звук приближающихся шагов. Еще минута — и фигура женщины заслонила вход в хижину.

Тарзан бесшумно прокрался к дальней стене, и рука его нащупала длинный острый охотничий нож. Женщина быстро прошла на середину хижины и на мгновение остановилась, нащупывая вещь, за которой пришла. Очевидно, ее не было на обычном месте, и женщина в поисках все ближе и ближе подвигалась к стене, у которой притаился Тарзан. Она подошла теперь так близко, что обезьяна-человек чувствовал животную теплоту ее голого тела. Он замахнулся охотничьим ножом, но женщина в это мгновение отодвинулась в сторону, и ее спокойное гортанное восклицание показало, что поиски, наконец, увенчались успехом. Когда женщина выходила, Тарзан разглядел, что она несет горшок для варки пищи.

Выглянув в дверь, увидел, что многие женщины торопливо наполняли горшки водой и ставили на костры близ столба, где висел неподвижный, окровавленный, истерзаный труп.

Выбрав минуту, когда никого поблизости не оказалось, Тарзан поспешил в конец улицы к своей связке стрел под деревом. Как и в прошлый раз, он опрокинул котел, а затем гибким кошачьим прыжком взобрался на нижние ветви лесного гиганта. Тарзан поднимался выше, пока не нашел места, откуда сквозь просвет в листья мог свободно видеть все, что происходило внизу. Женщины рубили истерзанное тело пленника на куски и раскладывали их по горшкам. Мужчины стояли кругом, отдыхая от воинственного танца. В деревне воцарилось спокойствие.

Тогда Тарзан высоко поднял находку, взятую из хижины, и с меткостью, достигнутой годами упражнений в швырянии плодов и кокосовых орехов, бросил его в группу дикарей. Предмет, ударив одного из воинов по голове и сбив его с ног, упал среди них. Покатившись, он остановился у полуистерзанного тела, приготовленного для пиршества. Оцепенев, в ужасе смотрели на него чернокожие.

Это был человеческий череп, который скалили на них зубы. Падение его с ясного неба казалось чудом. Чернокожих охватил суеверный страх. Они разбежались по своим хижинам. Своею хорошо рассчитанной проказой Тарзан внушил дикарям вечный ужас пред какой-то невидимой и неземной силой, подстерегающей их в лесу вокруг поселка.

Позже, когда они нашли перевернутый котел и увидели, что стрелы снова украдены, в бедном мозгу людоедов зародилась мысль, что они оскорбили какого-то могущественного бога, правящего этой частью джунглей. Он мстит им за то, что, выстроив здесь поселок, они не подумали умилостивить его предварительно богатыми дарами. С той поры народ Мбонги стал ежедневно остав-



лять пищу под большим деревом, откуда исчезли стрелы. Это была попытка задобрить таинственного Могучего.

Семя страха было глубоко посеяно в дикарях, и Тарзан, сам не ведая того, заложил основу многих будущих несчастий для себя и для своего племени.

В ту ночь он спал в лесу, неподалеку от поселка, и следующим утром на заре медленно двинулся в обратный путь. Он был страшно голоден, а ему как назло попадались только ягоды и листовенничные гусеницы... Увлеченный поисками еды, он случайно поднял голову над пнем, под которым он рылся, и вдруг на тропе, менее чем в двадцати шагах от себя, увидел львицу Сабор. Большие желтые глаза ее горели злобой, красный язык жадно облизывал губы. Сабор тихо кралась, почти касаясь земли животом.

Тарзан и не думал бежать. Он был рад случаю, которого ждал давно. Ведь теперь он был вооружен не одной лишь травяной веревкой. Быстро снял он лук со спины и вложил в него стрелу, тщательно смазанную ядом. Когда Сабор прыгнула, маленькая острая палочка встретила ее на полпути, а Тарзан мгновенно отскочил в сторону. Громадная кошка промахнулась, и другая ядовитая стрела глубоко вонзилась ей в бедро.

С ревом зверь извернулся и прыгнул еще раз — и опять неудачно, третья меткая стрела попала ей прямо в глаз. Но на этот раз львица оказалась слишком близко к обезьяне-человеку, чтоб тот мог увильнуть. Тарзан рухнул под тяжестью огромной туши врага, успев нанести львице несколько ножевых ран. Тело Сабор отяжелело и замерло. Тарзан понял, что львица, упавшая на него, никогда больше не сможет вредить ни человеку, ни обезьяне.

Сабор была не лучшей едой даже для неприхотливого Тарзана, но голод — хорошая приправа для жесткого и горького мяса, и вскоре обезьяна-человек исправно набил себе желудок. Прежде чем заснуть, он решил снять шкуру с львицы: это была ведь одна из причин, ради которых он добивался смерти Сабор. Тарзан проворно снял большую шкуру, потому что хорошо уже набил руку на маленьких животных, и повесил трофей на разветвление высокого дерева. Затем, свернувшись поудобнее, погрузился в глубокий сон без сновидений.

Недосыпавший в прежние дни, утомленный и плотно поевший, Тарзан проспал полный солнечный круг и проснулся лишь около полудня следующего дня. Он тотчас же спустился вниз к освеженной туше Сабор, но к досаде своей нашел одни кости, чисто обглоданные другими голодными обитателями джунглей.

Через полчаса неторопливого шествия по лесу он увидел молодого оленя, и, прежде чем тот почувствовал врага, острая стрела вонзилась ему в шею. Яд подействовал так быстро, что, сделав несколько прыжков, олень пал мертвым в кустарнике. Тарзан опять хорошо поел, но на этот раз не лег спать. Он спешил туда, где кочевало его племя, и, встретив обезьян, с гордостью показал им шкуру Сабор.

— Обезьяны Керчака, — кричал он, — смотрите! Смотрите, что совершил Тарзан, могучий боец!

Кто из вас когда-либо убил зверя из племени Нумы? Тарзан сильнее вас всех, так как Тарзан не обезьяна... — но тут он был принужден прервать свою речь, потому что на языке антропидов не существовало слова для обозначения человека, и сам Тарзан мог только писать это слово, да и то по-английски, а произнести его не умел.

Все племя собралось вокруг. Обезьяны слушали его речь, созерцая доказательство его удивительного подвига. Только Керчак остался в стороне, кипя от ненависти и бешенства. Внезапно что-то сорвалось в тупом мозгу антропоида. С бешеным ревом бросился он на толпу. Кусаясь и колотя своими огромными руками, он убил и искалечил с дюжину обезьян, прежде чем остальные успели убежать на верхние ветки деревьев. В безумии Керчак с визгом осматривался кругом, ища глазами Тарзана, и вдруг заметил его сидящим поблизости на ветке.

— Спустись-ка теперь, великий убийца, — вопил Керчак, — спустись и почувствуй клыки более великого! Разве могучие бойцы забираются на деревья и трясутся при виде опасности? — И Керчак вызывающе испустил боевой клич племени.

Тарзан спокойно сошел на землю. Еле дыша, смотрело племя со своих высоких насестов, как Керчак, продолжая реветь, бросился на легкую фигуру противника. Несмотря на свои короткие ноги, Керчак достигал почти семи футов в высоту. Его огромные плечи были оплетены громадными мускулами.

Выжидая его, стоял Тарзан — тоже крупное и мускулистое животное. Но его рост и стальные мышцы казались жалкими рядом с исполинской фигурой Керчака. Лук и стрелы лежали в стороне — там, где он их оставил, показывая шкуру Сабор соплеменникам. Он стоял лицом к лицу с Керчаком, вооруженный одним охотничьим ножом и человеческим разумом.

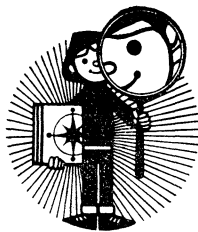
Когда его противник с яростным ревом бросился на него, лорд Грэйсток вынул из ножен длинный нож и с таким же неистовым вызовом быстро бросился вперед навстречу противнику. Он был достаточно ловок, чтобы не позволить длинным волосатым рукам охватить себя. В то мгновение, когда тела их должны были столкнуться, Тарзан сжал кисть одной из рук противника и, легко отскочив в сторону, вонзил по самую рукоятку нож в тело обезьяны, пониже сердца. Но прежде, чем он успел выдернуть нож, быстрое движение Керчака, пытавшегося схватить его в свои ужасные объятия, вырвало оружие из рук Тарзана.

Так боролись они: один — стараясь перекусить шею своего соперника страшными зубами, другой силясь сжать горло своей рукой, в то же время отстраняя от себя оскаленную пасть зверя. Более мощная обезьяна начинала, казалось, медленно брать верх, и зубы зверя были уже в дюйме от горла Тарзана. Но вдруг Керчак содрогнулся всем своим грузным телом — на одно мгновение как бы замер, а затем безжизненно свалился на землю.

Он был мертв.

Таким образом молодой лорд Грэйсток сделался царем обезьян.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



МИР

# на ладоны

Три тысячи карандашей

Рудольф Вардович Варданян показывал свою коллекцию в Политехническом музее. В его собрании — продукция старинных и современных фирм из сорока одной страны мира. 3200 карандашей... Наверное, нет здесь только самого первого карандаша — ведь предком этого распространенного предмета была просто свинцовая палочка. Жезл бога торговли Меркурия изображен на старинных карандашах для конторских служащих. Плоские карандаши служили столярам и плотникам. Карандашиками не длиннее ладоны пользовались игроки в гольф. Почтовые служащие имели свои карандаши — в виде почтового рожка. Есть в коллекции Р. Варданяна и мини-карандаши, и огромные — трости. Любопытны названия наших карандашей 20—30-х годов: «Деловой», «Пятилетка», «Стратостат», «Индустриальный»... Карандашами фирмы «Хаммер» работал отец коллекционера. Сам Рудольф Варданян начал собирать свою коллекцию еще будучи студентом Грузинского политехнического института.

Н. ДАНИЛИНА

Сибирь — Аляска

Когда появились первые люди на североамериканском континенте? Как происходило его заселение? Археолог Инженерного корпуса армии США Джоржен Кейнолдс сообщил, что на Аляске обнаружено около 160 участков, представляющих большой интерес для историков.

Радиоуглеродный анализ некоторых предметов, из числа найденных в большом количестве недалеко от Форта Грили, позволил определить их возраст. Оказалось, что им 8,5—10 тысяч лет, причем изделия из камня похожи на аналогичные из Центральной Азии.

Уже сейчас открытия позволяют прийти к заключению, что первые поселенцы пришли на континент через Берингов пролив. По всей вероятности, это были выходцы из Сибири и Монголии, и именно они являются предками современных североамериканских эскимосов, индейцев и алеутов.

Е. СОЛДАТКИН

Был ли Евклид?

Во всех справочных изданиях, нынешних и давнишних, можно прочесть: «Евклид — древнегреческий математик. Работал в Александрии в III веке до н. э. Важнейший труд Евклида — «Начала» (в 15 книгах), где содержатся основы античной математики...» Его еще называют отцом геометрии. Так почему же теперь ставится под сомнение его существование?

На памятнике Эрастофену в храме Птолемея в Александрии, на котором записаны имена всех крупных математиков эллинского мира той эпохи, имя Евклида отсутствует. Даже больше: в сохранившихся хрониках, где повествуется о «Началах», нет никаких сведений об их авторе как о личности. И никто не может привести хотя бы одну достоверную деталь из жизни Евклида.

Этот парадокс и послужил поводом для предположения, что имя «Евклид» выбрала псевдонимом группа александрийских математиков. Некоторые исследователи считают, что первый вариант «Начал» был написан Гиппократом Хиосским и что его можно считать автором первых четырех книг, позже переработанных теми, кто выступал под псевдонимом «Евклид». Конечно, это лишь догадка, которая высказана в попытке ответить на вопрос: а был ли Евклид?

В. РОЦАХОВСКИЙ

Дров не хватает

Как сообщает организация по распределению продуктов питания и сельского хозяйства при ООН, интенсивная расчистка земель для нужд сельского хозяйства в некоторых странах третьего мира создала для ста миллионов человек в двадцати шести государствах проблему острой нехватки дров. Так, например, в сельских районах Кении женщины вынуждены затрачивать на поиски дров еженедельно по 24 часа. А в некоторых местах, как отметил председатель международной организации «Эртскон», занимающийся вопросами исследования окружающей среды, вместо дров сжигают сухой навоз, который мог бы быть использован в качестве удобрения на полях.

Е. ИВАНОВ

Мясо или рыба?

На низменных просторах от Панамы до Аргентины обитает самый крупный в мире грызун — капибара. Отдельные животные достигают веса 60 килограммов. «Капибара» на языке индейцев гуарани означает «господин травы»: потому что питается различными видами травянистых растений, да и водится только там, где много травы и имеются водоемы. Зверьки хорошо плавают и ныряют. На них охотятся, а мясо употребляют в пищу. Тесная связь капибар с водой привела к любопытному казусу.

Примерно 300 лет назад католическая церковь решила вдруг отнестись капибар... к рыбам. Как известно, празднику Пасхи предшествует долгий пост, во время которого мясо верующим есть запрещается. Святым отцам в аппетите не откажешь, вот и решили они превратить «пороса в караса», то бишь капибару в рыбу. Правда, выиграло от этого все население, получив существование дополнительное к своему, в основном, скудному столу.

Е. СОЛДАТКИН

Водка из моря

В одном из норвежских городков полиция задержала трех местных жителей, вышедших из моря в полной экипировке аквалангистов. С собой у них были большие пластиковые мешки, наполненные... бутылками водки. Оказалось, что недавно в том районе с парома упал в воду грузовик с алкогольными напитками.

Поскольку в Норвегии крепкие напитки дороги, и стоимость затопленного на глубине нескольких метров груза составляла 150 тысяч долларов, полиция решила выставить специальный пост для охраны этой части фиорда от любителей бесплатной выпивки.

Это оказалось вполне оправданным шагом: в первые же дни патрулирования были задержаны те три аквалангиста, пытавшиеся опередить спасателей.

Б. ПИНАЕВ

Мирная пушка

Житель маленького испанского городка Сегорбе Хосе Родригес соорудил действующую модель средневекового орудия. Пушка с двухметровым стволом стреляет... настоящими конфетами. Несмотря на многочисленные и порой заманчивые предложения продать орудие, гордый автор категорически отказывается это сделать, настаивая на том, чтобы пушка осталась в Сегорбе как символ мирного применения огнестрельного оружия. Об этом сообщила испанская газета «Паис».

Д. ЭЙДЕЛЬМАН

# ВЛАСТЕЛИНЫ

# И ПЛАСТИЛИНЫ



Юрий ШИНКАРЕНКО

Рис. Сергея Григорьевина

I.

Если, стряхнув осеннюю грязь, войти в типовое здание *учаги*, подняться по крутой лестнице и открыть дверь с табличкой «Черчение», — окажешься в кабинете, который похож на целлофановый пакет токсикомана, заправленный дурьем. После недавнего ремонта пахнет масляной краской, в форточку тянется шлейф гари от соседней кочеварки.

«Весь Свердловск торчит от «Нау!» — нацарапано на стене кочеварки. А ниже — девическим почерком: «Умру, но выйду замуж за катала!» Остальных надписей с высоты второго этажа не разобрать, они слились в серую паутину. Зато хорошо просматривается «дно» — старая угольная яма, где расставлены деревянные ящики, экспропрированные в продуктово. На них сидят ребята в робах цвета подсолнечного масла, греются в последнем солнце года, курят и переговариваются о Лысом, которого недавно увел с занятий следователь.

Разговор ленив и несколько схоластичен: «повесят» ли

преступление Лысого на *учагу* или не «повесят». С одной стороны, Лысый из одиннадцатой группы, но, с другой стороны, мотоцикл он угнал летом, когда к ПТУ не имел никакого отношения.

Можно подумать, ребят волнует график «Рост преступности в нашем ПТУ», который висит в кабинете замдиректора по учебно-воспитательной работе Ирины Петровны (она же — Ириша, она же — «Ша!», последняя кличка буквально воспроизводит любимый Иришей воспитательный императив). Кривая на графике ползет вниз: 86 год — 15 преступлений, потом — 13, 12, 10... Снижение преступности — Иришина заслуга. Три года ей удается делать так, что летние похождения воспитанников в «актив» ПТУ не засчитываются. В прошлом году она сотворила вообще невозможное, доказав, что если человек совершил семнадцать краж будучи учеником школы, а на одной-разъединственной попался как пэтэушник, то логичнее и это преступление подарить школьной статистике... Ребят в робах волнует, будет ли на сей раз спа-

сен график от Лысого. Если нет — «Ша!» будет плакать. А тогда плакала обещанная дискотека в общаге.

Но отвлечемся от кочегарки, ибо мы уже привлекли внимание одиннадцатой группы, и двадцать с лишним пар глаз устали на нас с тревожным ожиданием.

Если, слегка потакая подростковому словотворчеству, спросить у одиннадцатой группы: «Кто у вас *по базару* самый *крутой*?» — пэтэушный народ несказанно развеселится, развернется к худенькому круглолицему парнишке с пухлыми, словно небрежная нашлепка из розового пластика, губами. Кто-то скажет:

— Вон, Князь у нас базаром брызжет!

И ребята наперебой начнут вспоминать:

— Получаем учебники в библиотеке... Князю попалась потрепанная книжка. Он говорит: «Ага, у вас новенькие, а у меня — замухрелая!»

— У нашей «Ша!» дурацкая привычка чесать спину о дверной косяк. Князь в первый раз это увидел и у меня спрашивает: «Зачем она при всех-то чурхается?»

— Да пусть он сам побазарит! — предлагает кто-то и удобно устраивается в ожидании комедии. — Начинать, Князь: давеча, внижняку, взягушки, кино казать... Вставай, говори! Как по-твоemu мочалка?

Круглолицый мальчик безропотно встает, густо краснеет и улыбається, как анимационный Буратино.

— Вихть, — отвечает он на вопрос.

Группа смеется:

— Ну, деревня... Мы теперь всех тутошних *мочалок* (ну, проституток) с его легкой руки зовем вихтьями... Ему бы пуховых поросят разводить, а он — в строительное...

— Что вы на меня батон ложками крошите? — хоть не очень умело, но старательно-развязно парирует Князь.

## II.

Немного статистики. На 1 октября 1989 года в профтехсистеме Свердловской области обучалось более 67 тысяч подростков. В отделе прогнозирования и подготовки рабочих кадров Управления народного образования Свердловского облсполкома мы пытались узнать еще одну цифру: количество маргиналов... То есть ребят, которые ради продолжения образования уехали из своих родных мест и «зависли» меж разных общественных слоев (ни колхозники — ни рабочие, ни деревенские — ни городские).

Оказалось, что вот уже несколько лет (после нарбазовской реформы) такого учета не ведется. Реформа подсократила позиции в отчетах, но вместе с водой выплеснула и ребенка, ибо прогнозировать рабочие кадры, не зная (или не желая знать), сколько «промежуточных» ребят учится в ПТУ, — все равно что подсчитывать звезды, плюсуя к ним кометы, сгорающие метеориты, обломки космической техники...

Проблема маргинальности, как знойный воздух пустынь, искажает дальние горизонты и рождает миражи...

Природа этих миражей очень точно охарактеризована Е. Стариковым в статье «Маргиналы» («Знамя», № 10, 1989): «...уродливая система (бюрократическая — авт.) мешает и воспроизводству рабочего класса на своей собственной основе. Чтобы искусственно поддержать хиреющий процесс такого воспроизводства, используется система ПТУ, долженствующая пополнять рабочий класс крупных городов за счет сельской молодежи... Заведомая предопределенность жизненного пути в качестве «работяги», «пахарей», фактическое неравенство со сверстниками из других социальных слоев, плохая постановка учебно-воспитательного процесса — все это делает ПТУ не столько источником пополнения рабочего класса, сколько еще одним каналом его маргинализации. Так, например, из пришедших на стройку выпускников СПТУ Ленинграда половина бросает работу в течение первого года...»

Желающих узнать о патологических кровосмесительных отношениях между отцом — казарменным социализ-

мом и дочерью — маргинальностью, отсылаем к упомянутой статье.

Мы же рассмотрим одну цепочку превращений, избежать которую дано не всем выходцам из деревни. Метаморфозы такие: сельский парень (девushка) — маргинал, виктимная личность (то есть потенциальная жертва преступного мира) — криминогенная личность — преступник...

Подтвердить бы цифрами вероятность подобной «карьер», но — снова статистический вакуум. Из имеющихся у нас данных лишь несколько цифр могут каким-то образом прояснить проблему: по данным пресс-центра УВД Свердловского облсполкома за 11 месяцев 1989 года выявлено 5480 несовершеннолетних преступников (рост по сравнению с 1988 годом — 23%), из них 1577 — школьники, 1431 — учащиеся ПТУ... 1431 — ох, и хитра эта цифра! Складывается впечатление, что нынешняя школа криминогеннее любого ПТУ. Не будем обелять современную школу, которая штампует далеко не «гармоничные развитые личности». Обратим внимание, что ПТУ в областной статистике представлено лишь своей НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ частью, а преступления совершеннолетних деликатно и незаметно для беглого взгляда приплюсованы к общей сумме всех правонарушений, и сколько пэтэушников приложили руку к этому — бог его знает...

Что за всем этим? За нежеланием знать одну из самых взрывоопасных тенденций — тенденцию к маргинальности? За развешиванием преступной статистики в ПТУ на чужие шестки и полочки? Просто недоработки? Хотелось бы верить, но...

Мы уже привыкли, что каждая бюрократическая структура, к каковому можно отнести и нарбазовскую, обладает обостренным чувством самосохранения. В некоторых звеньях случаются прорывы (как в пресловутой Казани, где пытаются ликвидировать систему ПТУ — источник молодежной преступности, монолит своеобразной, уже неразрушимой педагогами подростковой этики), но остальные звенья незамедлительно реагируют на подобные сбои и защищают себя с удвоенной энергией: ПТУ — катализатор опасной для общества маргинальности? — и росчерком пера вычеркиваются из отчетов нужнейшие сведения! ПТУ рождает преступность? — и груз ответственности умело распределяется по чужим плечам!

Не подобную ли самозащиту наблюдаем мы в «свердловском звене» могущественного профтехобра?

Если это так, мне очень хочется, чтобы с судьбой моего героя-маргинала познакомились дяди и тети в уютных нарбазовских креслах.

## III.

Покидая свою деревушку, Князь в последний раз в счастливом отстранении посмотрел из окна автобуса на жирных гусей, животы которых густо измазались черноземом, а крылья и спины сияли, омытые предосенним дождем.

Мать отпросилась с работы. Сняла с книжки двести рублей. И поехала с сыном. Князь уговаривал ее остаться. Она заупрямилась, ссылаясь на то, что четверым младшим нужно «подкупить к школе одежку», да и самого Князя одеть надо — штанины школьных брюк уже над шиколотками поднялись.

В поезде Князь не спал. И мать не спала. Ныла: «Может, раздумаешь? Может, поближе куда пристроишься? Что тебя черти гонят на край света?» Князь не отвечал.

Самозванные послы деревни, какие ветры сгоняют вас в столицу Урала? Разве трудно ответить на этот вопрос... Они отрываются от сараев, коров, куч золы на задворках, от «Вывези навоз!», от пустых по вечерам улиц, скрипа колодезного журавля и хлеба, закупленного про запас на неделю, разбитого плафона единственного на улице фонаря, от поплавка на реке, заячьих следов возле магазина, корней морковника, кровяных нор, от дороги, в уборочную накатанной солдатскими машинами до зеркального блеска, от снов с полетами... от школы, от детства, от родителей... Они стремятся к гудкам электричек,

к клавишам компьютера, зазывному подмигиванию «видяшек», двум порциям мороженого по 20 коп., к как-хорошо-что-тебя-никто-не-узнает-на-улице, кружкам у-шу, заработанным деньгам, к преподавателям, делающим в слове «Свердловск» ударение на втором слоге, к огурцам-не-с-грядок, к самолету на крыше школы ДОСААФ... к самостоятельности, к профессии, школе жизненного опыта.

Но, увы, сначала этим ребятам придется пройти ШКОЛУ ВЫЖИВАНИЯ.

Эта школа не пользуется наробразовскими методиками. Она создала свои, и они оказались более эффективными, чем официальные, ибо с их помощью все премудрости выживания усваиваются в первые же недели. Просты методы этой школы — страх и унижение. Скромн пере-чень ее предметов: «Этика настоящего пацана», «1001 способ раздобыть деньги», «Основы сексуальной агрессии», «Блатной язык».

Многоглазо это чудище... Умеет оно усмотреть того, кто временно оказался на перепутье. Нюхом чует одиночество неокрепшей души.

Выходим из районных центров, из крупных промышленных узлов типа Нижний Тагил, Алапаевск, Каменск-Уральский обживание Свердловска дается легче. Во-первых, на своей малой родине они уже сталкивались с законами, по которым живет среднестатистический юный свердловчанин. Во-вторых, эти ребята имеют возможность держаться землячествами, агрессивными группами в пятьдесят человек.

Одиноким же представитель глубинки не защищен ни свитой, ни знанием современного подросткового быта.

Впрочем, тем, кто сбился в землячества, *шараги, конторы*, кто замаскировал свое одиночество словами: «Я шарю среди катал, фарцы» и т. п. — светлыми свои души не сохранить. Уроков ШКОЛЫ ВЫЖИВАНИЯ не избежать никому. Она вербует не только учеников, но и учителей: чтобы властвовать, она умеет разделять — на жертв и палачей. Она не дает простора выбору: не хочешь стать палачом, оставайся жертвой.

...С вокзала Князь с матерью пошли в ЦУМ, покупать одежду, и неожиданно встретились с землячкой.

— Светонька,— запела мать,— а ты как здесь?

— Поступить приехала,— ответила одноклассница Князя.— В каблук, в строительную...

Мать посмотрела на сына и больше не пыталась пере-чить.

С помощью Светоньки одели Князя. Штормовку по-счастливилось купить в магазине, а за брюками пошли к кооператорам. Князю до сих пор стыдно, за то, как вела себя мать, услышав цену за синие спортивные брюки с белыми лампасами, составленными из серпов и молотков.

— А вы как хотите? — спокойно спросила привыкшая ко всему продавщица.— Это же писк моды. А ля Ельцин. Вот гляньте на фотографию из «Штерна!». Видите, на нем точно такие же...

Мать набрала воздуха в легкие, но Князь одернул ее:

— Ты же не на дойке! Не надо мне никаких штанов! Пошли отсюда!

Но вместо ожидаемого крика мать вобрала в себя воздух, протяжно выдохнула и протянула кооператорше сотенную.

Десять рублей оставила себе на дорогу. Десять рублей сунула Князю.

И быстро зашагала сквозь толпу, размашисто орудуя левой рукой, а в правой волоча огромную сумку, на дне которой лежал килограмм арахиса, добытый сорокаминутным стоянием в очереди, да две сорокапяткопеечные «Книжки-раскраски» — подарки малышам.

#### IV.

Один из краеугольных камней в отношениях между люмпен-подростками, в их этике — понятие «настоящий пацан», или просто «пацан». Кодекс «настоящего пацана», естественно, не зафиксирован письменно. Попытаемся это сделать, иначе многое в нашем рассказе будет непонятно,

многие мотивы подросткового поведения — необъяснимы. Итак, «Устав настоящего пацана»...

1. Мой собеседник Дима, шестнадцати лет, узнав о намерении классифицировать правила «настоящего пацана», хмыкнул: «На словах этого не объяснить... Если он настоящий — видно сразу. По характеру, по поведению, по одежде. Чтобы парень был настоящим, он должен слегка походить на всех нас. СЛЕГКА ПОХОДИТЬ НА ВСЕХ НАС — несмотря на кажущуюся расплывчатость формулировки, здесь нет ни одного лишнего слова. ВСЕ МЫ — это та часть ребят, которая нами уже обозначена как ЛЮМПЕН-ПОДРОСТКИ (ди люмпен — с немецкого «лохмотья», поэтому можно перевести наше обозначение как «подростки в лохмотьях»). Лохмотья здесь — указание не только на внешний вид, но и на социальное положение, на духовную обделенность: подростки в лохмотьях полузнаний, полукультуры, в обносках социальных проблем, которые так и не смогли «сносить» их родители.

Через все наше современное отрочество тянется незримая граница — порождение общественного неравенства, семейной исковерканности, генетической предрасположенности. По одну сторону этой границы — люмпены, по другую — подростковая аристократия. Как распознать, кто есть кто? С помощью сленгового обозначения группировок. В промышленном Орске Оренбургской области есть *ништяки* (*ништяковые*) и, в противовес им, иное сословие — *черги*. В молодежном жаргоне «черт» имеет глубоко уничижительный оттенок. Нужно ли объяснять, какое из сословий молодых орчан устанавливало «пограничные указатели», обозначало подростковые касты, тем самым замыкая, отгораживая свою?

Обозначение противоположных лагерей в разных городах и даже на разных улицах — разное. Но принцип обозначения схож — как можно больнее ушипнуть противника, указав его основную черту, будь то социальная насыщенность (*мальчики-мажоры*). А свой лагерь достаточно обрисовать парой демократичных и быстро узнаваемых деталей: *фураги, телеги* и т. п. Подобные детали нужны для идентификации нового человека со своей средой, для оперативного и неутомительного теста: может ли новичок, В ПРИНЦИПЕ, быть «настоящим пацаном», ведь в противном лагере таких В ПРИНЦИПЕ нет.

Вот откуда «слегка походить на всех нас». Теперь — почему «слегка». Полная идентификация, похожесть, разрушала бы структуру групповой соподчиненности. Принимаемый в группу подросток должен знать свою нишу согласно собственному характеру, изворотливости, умению постоять за себя. При этом на любом уровне положения он может остаться «настоящим пацаном». И тем больше будет его «настоящесть», чем больше он будет соответствовать той роли, что навязана ему группой.

«Настоящими», к примеру, могут оказаться и второкурники (*супера, старшаки, авторитеты*), и первокурсники (*лохи, быки*). Внутри люмпен-группы *быками* чаще всего называют выходцев из деревни («Потому что они упрямы. *Идут на полусогнутых*, никого не замечают...»).

Кем будет *бык*, нарушающий правила «настоящего пацана»? *Гнилым*. Это точный антоним, который в полной мере относится к лагерю аристократов. Но есть одна важная особенность. *Гнилой* из чужого лагеря ничего, кроме презрения, у люмпена не вызывает (может, только легкое любопытство). Если *гнилым* оказался свой, например, *бык*, люмпен-группа ОБЯЗАНА сделать из него «настоящего пацана». Коллективная ответственность? Нет, способ самосохранения. Бунтарь опасен для такого существования группы, какое выгодно ее шипкам...

2. Теперь частности, показывающие, как понятие «настоящий пацан» помогает сохранять подростковую иерархию у люмпенов.

Представители нижних уровней — первокурсники училищ, техникумов (*быки, лохи*) — никогда не должны про-верять, действительно ли за старшекурсниками (*суперами, старшаками*) стоят сильные покровители, (как правило, ссылаются здесь на преступный мир) — *авторитеты*. Это —

*западно!* Если старшекурсник заявляет, что его друзья — пингвинята, то есть картежные шулера, собирающиеся в кафе «Пингвин», первокурсник должен этому верить...

*Супера* же имеют право, и мало того — обязаны проверить, действительно ли за *быком* стоит *авторитет*, если *бык* такое утверждает. Эта очень важная профилактическая процедура помогает *суперу* прозондировать, можно ли безнаказанно сделать из *быка* дойную корову (выкачать деньги).

Таков закон беззакония! Впрочем, безнаказанность старших — лишь кажущаяся. Стоит какому-либо *авторитету* узнать, что его именем прикрывается совершенно незнакомый наглец (а доброхоты в люмпен-среде найдутся, чтобы сообщить авторитету об этом, и такое доброхотство не осуждается), — тогда наглецу несдобровать! Через своих подручных — *шестерок* — *авторитет* потребует с наглеца *неустойку*.

3. «Настоящий пацан» должен *следить* за своим *база-ром*. Это универсальное правило, его смысл очевиден:

а) не оскорбляй *суперов* — и лишней раз *не получишь в торец*, не будешь бит, не будешь *доен*;

а) не напускай туману, не хвастай тем, чего нет. Старшекурсник желает составить реальный портрет первокурсника (*быка*, *лоха*) по его собственным словам. Желает знать его реальное материальное состояние. Это правило важно и для *супера*, промышляющего вымогательством у своих слабых товарищей, и, особенно, для старшекурсника-наводчика. Наводчик — весьма своеобразная фигура в иерархии люмпен-группы. Он зачастую из сферы аристократов, он достаточно обеспечен, донть быка ему нет необходимости. Но, попав в чужеродную для себя среду, аристократ вынужден от нее защищаться конвенцией с преступным миром. Он вычисляет *лохов*, денежных, но неосторожных ребят, и наводит на них квартирных воров, *катал* или просто вымогателей. Те же, в свою очередь, покровительствуют наводчику и делают его жизнь безопасной. Такой подросток для люмпен-среды — что локоток, который близко, да не укусишь. В нашем очерке тень этого типа промелькнет под кличкой Виртуоз.

Нужно ли говорить, что достоверность информации жизненно важна в первую очередь для наводчика. Если «Сони» *лоха* окажется блефом, хвастовством, и квартирные вору обнаружат в его комнате старый проигрыватель с трещинами, стянутыми лейкопластырем, — наводчик лишится покровительства, и тогда...

в) «Не расколись в ментухе». Комментариев не требуется. «Все под законом ходим!» Маленькая особенность: молчаливость при милиции воспитывается на уровне условного рефлекса. Для «настоящего пацана» неприемлемо обращаться к милиционеру ПО ЛЮБОМУ поводу. Даже октябренок, спрашивающий у постового: «Дяденька, который час?» — в глазах «настоящего пацана» *великий подлащик*;

г) правила «Устава...» заставляют «подростка в ломотях» с огромным вниманием относиться к тюремному жаргону, а через него — и к тюремному укладу, правилам воровской жизни. Молодежный сленг — почти наполовину заимствование языка «воров в законе». Правда, с небольшой разницей в значениях. Эта разница весьма хитроумна, она заставляет подростка ФОРМИРОВАТЬСЯ. Поясню на простом примере. Для зэка слово «фраер» покрыто оскорбительным налетом, так вору в законе обозначают свою касту, не намного возвышающуюся над *шестерками*. Если же *фраером* назвали кого-то в подростковом кругу, это означает, что подросток достиг вершины своей социальной карьеры. *Фраер* у ребят — в высшей мере крутой человек, опытный, готовый на все и ко всему подготовленный. Отношение к такому опасливо-уважительное. Мудрые взрослые, кстати, иногда пользуются тем, что отношения к уголовным понятиям у ребят — как у дикарей к племенным тотемам. Мне рассказывали, что когда был усмирен бунт в Кировоградской колонии для малолеток, один из омовцев выстроил подростков на плацу и велел повторять за собой: «Если я еще раз... устрою подобное... если буду швырять кирпичи... и прутья в головы омов-

цев... которые не имеют права... применять к малолеткам оружие... ТО Я БУДУ... КОЗЛОМ!». Не думаю, что подросток, произнесший подобные слова, решится на новый бунт.

4. «Настоящий пацан» должен знать ремесло, уметь что-то делать и, как следствие, зарабатывать хорошие деньги. Хорошие — и большие, и чистые, не требующие *отмывания*. Этот пункт правил, как и некоторые другие, демонстрирует свою двойственность. Деньги должен зарабатывать все-таки первокурсник (*бык*, *лох*)... Иначе *старшаку* не с кого будет *трясать филки*, *башли*, *воздух*, *бабки*. Поэтому *старшак* будет всячески поддерживать своего «младшего брата», если тот умеет зарабатывать, будет относиться к нему с уважением и всячески это уважение подчеркивать. Однажды даже может случиться «этический казус». *Бык* — добросовестный трудяга, *бабок* у него, как у *дурака стеколяшек*, *старшаки* все больше согревают его своим вниманием и в силу этого переводят на более высокую ступень иерархии. Но на этой ступени сами они уже не могут *бомбить быка*. Впрочем, этот взаимоотношенческий казус легко разрешается любым наводчиком. Не могут *бомбить* свои — *разбомят* чужие.

5. Об отношении к женскому полу. Да простят меня милые дамы за вынужденность говорить об этом, но, думаю, и для них многие детали будут новы и полезны:

а) в присутствии женщин и девочек «настоящий пацан» — безупречный рыцарь. Какие страстные эпитеты может дарить он собеседнице. Но в мужской компании недавнего рыцаря не узнать. Здесь подобные отзывы о женском поле не поощряются. «Настоящий пацан» должен говорить о женщине только уничижительно. Тем выше будет во мнении компании, чем точнее охарактеризует на сленге свою подругу. Может сказать: *чувиха* — но это будет слишком обще. А может рассыпать ряд уничижительных определений: *товаристая бичевка*, *дрофа*... И в компании поймут: девушка с точеной фигурой, длинноногая...

б) «настоящий пацан» должен лишить невинности хоть одну девочку. Сексуальная революция, увы, создала свои виды спорта...

в) «настоящий пацан» не позволит драки из-за женщины.

«Однажды сошелся двор на двор. Затрещал штакетник. В ход пошли чаки. Но тут кто-то вспомнил: «Послушайте, ведь разборки начались из-за одной шалашовки!». Финал, как в одной постоянной рубрике детского журнала: «И все засмеялись!» Мирно разошлись».

Воистину, через платок женщины не переступит вооруженный джигит.

6. Необходимо знать цены на ряд товаров, имеющих большое значение для ребят. Особо выделяются алкогольные напитки.

Тема пьянства в среде подростков велика и необъятна. Связанные с нею арготизмы можно выпускать отдельным томом.

Естественно, дружба «настоящего пацана» с зеленым змием всячески оговаривается в «Уставе...» Например: даже если ты распоследний *хрон*, *синяк* (алкоголик — авт.) — не пей в одиночестве! Что это? Чувство самосохранения? Вряд ли...

7. «Настоящий пацан» должен рисковать.

Отшли в прошлое такие испытания собственного характера, как, например, прогулка по ночному кладбищу. Ибо что с такой прогулки *старшаку*? В моде те рискованные затеи, с которых можно поживиться. Например, карты...

*Старшак* может предложить *быку* сыграть не на деньги, а на любимую девушку. В ответ на разъяренное недоумение скажет: «Я тоже рискую, и тоже подставляю свою подругу под удар...» Не стоит говорить, что риск *старшака* намного меньше, ведь он знаком с шулерскими приемами, с *катальной азбукой*.

Логическое продолжение правила «предложили — играй» — «проиграл — плати». Иначе незачем городить огород. Если деньги не выплачиваются, в силу вступает очередное правило: «Не платишь — получи!» Нужно отметить, что

нарушение БОЛЬШИНСТВА пунктов «Устава...» НАКАЗУЕМО либо материально, либо физически.

Лох, бык, первокурсник, нарушивший заповедь «проиграл — плати!» пройдет все этапы унижения, начиная от словесных оскорблений, через побои, кончая пресловутым *опусканием* — переводом лоха на самую низкую ступень иерархии.

Таким образом, нарушение картежных правил, и шире — денежных взаимоотношений, низводит подростка на абсолютно бесправный уровень, ставит его ВНЕ ПОДРОСТКОВЫХ ЗАКОНОВ вообще, чем делает абсолютно беззащитным перед вымогателями.

В последнее время в правилах картежных встреч произошли небольшие изменения. Юные свердловчане осознали опасность со стороны местной картежной мафии и защитили себя «конституционной поправкой»: если заведомо известно, что инициатор картежной партии — из «Космоса», из «Пингвина», из мира шулеров — отказаться с ним играть не зазорно. Отказываясь, подросток крепко рискует, но этот риск начал высоко цениться его сверстниками...

8. Отношение к учебе. Это правило по значимости следовало бы назвать одним из первых, но приведем сейчас, чтобы не нарушать логики повествования.

Хорошо учиться для большинства подростков — стыдно! Самое простое объяснение у тех же *синяков*, *нашатырей*: «Глупо ТАК прожигать жизнь, лучше выпить...» Остальные нежелание учиться объясняют тем, что *тройка* — *международная оценка*. Слово «удовлетворительно» цинично обыгрывают: «Я полностью *удовлетворил* учителя, что еще надо?». Те, кто тянется к четверкам и пяттеркам, для люмпена всего-навсего *прогибцики*... Правда, если однокурники видят, что учеба дается кому-то легко, что парень с головой, все запоминает играючи — отношение к нему положительное.

## V.

В начале октября Князь прислал домой первое письмо: «Недавно вернулись из колхоза. Учусь нормально, только оценки не настоящие. Группа мне не очень нравится. Я уважаю спокойных пацанов, а эти типа «в натуре, все ништяк». На уроках все ведут себя плохо, с учителями иной раз на «ты», переговариваются, не учатся. Если заработаешься или пишешь что-нибудь в тетрадку (именно по предмету), — на тебя такими глазами смотрят!.. А я хочу учиться. Ну, ладно, разжаловался... А в остальном все хорошо!

Лешка».

Когда-нибудь, даст бог здоровья и искренних собеседников, мы вернемся к теме «скучной жизни» в *учаге*, к нелепостям и накладкам в профобучении. Если профтехсистема доживет до тех времен! А пока ограничим свое повествование «околоучебной» сферой. Здесь не так «все хорошо», как утверждает наш герой.

Чтобы описать день новоиспеченного горожанина, нам понадобятся преимущественно глаголы. Проводив мать, Князь явился в *учагу*. Сдал документы. Получил направление в общежитие. Поселился. Сверток с покупками по совету коменданта определил в камеру хранения. Выслушал предупреждение того же коменданта, что если вздумает отлынивать от колхоза — сразу будет выселен. И напоминание: поезд к подшефным плантациям отправляется через час.

Князь присоединился к группе ребят, торопящихся на вокзал. Его дотошно выспросили: кто, откуда, какая группа. Потом шуплый парень в длинном, до щиколоток осеннике протянул ему пластиковый пакет и ледяным голосом бросил:

— Неси пакет!

— С чего бы? — независимо ответил Князь и пригнулся к худшему. Шуплый пожал плечами и сокрушенно, будто Князь отказался по крайней мере от *рваного* (рубля), взмахнул ладонью:

— Как хочешь... — А своим спутникам приказал: — Этому прописку покруче!

«Прописка» — процесс приема новичка в коллектив, связанный с различными испытаниями и проверками. Это формулировка ребят-авторов нашего редакционного «Словаря молодежного жаргона». Мне кажется, она не совсем точна. Не процесс, а экссесс, то есть нарушение общественного порядка, острое столкновение, выход за пределы допустимого... Экссесс приема новичка не в коллектив, конечно, а — куда? — в стаю, что ли... Впрочем, оттачивать толкование «прописки» есть смысл лишь для крутолобых словесников далекого будущего, которые с жалостью станут вглядываться в наше жесткое время. Современный подросток знает толкование на собственной шкуре.

Наш Князь познакомился с экссессом приема новичка в стаю первым же колхозным вечером. Старшекурсники объявили, что ежевечерне один из новичков будет проходить горнило прописки. Колхозного месяца как раз хватит, чтобы пропустить через испытания всю группу. *Старшаки* пообещали, что приемы испытаний ни разу не повторятся, но с каждым вечером будут жестчать. Тяжелее всех придется последнему, а легче — первому. И:

— Есть добровольцы?

Доброволец сыскался.

Старшекурсники начали со «Светофора». Каждый из них выбрал себе цвет: зеленый, желтый или красный. Потом *старшаки* полукольцом окружили добровольца. Объяснили:

— Отгадай, кто какой цвет светофора выбрал. Не отгадася — получаешь в торси!

Соломенно-волосый паренек с пятном зеленки на виске, захватившим пушистую полусерпик-пряжку, ткнул пальцем в первого попавшего и протянул:

— Зеленый...

Все, кто загадали себе зеленый цвет, ударили испытуемого.

— Красный! — доброволец снова попытал счастья. И — новая серия тычков. Соломенная пряда в бриллиантовой зелени несколько раз вскинулась и обвисла.

Доброволец задумался, пытаясь найти ключик к системе, по которой *старшаки* назначали себе цвета. Напрасная затея... По условиям «Светофора» проверяемый не должен отгадать никогда. Все его предположения заведомо неверны. Он в игре на положении боксерской груши.

Продолжительность игры зависит от реакции добровольца на издевательства. Если он выносит их стойчески — водящие могут смилостивиться:

— Пока — настоящий парень! Переходим к «Трамваю»...

Нашему добровольцу приказали вымыть пол. Едва он встал на четвереньки, ему на спину вскарабкался один из экзекуторов. Тот самый шуплый, чьи глаза ледянее горных вершин на пакете, который всучивался Князю, а губы постоянно растянuty в намек улыбки.

— Не забывая остановки объявлять, — пояснил он. — Угадася — будешь мыть пол порожняком...

— Остановка «Южная!» — Доброволец отжал тряпку и повернул голову к своему мучителю. Тот развел руками.

— Остановка «Фрунзе»!

— Не угадал! — со смехом ответил новый седок.

«Правильный» ответ, состоящий из нецензурщины, доброволец услышал лишь тогда, когда весь пол влажно поблескивал, мокрые колени саднило, а поясница отдавала тупой болью...

## VI.

В школе выживания есть свои праздники. Один из них — День *Фазана*. («Фазанкой» называлось раньше ФЗУ; *фазанята*, *фазаны* — его воспитанники).

Первый в учебном году День *Фазана* совпадает с выплатой пэтэушникам колхозной зарплаты. Позже приурочивается к любой денежной выплате, будь то стипендия, получка за практику, компенсация за неиспользованные обеды.

Праздник этот первобытным торжищем распределяет



роли. Одни становятся *денежными мешками* (*дойными коровами*), другие — вымогателями. В последней роли выступают старшекурсники, недавние выпускники, местные ребята либо оформившиеся делинквентные группы из окрестностей *учаги*, информированные наводчиками.

Одна из таких групп уже стоит возле знакомой нам кочегарки. Это *пингвинята*. Никто, правда, не проверял, из «Пингвина» ли гости, *ипили* ли, но слух по *учаге* уже пополз, завораживая, как кроликов, ее обитателей.

*Пингвинята и фазанята* — в природе эти птицы не сталкиваются. Лишь доморощенный праздник свел пернатых вместе. Не разговор — птичий базар!

*Базар* этот крут и вдохновенен. Каждая словесная находка и каждая томительная пауза приближает победу одних и поражение других.

Мы попытаемся реконструировать такое «толковище», оговаривая некоторую искусственность своей попытки, чтобы показать, как «глаголом жгут карманы *лохов*».

В своей реконструкции мы вынуждены изменить статистической вероятности: чаще всего деньги снимают примитивным «Дай рубль! А больше? А в морду хошь?» — и дают «в морду». Но условимся поверить слухам, что у кочегарки не рядовые вымогатели, а интеллектуальные, и пользуясь ситуацией, попытаемся показать «нормативное» владение *базаром*.

Время на это маленькое отступление нам отпустил... Виртуоз. Он не сразу нашел кабинет, в котором притаился Князь.

Виртуоз встал в проеме двери и иронично наблюдал, как Князь, пытаясь скрыть истинную причину своей задержки, раскладывает на столе учебники, пробует что-то выписывать в тетрадь. Разве проведешь Виртуоза, Князь?

— Кто тебя вычисляет? — спрашивает Виртуоз. — От кого *гасишься* (скрываешься — авт.)?

Князь медлит с ответом, потом решает довериться:

— Внизу какая-то кодла наших поджидает... Неприятные типы. Ну и пусть поджидает — у меня и здесь дел много!

— Ты что, не пацан? — в ответ на доверие всхликает Виртуоз. — На тебя и наехать-то не успели, а ты погасился! Гнилье! Всем расскажу!

— Не надо, — просит Князь и собирает книжки в сумку.

И вот Князь во дворе. Он сразу опознан *пингвинятами* по приметам, сообщенным Виртуозом.

ПЕРВЫЙ «ПИНГВИНЕНОК»: — Эй, пацан, подойди сюда...

Князь двигается к пезнакомой троице.

ВТОРОЙ «ПИНГВИНЕНОК»: — Ты что глаза по 8 копеек, сейчас на пятаки разменяю!

ТРЕТИЙ: — Брат, у тебя синагога на ушах, стряхни!

Третий «пингвиненок» делает оскорбляющий жест: «Стряхни лапшу!». От резкого взмаха Князь слегка отпрыгивает. Жестов сегодня будет много. «Пингвины» договорились общаться с жертвой на рэ и на рэпэтэ. Эти непроясненные аббревиатуры означают — подавлять партнера морально. Без физических насиллий убеждать, что партнер должен деньги. «Общение на рэ и на рэпэтэ» — самообезопасивание: вдруг заденешь жертву чуть сильнее, оставишь след... Справки, заявления в милицию!..

Но жертва не будет знать о негласном договоре. Жесты, и оскорбляющие, и запугивающие, она должна воспринимать как первый подход к рукоприкладству.

ПЕРВЫЙ «ПИНГВИНЕНОК» (проясняет ситуацию): — Бабки есть?

Князь: — Нету...

ПЕРВЫЙ «ПИНГВИНЕНОК» (не торопится открывать свою осведомленность о получении, лучше, если жертва признается в этом сама): — А если настучать по крыше?

ТРЕТИЙ: — *Бык тормозит* (т. е. плохо соображает — авт.)... Сейчас разбудим этого тормозка! У-у-у! (Делает запугивающий жест «Кобра»: пальцы — щепотью, рука изборажает удар змеи, но к лицу Князя не прикасается. Контактные жесты юный мим бережет на потом.)

ПЕРВЫЙ: — Тихо! (К Князю) Тебя как зовут?

КНЯЗЬ: — Лешка...

ПЕРВЫЙ: — Никто не обижает в учаге? Скажи, мы быстро порядок наведем! В бубен ударим — такая толпа соберется...

Первый *пингвин* меняет тактику, смысл которой — сделать *быка* податливее.

ПЕРВЫЙ (не давая Князю опомниться): — Ладно, за знакомство с тобой два чирика... Зато потом никто не тронет!

Князь недолго раздумывает. На ощупь отсчитывает в кармане две купюры. Протягивает своему «защитнику».

ВТОРОЙ «ПИНГВИНЕНОК»: — А говорил, нет бабок. Лапшу вешал? Проколоть хотел? За прокол — *два угла* на стол (т. е. 50 рублей)!

Князь пытается, наконец, защититься.

— Вы неправы, — произносит он изысканную фразу.

ВТОРОЙ: — Прав тот, у кого палка длиннее! Слушайте, у меня от этого быка комолого зубы вспотели! Дайте ему в чику, чтобы он кони откинул!

ПЕРВЫЙ (снова меняет тон): — Брат, будь снисходительнее! Прокололся — плати!

Князь отсчитывает половину *екатеринки*, решительно отталкивает протянутую руку второго *пингвиненка*, сует деньги первому. Но, понимая, что игра не окончена, решает пойти в наступление.

КНЯЗЬ: — Можно же по-человечески говорить... А то: бык комолой, кони откинешь! Сам... — Князь пытается вспомнить какое-нибудь ругательство. Выпаливает: — Крыса дойная!

ВТОРОЙ «ПИНГВИНЕНОК»: — Гляньте-ка! Он, оказывается, на *понтах*, как на *шарнирах* (блатной — авт)! Он меня оскорбил! Три чирика — лично мне.

Несложные расчеты показывают, что «птичий» *базар* должен заканчиваться, ибо у Князя кончились деньги. Но мы забыли, а вымогатели помнят — штаны а ля Ельцин!

Штаны помог отобрать... военрук по кличке Лысая Бесконешность («Откуда кличка?» — «У него на голове — озеро посреди леса»).

Он вышел из ПТУ, по-военному четко оценил обстановку, но решил не вмешиваться, по офицерской привычке полагая, что «дедовщина» — не без добра. Однако, чтобы исключить возможные упреки во невмешательстве в криминальную ситуацию, спросил у беседующих:

— Пошему курите?

Потом добавил:

— Мерзавцы! — и зашагал по своим делам.

«Мерзавцы» заготали, а третий «пингвин» спросил у Князя:

— Ты зачем подмигнул Лысой Бесконешности? Заложить нас хотел? Западло!

Расплатой за это *западло* и стали брюки а ля Ельцин, вместо которых Князь получил *заваленную* (т. е. испорченную) брезентуху\*.

На прощанье Князю приказали:

— *Потеряйся* (исчезни — авт.)!

## VII.

Возникновение Дня Фазана и подобных ему традиций можно датировать 1953 годом, годом «великой амнистии», с помощью которой недостопочтенный Лаврентий Павлович пытался оконтурить границы зарождающейся демократии. Страну, которая отринула старые ориентиры, но еще не нашла новых, заполнили «воры в законе». Им удалось сформировать совершенно новую социальную касту — «подростки в законе». И пошли рикшетом гулять эти законы: из школ — в профтехзаведения, оттуда — в армию, из армии — снова в училища и техникумы, и — ирония судьбы! — в зоны, в тюрьмы, в лагеря!..

Но было бы нечестно сваливать вину за все криминальные ситуации на сталинизм, на систему.

\* Когда мой пятнадцатилетний консультант дочитал очерк до этой фразы, переспросил: «Штаны — кооперативные? Значит, у ПТУ открылись не «пингвинята»... На кооперативное они не клюют. Им нужна фирма!»

Сейчас мы рисуем блок подросткового фольклора на тему «пьянство, алкоголизм». Уверен, каждый из нас, взрослых, увидит здесь что-то очень знакомое...

Пьяный — *бухой; датый* (от поддатый); *кривой*, как стартер, как ключ зажигания; руль...

Пьяным быть — *быть на рулях; ноль ампер* («Я — ноль ампер, зашкаливает»)...

Пьяным делаться — *квасить, киять, мутить* (преимущественно о пиве), *бухать, загружаться, коচেгарить, керосинить, ударять, принимать на грудь, дрингать, тринкать* (европеизмы, позаимствованные люмпенами у аристократов)... Очень характерен глагол *пыхтеть*. Вообще-то, его точное значение — курить травку, косяк. Но в смысле «добиваться аналогичного состояния» употребляется в отношении алкогольных напитков.

Пьяным передвигаться — *идти на рулях, на автопилоте*...

Тонко, со знанием дела отмечены степени опьянения. Начало опьянения: *зашаяло* («Полбанки засосали — ништяк, зашаяло!»), на приходе («Наливай еще, я на приходе!»)... Разгар (и процедуры, и состояния): *догонять(ся)* — доходить до нужной кондиции («Я догнался!»), *керосинить в полный рост*; фразеологизмы: будем пить, пока в ж... не закипит. Похмелье: *клапана засохли (горят), буксы клинит (горят), башина скрипит, трубы горят*...

Если учесть, что похмельный синдром, так образно отраженный в речи ребят, — показатель определенной степени алкоголизма, то не удивителен, а для подростка отнюдь не умозрительный следующий синонимический ряд:

Алкоголик — *алик, баллон, босяк, бухарик, мухомор, нашатырь, синяк, укус, фанфурик, ханурик, хрон*... И фразеологизмы типа: «Ты алкаш по жизни?» — «Нет, не по жизни, а по любви!».

Как наш «подросток в лохмотьях» пьет, из этого небольшого филологического экскурса уже видно. Теперь — что пьет.

Общее обозначение алкогольных напитков: *бухало, пойло*...

Водка — *белая, беленькая, водовка, водяра, горячка, белая горячка, живая водичка, подруга* (чувствуется оттенок эмоциональной окраски?), *инакс*...

Вино — *краснуха, сухарь, бражка*...

Остальные напитки достать еще легче...

Тройной одеколон — *фанфурик, рабочий коньяк*...

Самогон — *КВН (коньяк, выданный ночью), водочка домашняя*...

А еще — «цапка» — одна распространенная бытовая жидкость, которую требуется смешать с солью, взболтать до выпадения осадка, осадок удалить, и...

А еще «синюха» — не менее распространенный бытовой препарат...

А еще... Широко простирает химия руки свои в дела подростковые!

Закроем «Словарь молодежного жаргона», ибо наш рассказ о Князе близится к кульминации. Сейчас мы увидим, как в логической цепочке метаморфоз (нормальный сельский парень, если с натяжкой принять за норму безотцовщину, — маргинал — влиятельная личность — криминальная личность — преступник) с нашим героем случается решающая перемена.

## VIII.

...Князь в своей комнате, грязной, неуютной, со следами летнего ремонта. На спинке кровати — кляксы извести, в углу за шкафом, под столом — битое стекло, клочки обоев. Князь один. В субботний вечер общага пуста — все, кто могут, разъезжаются по домам. Для пятнадцатилетнего одиночества так же пугающе, как для старца — плотные бляшки на теле.

Князь подходит к фанерному шкафу, пытается соскочить с дверцы циничный рисунок. Не для себя старается, сам-то за полтора месяца многое повидал и ко многому привык, — вечером должна прийти Света. Собирались в кино.

Князь спохватывается: забыл попросить у соседей бри-

ки на вечер... Не в брезентовых же идти в кинотеатр! Он открывает шкаф — может, удастся что-нибудь подобрать из одежды сокурсников?

Жди, специально для тебя оставили... Князь закрывает дверцу, долго слушает невнятные шорохи: под чью-то драную майку возвращаются вспугнутые тараканы.

Распахивается дверь. На пороге возникает старшекурсник с золотой цепочкой на оголенной груди. Это Жулик, знакомый Князю еще по колхозу. Он улыбается, и влажная золотая фикса, оттененная черным прогалом в челюсти, посылает в мрачную комнату светлый блик.

— Наконец-то, — радуется Жулик... — Хоть одного пластилина вычислил... Все куда-то потерялись. Брат, *подогрей* (окажи услугу — авт.)... Вчера чернила пили, потом до «цапки» добрались... Буксы клинит! Сбегай за водярой!

— Так магазины же закрыты.

— Да, — вздыхает Жулик. — Трудно в деревне без нагана — орехи колоть нечем!

Он вынимает из кармана джинсовой курточки *угловую* купуру (25 рублей).

— Сбегаешь на пьяный угол. Петрофан мне вернешь. А я пока хавчик организую.

— Ко мне Светка придет! — вспоминает Князь.

— Шалашовка, что ли? Вместе выпьем!

...С «пьяного угла» Князь вернулся, взволнованный новым знанием:

— Здорово! Там под забором маленький сугробик намело. Спекулянты в сугроб насовали бутылок — одни пробки серебрятся.

Жулик сидел на кровати, настраивал гитару. Отложил инструмент, наблюдая, как рядом с хавчиком — черствыми кусками хлеба и ополовиненной банкой с маринованными огурцами — Князь выставляет бутылку водки и две пива.

— Сдачи у торгаша не было — он пива предложил.

— Да, — хмуро проронил Жулик. — Жили мы на хуторе, нам рамыс попутали. Обкрался ты, брат! Два пива — за петрофан! Будем считать, что пиво — на твои. Завтра *петровского* (5 рублей — авт.) мне вернешь!

— У меня нет денег, — растерянно пробормотал Князь. — Кончились.

— Нет завтра, вернешь послезавтра. Только уже не пять, а пять пятьдесят. И по полтиннику за каждую новую отсрочку. Брось-ка спичковецкого!

— Что? — не понял Князь.

— Да, брат, без нагана тебе не обойтись...

Жулик взял спички, два стакана, раскупорил бутылку.

— Как пьем? — поинтересовался. — «По коচেгару», «по помощнику машиниста» или «по машинисту?»

Взглянув на Князя, он рассмеялся, но про наган и орехи повторять не стал.

— Смотри, — Жулик плашмя положил спичечную коробку рядом со стаканом. — Если до этого уровня разливать — это «по коচেгару». Если мерять по ширине коробки — это «по помощнику». А по высоте — «по машинисту».

Жулик осторожно разлил по стаканам:

— Дернем «по машинисту»! Такие вещи не знать... Это же классика!

— Я лучше пива...

— Пиво мы твоей «маме» оставим. Давай до дна!

Жулик выпил подчеркнуто краснво, не торопясь, но и не затыгиваясь. Взял пробку за язычок, надорвал ее, согнул жестяной кругляш пополам, вдавил внутрь кругляша хлебный мякиш, воткнул туда четыре спички.

— Смотри, жираф... Мне мамка в детстве такие делала.

Серебряный жираф стоял на подоконнике, упершись серными копытцами в трухлявое дерево, и косялся плоской мордочкой на Князя.

От мельтешения снежинок за окном у Князя зарыбило в глазах. Показалось, что по спине экзотического животного пробегает озноб. Князь взял самоделку в ладонь и почувствовал себя защитником.

Это ощущение на мгновение перенесло его домой.

Он вспоминал, как его, совсем маленького, в пять утра будила мать. Князь одевался, брал с собой ранец и шел провожать мать на далекую ферму. Зимняя тьма... Пурга...

Ветер воев в проводах, как в военных фильмах — голодные волки... И Князь идет впереди и знает, что он один отвечает теперь за то, как проложится их путь. Иногда ветер тугим брюхом насканивает на Князя, пытаясь опрокинуть, но настороже мать. Так и идут они вдвоем, торя единый маршрут и защищая друг друга, один — от угроз наплывающей дороги, другая — от ошибок и лих прошлого...

Мать доит коров. А Князь, подложив ранец под голову, заваливается в ясли досыпать, на мягкую подстилку из трав.

Просыпается он от легкого покачивания. Включился транспортер, и охапка сена вместе с Князем движется под нос корове. Корова удивленно разглядывает маленького человечка, потом пытается слизнуть с его носа рыжие веснушки. Князь хохочет, веснушки разбегаются по лицу. Зорька еще прилежно работает языком, пытаясь согнать разбежавшиеся «звездные метинки» на прежнее место. ...Князь расхохотался.

— Ты что, капитан дальнего плавания? — спросил Жулик, повертев пальцем у виска. — Уже разобрало? Следующую наливаю по сладкой доле. Тебе — меньше...

— Нет, поровну, — улыбаясь, попросил Князь. Свое настроение и мысленные полеты домой он связал с *бухалом*.

Выпили еще.

— Твоя мамка жирафов делала, — заговорил Князь, не уловив недавней иронии Жулика. — А моя живыты умеет править. Так-то она доярка, но по вечерам всех наших лечит. Дядя Коля чуть не загнулся — она его за час откачала. Тот ей — деньги, а она не берет. Говорит, что грех деньги брать... Бабы дяде Коле подсказали: ты ей, мамке то есть, платок подари. А мамка и взаправду ни денег, ни жратву какую — ничего не принимает, а перед платками не может устоять. Черные большие платки с красными, синими, желтыми цветами. Она их катетками называет. У нас катетками весь дом убран, и столы ими застелены, и телевизор, и с бабкиной божницы висают. Вот дядя Коля и раздобыл где-то платок, огромнющий, по черному полю два тетерева скачут... Теперь он на самом видном месте! Знаешь, если наш дом на пленку заснять — получится красивее, чем в американском видеке. А у вас?

Жулик зло прищурился.

— У нас дома два стула. На одном я в детстве ножом вырезал: «Андрей». А недавно заехал туда, смотрю, мой братан вторую табуретку расписал: «Мать-сука!» Говорю, зачем? А кто она, отвечает, если мою куртку пропила...

Жулик, не дожидаясь ни вопросов, ни сочувствия, взял гитару и запел:

— Утро над тихой рекою встает,  
Вдали чей-то голос поет.  
А между тиной, тинной зеленою  
Девичье тело плывет...

От избытка чувств у Князя защипало глаза, но Жулик, не допев, отложил инструмент.

— Такое же жалостливое спой, когда Светка придет, — попросил Князь.

— Посмотрим. Давай в карты скинемся! — Жулик резко перешел на деловой тон, правда, словно устыдившись этого, добавил: — А ты ничего — настоящий парень! Скажу своим, чтобы на тебя не тянули. Скажу: мы с Князем *базарили по накату* (по настроению — авт.), он *клапана открыл* (разоткровенничался — авт.) — такой чувак оказался!..

Князь смущенно опустил голову и, безосновательно связывая «пингвинят» с Жуликом, сказал:

— Они, черти, с меня сто рублей сняли.

— Сто рублей? Для моряка — это пыль! Я тебя научу зарабатывать больше, чем все эти драные «пингвинята» вместе взятые. Знаешь, что такое «играть на трубе?» Сткуда... Учись, лох, пока я пьян! Ты приходишь на вокзал, заходишь в туалет и стоишь, будто кого-то ждешь. К тебе подкатывает какой-нибудь плюгавый старикашка, морковка отвязавшая, и, захлебываясь от старострастья, предлагает: «Мальчик, дай поиграть на трубе!» Ты спра-

шиваешь: «За сколько?» Здесь главное *за пепел не пристроиться* (не продешевить — авт.)! Он говорит: «Двадцать пять рубликов!» Ты идешь с ним в укромное место...

Князь густо попушловел.

— Гадость, конечно, — Жулик смачно плюнул под стол. — Но главное обороты набрать. Запомни, Князь: В ЭТОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ ФАЗАНЯТАМ ДОСТУПНО ВСЕ, НЕДОСТУПНО ОДНО — ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ ЧЕСТНО, НЕ ПАЧКАЯСЬ...

Жулик, уже безо всяких примерок спичечным коробком, разлил *горячку* по стаканам, взял их в руки, сравнил уровни, довольно протянул:

— *Яйца!* (То есть поровну — авт.).

Выпил и на выходе просипел:

— Ты будешь моим пластилином! Я с одним «трубочком» договорился, что пластилина подошло. Он тебе три червонца отвалит. Заметано, ты — пластилин!

— А ты... властелин... значит, — муромо произнес Князь.

Жулик взвился.

— Ты, бык недооенный! Думаешь, я не ходил в пластилинах? Зато теперь — авторитет. Что я перед тобой распинаясь?!...!!! Посмотрю, как ты завтра запоешь, когда начнешь искать для меня петрофан за пиво и чирик — за водку!..!

— За водку?

— Думаешь, бесплатно тебя пою? ...!

## IX.

Когда к комнате под номером девять подошла долгожданная Света, оттуда неслись энергичные, но миролюбивые, дружелюбные возгласы:

— Пас!

— Двое нас! Ваше слово еще раз!

— Пас!

— Знал бы прикуп — жил бы в Сочи! Так, схавал — терпи! Ничего, карты валяются — дела поправятся.

Увидев Свету, «друзья» оставили колоду. Князь гловато заулыбался, выдавая нетрезвость. Жулик приподнялся, слегка пошатываясь, но от этого не теряя галантности, предложил гостею стул. Потом взял в руки по бутылке пива, резко потер одну о другую, сцепил их пробками. Обе пробки полетели на пол. Жулик, не прекращая единой цепи движений, часто постучал донышком одной посудины о горло второй, потом — наоборот. Из бутылки пошла густая пена. Жулик, заканчивая ритуальный склад, накренил обе бутылки в стакан, наполнил его.

— Наконеч-то появилась. Мы с твоим земой закисли здесь. Может, тебе покрепче?

— Нет-нет, — решительно отказалась Светонька.

— Пей пиво. А мы с Жуликом... с Андреем... еще трахнем поемножку... Я ему про деревню нашу, Светк, рассказал... Ты же помнишь: мать, катетки... И вообще, мы корефаны с Жуликом...

— Леха, да ты осоловел! — нараспев протянула Света. — Откройте форточку, накурили...

— Ниче... Жулик, ты обещал спеть. Про тело зеленое. Для Светки спой, — невразумительно попросил Князь.

Жулик достал из сумки магнитофон, нажал клавишу:

— Я ломал стекло, как шоколад в руке,

Я резал эти пальцы за то, что они

Не могут прикоснуться к тебе...

Князь забормотал:

— Я тоже так... Если кого-то люблю — то на все готов... У меня тоже — как шоколад в руке!

Он неверно склонился под стол, подобрал осколок стекла с налипшей по ранту замазкой, всхлипнул и, зажав стекло в ладони, стукнул кулаком по столу. Стекло кракнуло. Князь раскрыл ладонь, залитую кровью. Из «вене-ринового бугра» под основанием большого пальца торчал расслоившийся стеклянный серпик.

Света вскрикнула:

— Ой, какой дурак! Ты зачем его напоил! — цыкнула она на оторопевшего Жулика.

Подбежала к Князю, вытащила из раны стекло, плеснула на ладонь остатки водки из стакана.

Жулик схватил бутылку и поставил ее на подоконник.

— Ты че волнуешься? Он изнутри прози... продезинфицирован...

Князь, неся пораненую руку перед собой, как на невидимом бинте, двинулся к выходу.

## X.

— Давай-ка одну тему разомнем,— сказал Жулик в общежитской умывалке, похожей по фактуре, ухоженности и запахам на мыльницу из дорожного набора бомжа. Он неверным движением вытащил из кармана пачку сигарет «*Всё моё*» (взрослые курильщики, не ищите этой марки в «*Табаках*»). Жулик достал обычный «*Космос*», на пачке которого при помощи подтирок и дописок изображено «*Всё моё*»).

Князь неумело закурил.

— А твоя дрофа ничего,— сквозь зубы протянул Жулик.— Посмотрел на нее — отдых! Знаешь, я бы ей отдался...

Сознание Князя сквозь пьяную круговерть и дым сигареты двигалось скачками.

— Нет,— развеселился он.— Она еще никого к себе не подпустила. Она — святой человек.

— Не захочет — заставим! — прервал ностальгию воспоминаний Жулик.— Можно коктейль сделать. Есть рецепт. Мы ей зарядим несколько таблеток *Димы* и *Феди* (распространенные наркотизирующие вещества — авт.), растворим их в пиве. Дрофа дернет пивка, к ней сразу дедал прибежит. А после отходняка она и не вспомнит ничего...

Пожалуй, одно отступление все же придется сделать. Ибо я уже слышу ханжеское ворчание: «Неужели у вас нет детей? Зачем вы передаете опыт разврата? Заверяю: молодежь, прочитав подобную «балдежную» ересь, будет в восторге...»

Эти строки — из откликов на предыдущие материалы отдела молодежных проблем. Цитировать можно бесконечно: «Что вам, не о чем писать? Просто стыдно читать такую тему. Пишите, конечно, но воспитывайте в здравом духе...»

Увы, результаты «воспитания в здравом духе» мы и констатируем в нашем очерке...

Властелины — такого слова нет в подростковом жаргоне. Но это не значит, что нет властелинов. Их тьма. Их столько, что младенчески-наивное сознание подростка не решается обозначить эту страшную силу словом, пытаясь этой уловкой смягчить бесовское действие власти взрослых на своей ранимой шкуре.

Властелины — это вы.

Ты, брыластый, стальногоглазый родитель, сокративший общение с собственным сыном до заученной тирады: «Как дела в школе? — Уроки сделал? — Выключи магнитофон! — Пора спать!..»

Ты, юркий кооператор, уже забывший, как необеспечено и попрошайно детство, — и делающий, делающий собственный капитал на мятых ребячьих рублевках...

Ты, крикливый пенсионер, считающий свой опыт главной ценностью мироздания и подагрически вытаптывающий хрупкие зеленые ростки, если они взошли не на пережное твоего опыта...

Властелины — это все мы!

...Глядя, как Князь сеет по полу огненные искры, Жулик пробормотал:

— Так, у одного рамсы попутались!

И громко предложил:

— Князь, в карты скинемся!

Лешка беспечно согласился.

— На что играем? — осторожно спросил Жулик.

— На просто так,— ответил Князь.

— Тебе повезло, что ты — мой пластилин. Если бы «пингвинятам» предложил на «просто так» — они бы с

радостью согласились. На «просто так» значит «на сто рублей». Понял, тупогоубенький бычок? Давай лучше на своих нищенок сыграем! Выигрываешь — спишь с моей, проигрываешь — я с твоей... Согласен?

На этот раз Князь прореагировал адекватно: сжал кулаки и бросился на Жулика. Тут же отлетел в угол, поскользнулся, упал, ударившись о батарею.

Жулик медленно подошел к нему, задрал подол рубашки, оголив живот.

— Смотри, сволочь! Видишь шрам? Когда я был пластилином, тоже решил норов показать. Нарвался на кнопарь. Не повторяй моих ошибок!

— О чем вы так долго беседовали? — спросила Света, когда друзья вернулись в девятую комнату.

— У нас свои *терки* (разговоры — авт.)! — ответил Жулик.— Сейчас, Светка, я спою для тебя... Князь попросил. Только сначала один прием покажу ему. Режь колоду, Князь!

Игра со сжавшимся на стуле Князем заняла три минуты.

— Все, брат, приехал! — победно объявил Жулик. И снисходительно добавил: — Не переживай! Пустое все... Давай еще «по кочегару».

Разлил. Но протянутую руку Князя отвел в сторону. — Иди-ка, друг, проводи Светку к умывальнику. Смотри, что ты ей наделал... Весь рукав своей кровью обляпал.

— Ой,— всполошилась Светлана.— Я и не заметила. Надо водой холодной попробовать... Да сиди ты! — махнула она на Князя.

— Я... Я виноват... Тебя... — забормотал пьяный Князь и побрел за девушкой.

Жулик вынул из нагрудного кармана бумажный аптекарский пакетик с таблетками, истолченными, чтобы быстрее растворились, в порошок. Высыпал «зелье» в бутылку с пивом, плеснул туда водки, все взболтал. Часть «коктейля» отлил в посудину Князя и наполнил стакан для Светы.

## XI.

...Жестяному жирафику кто-то сломал передние ноги, и он беспомощно уронил голову в лужу рассола.

Три представителя более 67-тысячной профтехобразовательской гвардии Свердловской области, не ведая, что уже ввергнуты в инерцию, заданную этим нестигаемым монолитом, живущим собственными законами, слабо пытались оставаться самими собою.

Жулик снова пел песню и временами забывался в ней. Ту чистоту и свет, что недодало детство, несли безыскусные слова:

— А я хочу, а я хочу опять

По крышам бегать, голубей гонять...

Разве не было у Жулика беззаботных, прогретых солнцем крыш, на которые дождик налепил блесков черемухового цвета? Разве не было отца, который мог мимоходом поправить корду змея так, что змей оживал и частыми толчками, как воробей, уходил в лазурь меж белесыми тучами?

Не было! Жулик злится и сбрасывает с себя блажь песни. Пусть песни обманывают других!

...Князя вырвало. Жулик заматерился, оглянулся на Светку. Та, прислонившись к стене, сидела с закрытыми глазами. На нижней губе отчетливо виднелась нерастворившаяся крошка таблетки.

Жулик схватил Князя под мышки, выволок безвольное тело в умывальную комнату, бросил на кафельный пол.

Лешка так и не проснулся. Ему снилась далекая деревня, опутанная сетью дружелюбных тропинок, деревня, где в каждом десятом доме живут Князевы, деревня, в которую один Князев вернется уже не скоро.

Воистину, из князи — в грязь.

А Жулик вернулся в девятую комнату, осторожно закрыл за собой дверь, щелкнул запором...

## II.

Если, стряхнув снег, войти в типовое здание *учаги*, подняться по крутой лестнице, открыть дверь с табличкой «Заместитель директора по учебно-воспитательной работе», — окажешься в кабинете, похожем на рентгеновский: тяжелые черные драпировки, черная обивка мебели, чернобелые графики на стенах. Пахнет больницей.

Запах объясняется просто: Ириша то и дело накапывает в свой стакан валокордин. Основания для волнений у Ириши есть: вчера в учагу пришел следователь и увел с занятий Князя. Кривая на графике «Рост преступлений в нашем ПТУ» скакнет на один градус выше. Но этот повод можно было бы отметить и валерьянкой. Валокордин «Ша!» раскупорила после совещания с представителями обществности: шефами, работниками правоохраны, родителями. Сколько эти представители наговорили!

Особенно напирала какая-то дама, которую делегировали шефы:

«Мне кажется абсолютно ущербным вести так называемую профориентацию в глубинке области. Объясните, пожалуйста, чем это отличается от развращения, — зазывать наивных подростков в притон, да, да, не побоюсь этого слова. На мой взгляд, лучшей профориентацией была бы чистка училищных «коношеш»; создайте нормальную атмосферу — и в ваше училище потянутся свои, городские. Моя дочь хотела к вам идти, но подруга рассказала ей о репутации училища, о «Днях фазана», о «прописках», которые — подумать только — уже и девочек коснулись! И дочь пошла в швейное. Да, нам позарез нужны рабочие. Но не любой же ценой! Нам нужны серьезные люди, а не «перекати-поле», которых ветер перенес через ваше училище, потом точно так же перетащит через нашу стройку... Ищите ребят с корнями».

«Ша!» снова потянулась к флакону с валокордином. И неожиданно улыбнулась: а все-таки лучше всех выступил Николай Семенович, военрук. Ярко и убедительно! Не зря ребята зовут его «Бесконечностью». Мысли его действительно бесконечно глубоки.

Он пришел на совещание в кителе со значками и юбилейными медалями. Терпеливо слушал. А под конец поднялся, повесил на стену маленький плакатик и приказал всем:

— Думайте! Не пытайтесь решить проблему частными тактическими ходами, если неправильно выбрано стратегическое направление. Думайте!

...Ириша снова улыбается и смотрит на плакат, оставленный в кабинете военруком. С обратной стороны просвечивает типографский рисунок — детали какого-то автомата, но он не мешает увидеть четкого заголовка, исполненного Николаем Семеновичем: «К вопросу о всплесках преступности».

Под заголовком схема:

«НЭП — ОТТЕПЕЛЬ — ПЕРЕСТРОЙКА».

Ириша смотрит на схему и пытается думать.

Наталья  
МАКСИМОВА



# ИЗ ОБЪЯСНИ- ТЕЛЬНОЙ ЕЙ, ВАМ И ЕМУ

Чистый лист бумаги. Он набросил на себя смиренную рубашку и приготовился к тому, что будет исполсован чернильными буквами и знаками препинания. Он, как всегда, буркнет в мой адрес: «Ну и понаписала, такую белиберду людям показывать стыдно». Это он не со зла, он — мой соавтор, белый бумажный лист. Он немножко ревнует меня к новой венгерской авторучке, не шуршит, затаил дыхание: ждет, когда рука и ручка начнут отрывистое танго по его заснеженному пространству. Но я сегодня не спешу. Со мной что-то происходит...

Год тому назад мне предложили сделать материал о группе «Агата Кристи». Я согласилась с радостью, потому что очень ее любила. Бегала, собирала мнения, впечатления, факты, разговаривала с руководителем группы Вадиком Самойловым, скептически настроенным товарищем пыталась доказать, что они ничего не понимают. «Вы только вслушайтесь!» — говорила я.

Пегой луной наступает вечер,  
Лысый швейцар зажигает свечи,  
Пудрится цирк в ожидании встреч  
с голодной толпой.

И через миг на арене алой  
Вырастает мир на утеху зала,  
Белый маньяк затрясет устало  
битой головой.

Белый клоун, белый мученик,  
Ради смеха пьяно-жгучего  
будет издеваться над собой,  
Вечером вновь у него заботы.

Ведь унижение — его работа,  
Но посмеется последним  
наш невидимый герой...

Звуки быстро наполняют комнату и впиваются в тело, не успев рассеяться. «Больно!» — это у меня в подсознании. А в ответ: «Вива, Кальман!» — истерический мужской смех срывается и жестью хлещет меня по щекам. Становится страшно — за этого клоуна (он словно утонувший в тоске одиночества Ганс Шнир, герой романа Генриха Белля), за себя (за себя, пожалуй, в первую очередь), за всех нас. Страшно, что едва успеваешь погрузиться в день сегодняшний, как понимаешь вдруг, что ты уже во вчера, и нет

никакого настоящего: существует лишь хрупкая грань между прошлым и будущим, по которой мы ходим, спотыкаясь. Страшно, что жизнь — ошибка на ошибке, что кругом — перекошенные от злобы лица, уставшие, не верящие. Что все чаще хочется от беспощадной действительности спрятаться за собственной ладонью. Но захлопнуть веки-двери, чтобы ничего не видеть, — это не самый надежный способ защиты.

Девятый вал меланхолии сбил меня с ног и похоронил в себе. Предурацкое состояние, от которого избавиться не в силах, да и не хочется. Глаза взлетают на потолок и сосредоточенно там бродят, совершенно забыв о том, что кто-то еще от рождения имеет на них право. Я им не мешаю, мне не до того: музыка сковала руки-ноги-мысли, а слова стучат по вискам настырно звенящими молоточками: правда, правда, правда, правда. Все, о чем сейчас поют, — жизненная правда.

Потрепанный магнитофон выплевывает ноту за нотой, насылая динамики, и напряжение, повисшее в воздухе, дергает за ниточки нервов.

**Мои струны — моя боль,  
Мои ветры — моя воля,  
Мои ноты — моя роль,  
Мой крик — мое слово.  
Мои стены — моя мразь,  
Твое сердце — моя страсть,  
Моя правда — моя власть,  
Мой хлеб — моя злоба!**

Молитва человека, который из последних сил на четвереньках ползет к своей правде, и — что ему догмы мешанского мира! Или нет, похоже, что он уже даже не двигается. Они его распластали, расстреляли, распяли, придавили своими шикарными трехсотрублевыми «саламандровскими» штиблетами.

**Пели вы — вам было больно.  
Пусть вы слишком долго ждали.  
Не для вас команда вольно,  
Отдохнем, когда раздавят.**

А потом они решили даровать ему свободу: что ж, пусть он порезвится, поиграет в демократию, поживет так, как хочет. Если что-то будет выходить за рамки дозволенного, они быстро напомнят о правилах их игры. Ну, а если уж он бунтовать и возмущаться вздумает, то они просто панибратски, я бы даже сказала — дружески, хлопнут по плечу: «Ты был не прав, Брут!» И тут мне опять становится страшно, потому что они заносят ногу над человеком из песни (а может, из жизни? Посмотрите — вот он, один, вот второй, вот еще один... Господи, как их много вокруг!). Я не успеваю вскрикнуть. Всё. Они наступили. И никто не заметил. Впрочем, как всегда...

Песня за песней. Страсть и скорость на пределе. Ожесточенный вопль уставшего неудачника, переходящий в смех параноика. Боль вывихнутой души. И скупые слезы безысходной печали, я чувствую их привкус багульника. Плачут губы мужчины — о том, что могло быть, о том, чего не вернуть:

**— Ты уходишь в белом платье,  
В алых пятнах полночь.  
Белый ангел, я — распятые,  
Полно, память, полно.  
Жить властью этой муки,  
Прах снов беречь,  
Жить и знать, что эти руки  
Станут счастьем новых плеч...**

Так я услышала «Агату Кристи». Так я жила в ее театре, где музыканты нас заслуженно судили и высмеивали всех и каждого в отдельности. Где на сцену выходили эксцентризмом, саркастическая улыбка пристального наблюдателя, эйфория без тормозов, кусающаяся ирония и раскаленный мелодраматизм — люди с печальными глазами и улыбающимися мертвой улыбкой лицами.

Так я узнавала в одном герое песни — известную высокопоставленную персону, в другом — соседа, начинающего Пинкертон в третьем — бывшую подругу-пантеру, которая

«умеет подчинять желанья многих мужчин для утоленья жажды собственной страсти».

Так я любила. Теперь — все иначе. Что-то надломилось, опустело, деформировалось. «Вот и нет любви, и не любви...» Отсутствие какой бы то ни было эмоции — положительной или отрицательной. Спокойствие, как после долгой, мучительной болезни.

Но почему? Куда девалось прежнее коленопреклонение? Хорошая девочка Надя, новый рекрут в рядах почитателей «Агаты», часто задает мне этот вопрос. Что я могу ей объяснить, когда сама себе не могу ответить?

Дело не в том, что «Агата Кристи» вышла из рок-андеграунда на престижную эстрадную арену и даже стала лауреатом телевизионного конкурса «Ступени к Парнасу». Это можно только приветствовать: растут люди! Выбиваются в мировые звезды, и вот английские ценители музыки могут познакомиться с представителями уральской школы советского (синоним — красного) рока.

И уж совсем не имеет значения то, что в репертуаре «Агаты Кристи» появилось какое-то тяготение к конъюнктуршине, так сказать, песни на злобу дня: «Праздник советской семьи», «Наша правда». Кстати, когда я вижу горячо любимый программой «Взгляд» клип с «Нашей правдой», к горлу подкатывает омерзительная тошнота. Но, по-моему, это тоже не имеет существенного значения в нашем разговоре. В конце концов, не музыканты же снимали этот «видеоседевр».

Меня не раздражает, что все песни «Агаты» окружает ореол вторичности: кое-что уже где-то слышала, это из какой-то оперетты, здесь явно содран кусок из музыкального фонда телефильмов о Шерлоке Холмсе, а тут просто «Белый шиповник» из «Ююны» и «Авось» Рыбникова. Игра в узнавание интересна, и даже по-своему увлекательна. Но, Вадик, как все-таки хочется музыки, му-зы-ки!

Уважаемый Вадик Самойлов! Не уверена, что вы прочтаете сию исповедь-объяснительную, но если она попадется вам на глаза, просто улыбнитесь и всё. Это мое запоздалое признание в любви — вам и вашей группе. Я знаю, что не вправе осуждать, потому что каждый художник живет и творит по своим собственным законам: в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так? Но право выговориться я имела.

В далеком-далеком детстве у меня была любимая пижама, которую я носила долгое время. Яркая такая вещица, с разбросанными по рукавам и штанишкам тремя поросятами. Она полиняла, протерлась, порастеряла свои пуговицы, но я не расставалась с ней лет семь, пока однажды пижама с треском не разошлась по швам — маленькая девочка выросла. Пижама умерла. Но я ее помню, и часто в памяти восстанавливаю то запачканный брусничным вареньем воротник, то вкрадчивое прикосновение к коже фланели... Кажется, то же самое произошло и с моей любовью к «Агате Кристи».

Наверное, вы, мои дорогие читатели, чуточку раздражены: вместе обычного интервью или рассказа о группе пришлось прочесть невесть что такое. Но, поверьте, если бы я сделала материал иначе, получилась бы фальшивая отписка. Мне не хотелось врать ни себе, ни вам. А сухую информацию об «Агате Кристи» вы можете найти в любой из газет или журналов — о ней писали достаточно.

Вот, пожалуй, теперь я могу спокойно поставить точку. Отдыхай, белый лист...

# АГАТА КРИСТИ

# АГАТА КРИСТИ



9-152 ост

Болеет земля, мучается, страдает.

Болеют и мучаются леса, поля и реки. Как быть, как спасти-выручить! Вопрос вопросов! Экология у всех на устах. О ней говорят в каждой республике, крае, области, городе. Ныне и глухие некогда уголки сибирской тайги подвержены язвам века: пожарам, мору, потраве, уничтожению.

Человек должен быть мудр. Спасая природу, он спасает себя. Но мудрости мало расчетливости: природа просит любви.



Фото Уланбега Джиамиева